

А.КОПТЕЛОВ

ВЕЛИКОЕ КОЧЕВЬЕ

роман



I

НОВОСИБИРСК
1935



Художник — Г. Г. Ликман

ЗООНА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Отв. ред.—*А. В. Высоцкий*
Вед. ред.—*А. А. Облонский*
Техн. ред.—*А. Л. Темиряев*



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В свое время благодарю
и еще раз благодарю
дорогого Григория Борисовича
за талантливые речитативы,
сделанные с любовью
к Героиню Альте-

А. Кончаловский

8.XI.83

Г. Ильинский

841(2)roc=MHC16 7
K658

574509

Национальная
библиотека
Республики Алтай
им. М.В. Чевалкова

23.01.2009

5-КА-ВК-Ч1



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Костер потух на рассвете. Порывисто взметнулись последние струйки дыма и скрылись за густым переплетом черных стропил. Мелкие угольки, как звезды на застывшем небосклоне, тихо мерцали в сугробах золы. В аил спустилась утренняя прохлада.

Борлай Токушев откинул длиннополую шубу, поднялся с низкой и широкой кровати, срубленной из тол-

стых бревен и расположенной, как у всех алтайцев, за очагом, на женской половине аила. Алтаец был одет в потертые штаны из козьей кожи, ситцевую рубаху с медной пуговицей от солдатской шинели. По обычаям предков, Борлай не снимал рубахи, пока она, изношенная в лохмотья, не сваливалась с плеч. Бронзовое лицо с нависшим на глаза квадратным лбом, перерезанным глубокой морщиной, не знало воды. Исстари в сеоке Мундус все считали, что вода уносит счастье кочевника безвозвратно.

Последний раз в эту весну Токушев окинул торопливым взглядом продымленное жилище, в котором провел семь непогодливых зим. Накануне были начаты сборы к перекочевке. На мужской половине, по левую сторону очага лежали волосяные арканы, кожаная сумина со всякими обносками и старая шомпольная винтовка, за которую дед Борлая отдал семь дымчатых соболей. По правую сторону от входа возвышался кожаный мешок с деревянными ведрами и чашками, с множеством сосудов из кожи и коровых вымен. Торчали горбатые деревянные трубы самогонного аппарата. Седла — мужское с мелкой резьбой на передней луке и женское с медными бляшками и кожаными кисточками — положены возле самой двери. На черной решотке, сквозь которую проходил дым от очага, были разложены плитки сыра — курута.

Возле столбика висел игрушечный лук с натянутой тетивой и обожженной стрелой и такая же крошечная люлька: хозяин просил добрых духов ниспослать ему непотухающую радость — помочь Карамчи зачать сына. Над дверью и неподалеку от кровати чернели грозные хранители жилища и защитники от злых духов — деревянные курмежеки, одетые в тряпки и кожу. По укромным щелям были рассованы кости птиц и животных. Хозяин строго оберегал амулеты, веря, что от них глаз будет острее и лесная охота добычливей. Их укладывали в последнюю минуту перед откочевкой.

Борлай поспешил накинул на костлявые плечи желтую продымленную шубу с волчьим воротником, низко надвинул на лоб круглую шапку с малиновой кистью, опущенную волчьей хребтиной, и скуластое ли-

цо его с черной щетинкой на верхней губе приобрело неукротимую смелость и говорило о неиссякающем упорстве. В смоляных каплях глаз, окруженных стрелами мелких морщинок, светилась житейская мудрость, трепетали глубокие думы. И видно было, что он на обум не бросится даже в самую спокойную речку. Но если он решил переехать через дикий поток, то никто не удержит его, и злобные буруны не остановят. Он вышел на маленькую лужайку перед аилом, окруженную бурьями лиственницами, — каждое дерево в три обхвата и возраст его неведом ни одному годосчету, — взглянул на зеленый пух молодой хвои, на голубой простор небосклона, хранивший что-то увлекающее, непонятное и грозное. Вот такими — то удивительно спокойными, то бурными и сокрушающими — знал он высокогорные озера.

— Идут большие дни, погодливые, спокойные. Месяц первых цветов налился здоровой силой, — отметил Борлай, взглянув на серебряную плитку луны, висевшую над лысой сопкой. — Самая пора кочевать. Луна полная, сильная, счастье принесет.

Он прошел на взлобок, где паслась на приколе единственная лошадь, вислоухая и пегая, будто молоком обрызганная.

В берестяной люльке кряхтел ребенок, беспокойно размахивая ручонками, шеборшал шубными лохмотьями, в которые было завернуто его голое тельце. Карамчи вскочила с постели, будто над ее головой ударили гром. Взметнулись широкие полы безрукавого чегедека, который она, как все замужние алтайки в те годы, не снимала даже на ночь. Чегедек был сшит из дешевого плиса, оторочен радужными лентами, а по груди были рассыпаны красные шарики, связки голубых бус и белые ракушки, похожие на змеиные пасти. В пестрой россыпи терялись блестящие, будто черным лаком покрытые, косы, унизанные крупными перламутровыми пуговицами. Мать сняла люльку с крюка и, присев на кровать, поставила себе на колени. Торопливо расстегнула чегедек и двумя пальцами сунула в красные лепестки детских губ коричневый сосок с брызнувшим молоком. По круглому лицу ее прошла улыбка, словно

вешняя вода по долине; узкие глаза, опущенные густыми ресницами, заискрились минутной радостью. Приятный трепет разлился по всему телу. Она не отрывала ласкающего взгляда от пухлых щек и пламенных губ дочери. Но вскоре облачко грусти легло на лицо матери. Она низко склонила голову над люлькой и чуть слышно запела:

В сыром ущелье выросший,
Голубой цветок
Увидит ли солнце?
В бедном аиле родившаяся,
Дочь моя
Увидит ли счастье?

Где-то близко послышались усталые шаркающие шаги.

«Это не муж—у него тяжелая нога»,—подумала Карамчи и одела черную барашковую шапку с зеленой кистью: посторонний человек не должен видеть обнаженной голову алтайки.

Широко распахнув косую дверь, в аил ввалилась подожаная алтайка в старой лисьей шапке, в грязном чегедеке, закрывавшем крутые носки рыжих сапог. На груди ее блестели тщательно начищенные монеты. Годы бросили на лицо густую сетку морщин и глубокую усталость. Поредели черные брови, повыпадали длинные ресницы из воспаленных век, и поблекли когда-то полные и румяные щеки. Во рту торчала длинная трубка из лиственничного корня, опоясанная медной ленточкой с простым орнаментом.

— Якши-якши-ба? — тихо спросила она, ступая на женскую половину.

— Якши, — ответила хозяйка, глазами указывая на козью шкуру возле огня. — У тебя все ли хорошо?

— Хорошо, — едва вымолвила гостья.

Карамчи подала ей свою трубку.

У гостьи болезненно вздрагивали сухие плечи, синели и вытягивались губы, искривленные глубокой обидой, темножелтые зубы выступали мелкую дробь.

Хозяйка знала, что Чаных пришла с обидами на мужа, семнадцатилетнего Ярманку, младшего борлаева

брата. Хозяйке хотелось уйти из аила. Она так бы и сделала, если бы не была уверена, что Чаных поплется за ней и будет голосить, как бездомная и ушибленная собака.

Голова гостьи затряслась, из глаз внезапным летним ливнем хлынули слезы. Трубка упала в очаг. Карамчи отвернулась и глубокой шапкой прикрыла уши.

— Я верила, что он чист, как ясное солнышко, как цветок лесной, никем не тронутый, необломанный...

Чаных подвинулась к хозяйке и, размазывая слезы по щекам, продолжала дребезжащим голосом:

— Была бы баба телом богатая — не так обидно было бы. А то погнался за девчонкой, которая хуже головешки...

Карамчи снова набила трубку листовым табаком, смешанным с рубленой березовой корой, и, сунув ее в мокрый рот гостьи, сказала ледяным голосом:

— Я думаю, что это неправда. Он к ее отцу в гости ездит. Аракует.

— Я не дурочка. Ты мне такие слова не говори, — крикнула Чаных, глаза ее сразу высохли, в зубах захрустел черемуховый мундштук. — Теперь все знают, что он ездит к Яманайке. Вчера он сам сказал, что у меня зубы валятся и что я скоро сдохну и тогда он женится на этой грязной и подлой девчонке.

Хозяйка захотела нарочито громко, зеленая кисть на шапке взрагивала, на груди тихо звенели бусы.

— Этого никогда не будет. Ведь Яманай одного с ним сеока Мундус. Все женщины в сеоке — всем мужчинам сестры. Кто ему позволит жениться на кровной сестре. Да и он сам не захочет сделаться медведем.

Она повторила старую сказку о медведе, который в юности был человеком, пока не взял себе в жены алтайку из своего рода.

— Потому и зверем стал, — продолжала Карамчи. Она подняла трубку выше головы и погрозила, будто перед ней сидел деверь. — Сеок Мундус не потерпит такого безумца. Если он сделает это, то оскорбленный им народ засмеет его и навсегда прогонит с гор. Он не посмеет...

Женщины свято блюли неписанный закон кочевья и,

из уважения к мужчине, не назвали Ярманку по имени.

Борлай входил в аил пригнувшись, но все-таки стукнулся головой о притолоку и сдвинул шапку с бритого лба на затылок, где единственная прядь волос была заплетена в тонкую косичку. Гостья быстро вскочила перед старшим родственником и почтительно погладила свои хилые косы.

— Собрались? Коней завьючили? — спросил хозяин.

Чаных робко напоминала известную поговорку:

— Кто далеко кочует, у того все казаны поколоты.

Прискорбно вздохнув, она тихо спросила:

— Как я буду кочевать с малыми детьми? Нет моего... Вчера уехал...

Карамчи подала мужу раскуренную трубку, глухо пробормотала:

— Даже деды наши в такую даль не кочевали. Меня туда жеребенок не довезет и ноги не донесут...

Густые брови Борлая дрогнули, как распустертые в полете крылья птицы. Он, не поворачивая головы, ответил гостье:

— Когда летят журавли, то вожаки не ждут мягко-крыльих лентяев... Кочевать будем вместе с солнцем: оно тронется в свой далекий дневной путь, и мы отправимся...

Чаных с поникшей головой пошла из аила, левым плечом приподняла скрипнувшую дверь и тихо молвила мягким и певучим голосом, незнакомым даже родственникам, — видно, вырвались у ней заветные думы:

— Был бы жив мой первый муж, мы кочевали бы впереди всех, и ни солнечный свет, ни звезды пылкие не увидели бы слез на моих щеках.

Глаза Борлая вспыхнули, как далекие костры в темную полночь, щеки вмиг налились жестким румянцем. Он шагнул на мужскую половину, сорвал со стропилины рожки с порохом, пистонами и пулями, осмотрел ружье.

Ему хотелось, чтобы снова ворвались в долину племенные годы и лился бы грозовый топот конницы. Если бы вернулся в жизнь старший сын Токуша и борлавев брат Адар, то он скакал бы впереди всех на вороном

коне. Теперь и Борлай не остался бы в стороне, а пересчитал бы ребра баям и выкрошил зубы самому Сапогу Тыдыкову, которого кочевники считали самым старшим в сеоке Мундус и воплощением правды и добродетели.

Когда захлопнулась дверь, Борлай вздрогнул, как вздрагивает внезапно просыпающийся человек во время ночной грозы, и, обернувшись, рявкнул вслед:

— О старшем брате не поминай. Не вороши золотые кости. Не серди духа умершего. У тебя есть молодой муж, о нем заботься.

Он схватил берестяную сумину и стал укладывать в нее ветхие курмежеки и бесчисленные амулеты. Голос его вдруг обмяк, как голос человека, крикнувшего на ребенка и своим криком напугавшего окружающих. И тогда он сказал жене то, о чем думал много раз и что совсем не намеревался говорить ей:

— Чаных — дура, как старая коза: сама в яму лезет. Живет у Ярманки, а думает о покойнике, да еще языком бренчит. Ей и беззубый стариk все кости переломал бы. Конечно, Ярманка виноват в том, что полез к девке своей крови — Мундус, всех нас, братьев, опозорил. Но я скоро заставлю его петь иную песню.

Завьючивая мохнатую лошаденку с большим животом и провисшей спиной, он твердо сказал жене:

— Нам один путь — в дальнюю долину. Если не уйдем, то здесь бай задушат нас, как слепых щенят. Снова всех к себе в пастухи заберут, оседлают. Бай — как змея, верткий: со всех сторон жалит, а ног не кажет. Говорят, что у новой власти глаз хваткий, но когда-то она рассмотрит у змеи ноги. А там, в долине Голубых Ветров, мы табуны разведем, стада... Поднимемся. Заживем сытно, богато. Там травы густые да высокие — конь в них тонет!

В эту минуту он начинал верить, что та долина лучше Каракольской. Голос его гудел, как новый бубен:

— Там хорошо! Там нет байских поскотин, — вся земля будет нашей.

Он взглянул на запад. Под первыми лучами солнца полыхали ледяные вершины, как тщательно отполиро-

ванные зеркала. Они отражали голубое спокойствие неба.

Разгорался веселый день.

2

Сбор был назначен на большой поляне, возле круглой сопки, похожей на огромную шапку. Мягкие склоны были охвачены волнистым пламенем весенних цветов, а по северной стороне ниспадала шелковая кисть шумливого березняка. Там виднелись устремленные к солнцу белокорые жерди с полуистлевшими шкурами сивых лошадей, принесенных в жертву Эрлику. С вершины холма видна вся Каракольская долина, изогнутая, как древний лук, и чистая, точно застывшее в тишине звездной ночи горное озеро. Стальной лентой блестела река Каракол, возле которой каменными островами лежали байские усадьбы. От той долины, будто ветки от дерева, подымались тесные уроцища, усеянные хрупкими аилами, издали похожими на муравейники. Над многими становьями растаяли последние дымки: вереницы всадников, направляясь к холму, гнали коров и овец. Лошади были завьючены убогим скарбом.

Утишка Бакчибаев, высокий и кряжистый, с корявым лицом, заросшим редкими кустами черной бороды, раньше всех пригнал большое стадо коров, десятка четыре баранов и табунок низкорослых лошадей. Не найдя Борлай, друга юности, на условленном месте, он ненавистно пробурчал:

— На бедность жалуется, а сам, как сурок из норы, не вылезает из аила, пока солнце над горами не поднимется. Он и рос таким лежебоком. Карамчи у него с голоду подохнет.

Утишка сплюнул в яркие цветы. В молодости он собирался жениться на Карамчи, уплатил за нее часть калыма, надрал лиственничной коры на новый аил, но Борлай, сговорившись с девушкой, ночью умчал ее, а на следующий день внес тестю выкуп. С тех пор Бакчибаев затаил злобу на Токушевых, далеко обезжал

их становья и рассказывал о них скверные небылицы. А в эту весну вдруг решил кочевать вместе с ними. Его прельщало то, что в необжитой долине с нетоптанными травами и нетронутой землей он будет самым богатым и — следовательно — самым уважаемым.

Задрав хвосты, коровы побежали в лес.

— Чот! Ты дятлов считаешь что ли? Верни коров! — крикнул Утишка девятилетней девочке, румяное лицо которой было побито оспой, открытые глаза — цвета осенних трав.

Девочка опустила поводья. Буланый конь бежал через поляну. Пестрая кисть взлетала над рысьей шапкой и рассыпалась яркой радугой.

Глядя на дочь, Утишка вспомнил: когда-то девушка Карамчи вот так же гонялась за буйствующими в жаркие июльские дни коровами. На ней была тоже рысья шапка с пестрой кистью...

«Молодость ее улетела, как дым из аила. Годами пепел очага ложился на ее лицо и сделал его тусклым. Она успела родить семерых и скоро состарится», — подумал он.

— Якши-якши-ба? — поздоровался с Утишкой Бабинас Содонов, широкоплечий и наредкость бородатый алтаец, в черной войлочной шляпе, похожий больше на кержака, чем на кочевника. Следом за ним приковчевали Айдаш Сокашев с семьей, Байрым — брат Борлая — с семьей и еще несколько человек. Вскоре с правой стороны сопки показались новые всадники. Лес наполнился бодрым шумом, нестройным гулом гортанных голосов. То там, то тут мужчины покрикивали на лошадей, которые останавливались похватать сочной травы. Женщины убаюкивали верещавших детей. Обрадованно ржали кони, почуяв высокогорные просторы. Звенели тонкие голоса отставших жеребят. Громко мычали коровы, и без умолку блеяли овцы. Позванивали казаны во выюках, гремели чашки и деревянные ведра в кожаных мешках. Казалось, двигался оживший лес; услышав нарастающий шум, замолкли неукротимые реки; лился беспрерывный шопот вековых лиственниц:

— Кочевать... Кочевать...

С каждой минутой раздавались все новые и новые голоса. Вот и Борлай пригнал свою однорогую красулю и двух торбоков. Он взгромоздился поверх кожаных мешков с пожитками. На левом боку болталась берестяная сумина с курмежеками. На головке седла стояла люлька, которую поддерживал ремень, закинутый за шею седока. Держась за гриву заседланного жеребенка, шла Карамчи в широкой и длинной шубе, в чегедеке и шапке. На ее лице выступил пот. Она подняла обтрепанные полы чегедека и засунула в рукавные вырезы.

— Посади бабу хоть на хвост кобыле, — пробурчал Утишка и отвернулся, пряча сморщенное лицо.

— Лишь бы сам на коне, а баба пешком может, — заступился Бабинас Содонов, запустил пальцы в свою жесткую, как щетина, окладистую бороду, словно хотел вычесать из нее ранний снег.

Борлай молча заехал на пологий склон сопки окинул взглядом всадников, стада, табунки и бросил в пространство:

— Все собрались? Можно отправляться?

— Паршивого теленка, Ярманки, нет, — глухо напомнил Байрым и зло обругал младшего брата.

— Ему некогда. У него — той, — прогрохотал Утишка.

На поляне закричали Мундусы, озлобленные неслыханной дерзостью Ярманки Токушева, осмелившегося нарушить основную заповедь предков:

— Медвежья свадьба у него, а не той.

— Не пускать грязного человека в долину Голубых Ветров.

— Мало ему баб из других сеоков.

— Теперь на весь Алтай просмеют Мундусов.

— Да, дохлые зайцы расхоочутся, когда узнают, что с девкой своей кости связал, — сиплым голосом селезня молвил Сенюш Курбаев.

Тюхтень медленно поднял тяжелую голову с морщинистым лицом, слезоточивыми глазами и седеющим хохолком на подбородке.

— Не смеяться, а плетью учить парнишку надо, — крикнул он надорванным голосом. — Яости в вас нет.

Старая власть таким безмозглым спуску не давала. Сейчас бы его к зайсану, двухвосткой попробовали бы — мягкая ли кожа на спине, — скоро бы позабыл дорогу к тюлюнгурову аилу.

— Он сеок наш позорит, — гаркнул Айдаш, беспокойно повертываясь в седле.

Борлай думал о людях, собравшихся на поляне. Несколько дней тому назад они почтительно слушали его рассказы о долине Голубых Ветров, во всем соглашались с ним, так же, как он, ругали Сапога Тыдыкова, бывшего потомственного зайсана, которого народ все еще считал главой сеока Мундус и почитал, как отца родного. Во взглядах их было единодушное признание, что только он, Борлай Токушев, может быть их вожаком. А теперь глаза их горели недовольством. Борлай понял, что они считают себя глубоко оскорбленными, приподнялся в седле и кинул нарочито грубые слова:

— Зря кричите. У нас, братьев его, кулаки крепкие. Он это знает.

На поляну вышли знакомые лошади. На одной ехал старый Токуш, поддерживая берестяную сумину с курмежеками и амулетами, а на второй покачивалась Чаных. Позади них, уцепившись за шубы старших, сидели дети Чаных от первого мужа. Они были погодками — старшему восемь, а младшему семь лет. На них болтались овчинные обрывки. В бесчисленные дыры была видна темнобурая кожа.

Показались последние всадники, а Ярмаки все не было, хотя вчера он уверял, что выедет первым.

— Видно, не отпускает его подлая девка, — пристонала Чаных.

Повернувшись к народу, Борлай взмахнул правой рукой, на которой болталась плеть:

— Откочевываем!

Пегуха подымалась по крутым склонам, отыскивая чуть заметную тропинку, которая вела к скалистому хребту с вечными снегами.

Визгливый голос настиг Борлая:

— А кама не забыли позвать?

— Я был у кама Шатыя, но не мог упросить стари-

ка: даже проводить нас не согласился, — отзвался Тюхтень. — Но за меня покамлать хотел.

— За тебя покамлает, а мы?..

— Нам остается — подыхать...

— Как можно без кама.

— Беда упадет на нас черной тучей...

— Несчастье случится...

Одни надсадно орали, что надо возвращаться в зимние аилы и в них провести все лето, другие настаивали на богатом подарке шаману Шатыю, которого считали в горах «Сыном неба».

Многие подосадовали, что неприятный разговор вспыхнул на взгорье, где летают духи, хозяева лесов, гор, снежных вершин. В глазах стариков было зловещее: «Злые духи покоя не дадут...»

Это о нем говорили, что он среди зимы камлал доброму богу Ульгеню¹, серебряным топором разрубил замерзшее небо, — льдины падали в аил, — поднялся в святилище и упросил даровать Сапогу здоровье и долголетие.

— Не уйдем — последний скот подохнет. Опять без сена останемся, а зимой снова все к Сапогу бросимся: «Дай сенца...» — передразнил Байрым и жестким голосом закончил. — Сена он даст, но... сено у него дороже золота.

— Почему же Шатый камлать не согласился? — робко спросила Карамчи, поровнявшись с мужем.

Голос ее был услышан многими. Борлай ответил твердо, вычеканивая слова:

— А потому, что он, как старый ворон около падали, возле баев держится.

Все замолчали и повернулись на дерзкий голос. Так в лесных трущобах внезапно замолкают люди от неожиданного громового раскаты.

Борлай, не торопясь, понукнул Пегуху и, тихо покачиваясь в такт широким шагам, скрылся в лесу. За ним, гремя ослабленными удилями, двинулись лошади соро-

¹ Зимой шаманы обычно Ульгеню не камлают, т. к., по убеждению алтайцев, «небо замерзает и покрывается льдом. Восходить на небо нельзя». — А. В. Анохин. „Материалы по шаманству“.

дичей. Широкой волной хлынули овцы. Пощелкивая копытами, шли коровы.

Когда последний всадник вступил на извилистую лесную тропу, Тюхтень нерешительно крикнул:

— Ничего, привезем кама из-за Катуни-реки.

И опять все заговорили, но уже о другом. Всем хотелось поскорее забыть неприятный разговор. Женщины расспрашивали — широкая ли долина в облюбованном месте, глубокая ли река и далеко ли в лесу сухостойник. Мужья, успокаивая их и себя, говорили, что нигде нет такого рослого и сочного ревеня, как на крутых склонах тех гор, упоминали о бесчисленных зарослях душистой и приятно-горькой колбы — таежного лука — и хвалили охотничьи угодья.

По косматым вершинам расстилалась гортанная песня Борлая. Он пел о том, как накануне старый коршун поспорил с серенькой пташкой и похвалился, что лучше, чем она, песней повторит все звуки весеннего кочеванья. На следующий день птичка-раноставка поднялась до солнца. Она видела, как пробуждалось кочевье, завьючивали лошадей и как с шумом ушел караван. И птичка запела на семьдесят голосов. Все повторила, все передала своей песней. Тогда и назвали ее — семидесятиголосую — жаворонком. А старый коршун продрал глаза, когда солнце стояло высоко над горами, и в долине ржал далеко отставший от кочевников тонконогий жеребенок. Коршун в своей песне повторил плач этого лентяя. И с тех пор старую птицу стали обзывать жеребенком.

Тропа вела через камни и трухлявые колодины, извивалась среди леса, не знавшего топора. Высокие кусты пионов, осыпанные малиновыми чашами цветов, напоминали пылающие костры. Впереди показались разлохмаченные ветрами темнозеленые кедры.

Светлый шелк молодой хвои лиственниц здесь казался еще легче и прозрачней. Потухали серебристые искры осыпающейся росы.

Тихий день наливался теплотой.

Чем выше поднимались путники на крутую гору, где каждый шаг — ступенька, тем низкорослее становилась зелень, угрюмее кедры и холоднее дыхание ветра. Вот и последние деревья, приземистые и уныло взлохмаченные злыми вихрями, остались позади. Серые мхи, крепкие ковры низкостелющейся полярной березки, снежные пятна по сторонам, как клочки разорванной заячей шкурки... А кругом вздымались пенистые гребни гор.

Когда лошади, обливаясь потом от ушей до щиколоток и дыша учащенно и горячо, на минуту останавливались, Борлай, уцепившись за гриву Пегухи, оглядывался на Каракольскую долину, где теперь лежал голубой покой, и на длинную полоску затерявшейся среди гор степи. Там когда-то кочевал отец старого Токуша, дед Борлая, пока не было миссионеров, пришедших на Алтай вместе с первыми русскими переселенцами. Мужики ставили на облюбованных местах степи деревянные кресты. Косматые старики накрывались золотистой кожей, пели на месте крестов какие-то песни, брызгали водой, а после этого большебородые заседатели рявкали на алтайцев: «Откочевывай, косоглазая нехристь, от святого креста на пять верст!» Посредине села Агаш есть березовая роща, в которой пороли распаренными прутьями алтайцев, отказавшихся креститься и не покидавших родных просторов. Дед Борлая не напрасно носил редкое имя — Таш¹: миссионеры не могли согнуть его, из рощи вынесли на руках... Старшему сыну он успел сказать единственное слово: «Не противься». Токуш крестили и назвали Василем. А на другой день к соседям приехал начальник со светлыми заплатками на плечах, с саблей на боку, маленьким ружьем в кожаной сумочке и распорядился: «Токуш — крещеный, — откочевывайте на пять верст от крещеного». Вот тогда-то, чтобы не разжигать злобы сородичей, и откочевал Токуш в верховье Каракольской долины, на земли, захваченные зйсанами.

¹ Камень

ми и баями. Дети его с малых лет пошли к потомственному зайсану Сапогу Тыдыкову в работники. Десятилетний Борлай пас отару овец в триста голов, через три года ему доверили большое стадо коров, а еще два года спустя он стал пастухом одного из бесчисленных табунов Сапога. За пятнадцать лет удалось ему скопить пятьдесят рублей, чтобы уплатить калым за Карамчи. Вскоре после свадьбы посчастливилось убить в горах дикого марала с пудовыми рогами. На вырученные деньги он купил лошадь и две коровы. Летом пил свою араку, ездил по гостям, как настоящий хозяин. Осенью 1916 г. взяли его и старшего брата Адарра на тыловые работы. Служили они в разных частях. Копали окопы, мерзли в Пинских болотах. На обратном пути Борлай отстал от своего эшелона на ст. Кинель. Долго плутал по российским дорогам. Возвратившись в родную долину, он не застал брата дома. Адар ушел с партизанским отрядом. С тех пор они виделись всего один раз, когда старший брат приезжал за семьей.

«Он был большим начальником в волости», — вспомнил Борлай; за пять лет слова брата не стерлись в памяти, будто они были вырублены на камне. — Адар говорил: «Новая власть пообломает баям зубы...».

Вспомнился день за днем.

Однажды брат сказал ему, что большие люди заботятся о бедноте, и что сам он тоже называется большим.

Измученная лошадь подымалась по камням, словно по лестнице. Борлай не видел тропинки, уносясь в прошлое, колыхавшееся перед ним, как этот пестрый крутоисклон.

Пять лет огненные вихри носились по Алтаю, — то Кара-Корум¹, то полковник Сатунин, то есаул Кайгородов, то какая-нибудь кулацкая банда. Родная долина не раз переходила из рук в руки. Много было слухов об Адаре, но Борлай был не особенно доверчив к слухам. Два года тому назад вернулась Чаных и расска-

¹ Буржуазно-националистическое правительство на Алтае в 1918 году.

зала, что муж ее был ранен в бою и попал к белобандитам. С тех пор никто ни одного слова не слышал о нем. Борлай, недослушав рассказа, ушел в лес, смущенно бросив, что пора вести Пегуху на водопой. По пути к реке он, низко опустив голову, задумчиво говорил: «Нет брата. Слышишь, Пегуха, нет нашего Адара. Его разорвали эти длиннозубые волки. Но и... волчьи зубы будут выкрошены. У Адара много братьев, много сородичей». Потом он долго стоял в лесу, прислонившись спиной к старой лиственнице. Глаза не закрывались, и на ресницы легла мелкая роса. В груди клокотал огонь и разливался по всему телу. И тогда впервые вспомнились слова брата: «Держитесь за новую власть». Домой вернулся поздно ночью и в три дня не проронил ни одного слова. А после того пошел из аила в аил и везде говорил: «Сапог не отец нам по сеоку... Он — волк... Все пастища и покосы за себя забрал». Потом Борлай стал подговаривать сородичей разбросать байские поскотины или на все лето загнать туда свой скот, чтобы остальные луга уцелели до сенокоса. Его редко высушивали, чаще после первых же слов обрывали: «Кто пойдет против старшего в сеоке, тот подымет руку на отца родного». Говорить об этом на собрании Борлай считал бесполезным: «Сапог Тыдыков, Мултук Аргамаков, Копшолай Ойтогов и прочие богатеи всегда приезжали первыми, а кто же из сородичей осмелится в их присутствии поднять голос против них, чтобы поддержать Токушева? Но через год у него уже было десятка полтора единомышленников. Ранней весной они разрубили байские поскотины и жерди сожгли на кострах. Две недели пасся скот на хороших лугах, а на третьей приехал из аймака Мултуков Япа с милиционером, на собрании обругал сообщников Борлая и пообещал в тюрьму отправить, если не угонят свой скот в лес и не восстановят поскотины.

— Ты не начальник от новой власти, а байский сын, — крикнул старший Токушев.

— Я — член аймачного исполкома: большой начальник, больше зайсана и больше заседателя, — обрезал Япа.

Тогда-то и пришла Борлаю мысль уговорить своих сообщников откочевывать в высокую долину Голубых Ветров, которая с незапамятных времен пустовала, лишь изредка в средине лета пастухи загоняли и туда табуны Сапога.

«Обживемся на новом месте, сам побываю у больших начальников и все расскажу про Япу Мултукува», — думал Борлай.

Путникам казалось, что каменные великаны беззвучно дышали. Выше линии леса весеннее солнце лишь в полдень с трудом побеждало холодное дыхание гор. Тогда приятно пахло оттаивающей землей, бесчисленными ручьями и вечным снегом. Вскоре под копытами лошадей, коров и овец жалобно и терпко заскрипел тугой сугроб. Величественное спокойствие отодвинулось к серым шпилям, которые высились по обе стороны тропинки. В отвесные фиолетовые склоны врезаны длинные полосы светлозеленого льда. Они кончались у бесчисленных серых чащ, в которых уснули изумрудные озера. Потом открылось обширное нагорье, застеленное чистым, как шкура зимнего горностая, свежим снегом. Легкий след лошадей, отпечатанный накануне, издали напоминал забытый где-то аркан. На юге голубели глубокие провалы долин. Оттуда, словно дым из аилов, зловеще подымался клубящийся туман.

Борлай то-и-дело посматривал на следы на снегу.

— Кто-то сегодня проехал туда, — сказал он. — Один человек. Алтаец, — лошадь не кована.

Он торопил Пегуху, зная, что скоро перезал будет окутан туманом и тогда придется блуждать по каменной россыпи в поисках той узкой щели, которая ведет в долину Голубых Ветров.

Возле тропы возвышался небольшой холмик из гладко обточенных речных камней и галек, усеянный ветками деревьев и полусгнившими тряпочками, будто здесь дикие звери растерзали путника. Кочевники спешились и смиренно возложили на холмик камни, привезенные из долины, лиственничные ветки и белые ленточки — подарки хребтовому духу, чтобы позволил благополучно спуститься в долину.

В конце нагорья тропа пересекала каменную рос-

сыль — корумник. Задняя нога жеребенка, на котором ехала Карамчи, провалилась глубоко между камней. Силясь вытащить ее, жеребенок увяз передней ногой и, пошатнувшись, упал на левый бок. Хруснули суставы.

— Плохой ты подарок привез хребтовому... Рассердил духа, — пробормотал Тюхтень, известный костоправ.

Утишка предложил Карамчи коня из своего табуна. Пока ловили и заседливали, туман на краю перевала встал сплошной стеной. Борлай отдал ребенка жене и поехал рысью, чтобы от ущелья подать голос каравану.

Спускались по узкой расщелине — двум всадникам не раз'ехаться. Безумолку покрикивали, чтобы не заблудились оставшиеся наверху. Туман сгущался — в трех шагах ничего не видно. Вдруг, снизу долетели приглушенные голоса. Борлай остановился, прислушиваясь — далеко ли разговаривают, — и крикнул во все горло.

Из тумана вынырнула гнедая лошадина морда. На встречу кочевникам ехал плечистый и широкогрудый человек со светлыми, как горные воды, глазами, с бородой, похожей на растрепанный сноп огоньков. Он был одет в армяк из верблюжьей шерсти, с черными проймами на груди, в серую войлочную шляпу. Позади его слабо вырисовывалась косматая голова вороного коня, завьюченного ящиками. А за ним подымался пучеглазый верзила с ефрейторской выпрявкой, корявый нос его широко расплывался, русые усы заботливо закручены кольчиками, борода напоминала хвост тетерева, выдровая шапка-криночка сдвинута на одно ухо. Казалось, что он сидел на стуле перед уличным фотографом.

— Ты что же это, паря, свадьбе дорогу застишь? — миролюбиво спросил передовой певучим девичьим голосом. — Давай вертайся. Свадьбе взад-пятки бегать негодящее дело.

— Кочует... — по-русски сказал Борлай и растерянно улыбнулся, показывая на сгрудившихся позади его лошадей и коров.

— Гм, гром тебя расшиби! — миролюбиво прозвенел



огненнобородый и, увидев в мгновенный просвет вереницу всадников, хлопнул руками по бедрам. — Тыфу, ясны твои горы! Все-таки, вертаться вам, паря, доведется.

— Миликей Никандрович! Что ты с ним, татарской харей, рассусоливаешь? С'езди раз по берестяной роже—живо лошаденку за хвост выволокет, — загремел раскатистый бас пучеглазого.

— Сам таскай, — огрызнулся Токушев.

— Полай еще, свинтус косоглазый, — рявкнул верзила, вываливаясь из седла. — Я тебе морду на сторону сворочу. Я тебе покажу, как в войну у нас в Сибирском стрелковом полку татарскую лопатку били.

Передняя лошадь свадебного «поезда» чуточку посторонилась. Воспользовавшись этим, Борлай проехал мимо Миликея Охлупнева, но с вороным конем столкнулся выюками.

Пучеглазый верзила левой рукой схватил Пегуху под уздцы, а правой ударили по губам.

— Назад, овчинна морда!

Испуганная лошадь, запрокинув голову, топталаась на месте. Сзади нажимали сгрудившиеся табуны и стада коров, и она, не выдержав, ринулась на верзилу.

— Осип, отступись. Они валом валят, всех сомнут.

Голос — женский, зычный, строгий.

— Я им покажу кузькину мать... Выбью косые шары... Сопатки поправлю.

Подпрыгнув, верзила ударили Борлая по плечу, выдернул его из седла.

Из-под горы, подобрав полы армяков, бежали бородатые поезжане, а сверху, перепрыгивая с лошади на лошадь, низринулись алтайцы. Выше голов взлетали бронзовые кулаки, трещали разорванные шубы, пиджаки, рубашки, скрипели окровавленные зубы, на пальцы налипали выдранные клочки волос и бород.

— Охлупнев, язви тебя, ты что там стоишь? Бей орду, — крикнул Осип.

— Не ввязывайся, Миликей, — предостерег резкий голос женщины.

Огненнобородый стоял в стороне. В молодости он легонько стукнул своего младшего брата по уху, а у

того сразу из носа и рта хлынула кровь. Ни один захарь не мог заговорить. В тот же день парень умер. С тех пор Охлупнев стал бояться своей силы. Однажды хозяин, у которого он батрачил, вздумал похвастаться, что у него работник силен. Миликей, услышав это, немедленно запросил расчет и про себя сказал: «Мне моя сила на несчастье дана». Теперь он боялся вступать в драку, — как бы не натворить бед.

Сквозь шум, крики, разноязычную брань пронесся все тот же голос женщины:

— Вертайте коней. Сейчас сомнут.

Она хватала поводья и уводила коней под гору.

— Я их сомну... Как в Сибирском стрелковом...

Храпели, визжали и лягались лошади, дико мычали быки, орудуя крепкими рогами; плакали дети, стонали женщины, закрывая глаза, чтобы не видеть избивающихся мужчин, пронзительно голосила невеста. Под каждый удар — слова:

— Посевы травили... хлеб топтали...

— Вот вам за потраву, вот...

— Наш земля... Алтай земля...

— Земля брал... нас на худой земля гонял...

— Теперь другой власть... советской... Наша власть...

— А вот вам за власть... Вот, вот...

Гнедой конь Миликея, не устояв под напором живой лавины, взвился на-дыбы и, повернувшись на задних ногах, устремился под гору, вслед катившемуся людскому клубку. Хозяин его попрежнему стоял на камне.

Борлай крутился все время в центре этого клубка. Перед носом мелькали седые бороды мужиков, редкие усы алтайцев, увесистые кулаки, обросшие черным волосом. И вдруг он увидел рослую и сутулую женщину с рассеченной нижней губой, одним левым глазом и выбившимися из-под кашемирового полушалка длинными прядями темнорусых волос. Запястья у нее были красные и толстые, словно сучья вековых сосен. Это была свояченица Миликея Макрида Ивановна, баба «свининой стати», как говорили о ней в селе, первая краснобайка и присловница, без которой не обходилась ни одна свадьба.

Она бегала, подоткнув подол широкого платья под гарусный пояс. Схватив сивобородого старика за армяк, она столкнула его под гору.

— Хоть бы ты, сват, постыдился... Эку беду затеяли.

Она поспешила к мужикам, кулаки уткнула в бока и крикнула по-мужицки грубым голосом:

— Перестаньте. Как собачонки сцепились. А из-за чего дерутся — сами не разберутся...

— Миликей, язва, покажи свою силу, — рявкнул пучеглазый.

Охлупнев спрыгнул с камня и начал разбрасывать мужиков в разные стороны.

Макрида Ивановна уцепилась за плечо мужа, потерявшего в драке выдровую шапку, и пошатнула его:

— Будет тебе, Осип. Из-за чего кости ломаете — сами не знаете.

Верзила, облегченно вздохнув, сразу осел, точно у него подкосились ноги. Ладонью утер кровь с правой щеки и пощупал огромный синяк под левым глазом. Увидев широкобородого старика, пробегавшего мимо, он скрипнул зубами и сжал кулак:

— Я тебе нос на затылок сворочу.

И через плечо бросил жене:

— Меня, вместо калмычишка, по глазу звякнул, дубина гнилопупая.

Охлупнев хватал коров за рога и осторожно протаскивал мимо свадебного «поезда».

Алтайцы снимали выюки и несли вниз.

Невеста сидела на склоне ущелья и, обняв камень, плакала. Макрида Ивановна, главная сваха, озабоченно подбежала к ней.

— Не лей слезы, голубушка ты моя сизокрылая. Табуны повстречались — это к добру: всю жизнь в достатке проживешь, детей вспоишь, вскормишь...

Она поджала губы, будто сказала лишнее, вздохнула огорченно и, круто повернувшись, пошла к своему коню. Подбирав оторванные полы желтой шубы, Борлай услышал ее голос, неожиданно обмякший:

— Говорят наши горлодеры: «Некресть косоглазая»,

обзывают их всяко, а может у них обхождение лучше вашего. Про пленных тогда тоже всяко говорили...

В этом раздумье вслух было много слов, не знакомых Борлаю. Он понял только одно: дородная женщина сама себе говорила об алтайцах одобрительно. Бросив мимолетный взгляд на ее полные щеки, налитые зрелым румянцем, он встретился с пристальным взором прищуренного серого глаза.

Неожиданный удар сзади, по вздувшейся шубе, напомнил удар кулаком по треснувшему бубну. Повернувшись, Борлай увидел широкобородого стариичка и стукнул его по нижней челюсти. Дородная женщина снова бросилась разнимать их. Где-то у выхода из расщелин зарычал верзила, спешивший к месту драки.

Алтайцы шли стеной. Сверху лился клокочущий гневом поток.

4

Накануне перекочевки отцы семейств вернулись из облюбованной долины, где драли кору с лиственниц, рубили жерди и сооружали аилы, напоминавшие стога бурого сена. Тогда же Ярманка Токушев возвратился на свое зимнее стойбище. Оставив коня нерасседленным и волоча вдруг отяжелевшие ноги, он направился к аилу. Вздрагивавшая спина и необычайная в тот вечер сутулость говорили, что домашний очаг ему не в радость. Круглое, словно полная луна, лицо с широкими глухаринymi бровями покрылось густой тенью задумчивости. Он знал, что жена встретит его полной чашкой араки, голопузые мальчуганы будут увиваться около него, а он опять не найдет для них ни одного ласкового слова. Прошлое встало перед ним, как этот немилый аил. Особено был памятен день возвращения Чаных. Тогда, увидев слезы на ее лице и заметив, что она привезла с собой сумы и вещи Адара, он убежал в горы и там провел двое суток. Домой шел пошатываясь. Веки опухших глаз слипались. Он понял, что жена старшего брата овдовела и, по обычаям предков, его женят на ней...

— У ней крошатся зубы: она скоро подохнет, — утешал себя, а минуту спустя горько посмеялся. — Она, как ворона, сто лет прокаркает...

Он прошел на мужскую половину и сел рядом с отцом, гревшим у костра пегую от бесчисленных ожогов костлявую грудь. Араку Ярманка пил большими глотками, не отрываясь от деревянной чашки и не подымая глаз на жену. Потом выкурил со стариком трубку. Сказал нехотя, сквозь зубы:

— Аил поставлен. Утром откочевываем.

— Очаг развел? — спросил Токуш, уткнувшись в сына тусклым взглядом выцветших глаз.

— Развел. Дым шел прямо вверх: будет счастье.

Ярманка улыбнулся слегка побледневшими губами и спешно вышел, не ответив на беспокойные вопросы Чаных.

«Я не старый мерин, чтобы пропадать рядом с вислоухой кобылой», — подумал он, отвязывая коня.

Солнце давно упало за лысую вершину, на небе ясно обозначилась усыпанная звездами журавлиная дорога. В лесу застыла успокаивающая тишина, нарушающаяся одним неугомонным журчанием рек да глухим уханием филина. Крадучись, пролетела сова, чуть слышно шелестя мягкими шелковыми крыльями. Неподалеку хрустнула ветка. И опять тишина. Деревья спросонок спешно протягивали лохматые лапы и хватали всадника за лицо, хлестали по груди.

«Поставлю себе новый аил и возьму Яманай в жены. А эта пусть живет, как знает, — думал Ярманка. — Но пойдет ли Яманай? Ведь она из нашего сеока Мундус. Старики говорят: родственница по крови, как бы сестра. Не было еще в горах случая, когда бы алтайка выходила за мужчину своей «кости».

Искривив толстые губы, усмехнулся:

«Родственница, как вон та гора степному озеру! Мой дед кочевал в «степи», а ее предки — около Монгольской границы. Не меньше ста колен до кровного родства насчитается».

Лицо его было попрежнему мрачным. Он знал, что, взяв Яманай в жены, обольет себя позором. Даже близкие родственники просмеют его. Старики будут

презирать за то, что бросил Чаных. С ним никто не поздоровается. Аил его не увидит гостей. Молодожены будут одиноки, словно кедры на вершине горы, и, может быть, суровые житейские ветры так же изломают их, как дикими вихрями изломаны отважные деревья, взобравшиеся выше грани лесов.

«Все же такое одиночество лучше всякого окружения доброжелателями, — успокаивал себя. — Она тоже не послушает стариков и старух, не побоится... Она скорее со скалы в реку бросится, чем согласится выйти за другого».

Толстые губы Ярманки дрогнули в горькой усмешке:

«Отцы никогда не спрашивают дочерей о их желаниях, — подумал он. — Тюлюнгур — жадный, продаст девку богатому... Получит калым и сразу вытолкнет родную дочь из аила, как паршивую собаку».

Широкие брови Ярманки переломились, опустившись на глаза.

Перед ним открылась поляна с одиноким аилом.

...Дрова рассыпались по очагу, не горели, а шаяли. В аиле плавал полумрак. Бурая занавеска у кровати вздрагивала от тяжелого храпа Тюлюнгуря. Яманай спала на женской половине, возле очага, подложив под голову старую шубу. Где же больше спать девушке, у которой, будто у кукушки, нет ни гнезда, ни угла? Такая доля девичья! В тысячелетиях спали и зимой, и летом прямо на земле прабабушки Яманай. Не потому ли не противились девки, когда выдавали их за старых и нелюбимых, что замужество обещало хоть плохой, да свой аил с мягкой кроватью?

Яманай видела бескрайний луг, залитый водопадом света и засыпанный крупными цветами. Она шла по этому лугу, сама не зная куда и зачем. Мягкий ветерок принес знакомые звуки комыса. Сначала они казались тревожными, а потом зовущими на помощь. Девушка бросилась в ту сторону, откуда доносились звуки. Широкая река с отвесными берегами преградила ей путь. Она сразу заметила в зеленых волнах реки чисто выбритую, с маленькой косичкой на макушке, го-

лову Ярманки. Парень держался за подводный камень. Цепкие волны старались оторвать его. Девушка вскрикнула. Над ней закаркал ворон, предвещая беду.

Проснувшись, Яманай услышала мягкие звуки, похожие то на свист певчих птиц, то на журчанье крошечного ручейка в лесу в тихую лунную ночь. Для нее это были не мертвые звуки. Прислушавшись, она легчайшим оттенкам поняла мысли, вложенные искусственным музыкантом в этот поток нежных звуков.

Как палы весной горящие,
Пылает любовью к тебе сердце мое.
Как птица весной ищет гнездо,
Тоскливо ищут тебя глаза мои.

«Не унесла бы его сердитая река: не испугался бы старики», — подумала девушка.

А безумолчные звуки все настойчивее звали в лес, где цвели лунные поляны.

Яманай бесшумно приподнялась и поползла к выходу. В ушах ее разливался всепоглощающий звон. Она не слышала ни раскатистого храпа отца, ни глухого покашливания матери. Удары сердца казались ей настолько гулкими, что никакой бубен не в силах звать громче.

И вдруг возникло леденящее раздумье:

«Постель Чаных, согретая им, не успела остыть...».

По телу девушки, распростертому на жесткой земле, волнами прокатился мороз. Голова упала на застывшие руки, протянутые к двери.

А в аил врывалась новая песня:

Золотым листом богато одетая —
Не белая ли береза это?
По крутым плечам волосы распустившая —
Не моя ли невеста это?

Горькая улыбка тронула губы Яманай:

«Невеста! А ты от старой бабы приехал? Спал с ней».

Что скажет мать, если она все это слышала и узнала парня по голосу? Вдруг Ярманка не осмелится сделать то, что он обещал не раз? Тогда Яманай будет

самой несчастной в горах — опозоренной, позабытой и обретенной на вечную бездомность.

И в ту же минуту в голове ее тую натянутой струной прозвучало:

«Прошлый раз он прямо сказал, что бросит ту старую колодину и будет жить со мной...».

Тогда свистящие ветры насмешек не будут страшны. Яманай не побоится медвежьего рявканья отца, и слезы матери не разжалобят ее. Она прислонится к мужу, точно к ветвистому дереву в грозу. У ней будет свой очаг, жаркий и не угасающий.

Снова послышались волнующие звуки комыса. Яманай вскочила и метнулась из душного жилья, где кислый запах овчин смешивался с горьким дымом. Позади ее с треском захлопнулась косая дверь, собранная из дранья. Яманай еще укоряла себя: «Зачем я пошла дура! Назовут меня подлой девкой, мешающей кровь своего сеока», — но горы уже дыхнули на нее пьянящим ароматом хвойных лесов и буйных трав. Трепетный холодок приятно обдал сердце.

— Ну и пусть обзывают. Я не посмотрю на это.

Ярманка лежал на земле, прижавшись к корявой оболочке аила. Неподалеку от него мелькнула желтая шуба, отороченная плисом, и малиновая шапка с голубой кистью. Он даже разглядел усыпанные медными бляшками ремни, висевшие на боку, точно нагрудники на коне. На этих ремнях — огниво — кремень и кресало, заткнутые за темнокрасную опояску. Девушка повернулась к нему, луна осветила ее лицо, и он увидел, как радостно блеснули черные бисеринки глаз и сверкнули в улыбке крупные зубы. Обжигающая кровь разлилась под кожей его смуглых щек. Он торопливо вскочил, выплюнул на руку стальной комыс, похожий на тетеревиную дугу, вытер тонкий металлический язычок. Сунул комыс за пазуху. Побежал за Яманай, скрывшейся за первыми лиственницами.

...Давно переломилась ночь. Ярманка и Яманай сидели под ветвистой лиственницей. Серебристые лучи, прорываясь сквозь густые ветки, освещали то бархатистые щеки девушки с ярким румянцем, то легкие припод-



А. Коновалов. Великое кочевье. З.

нятые брови, черные, как уголь, то беспрерывно улыбавшиеся губы и крупные жемчужные зубы.

Ярманка говорил певучим голосом:

— Когда-то в Алтайских горах плескалось два озера: первое называлось молодым парнем, быстрым, как олень, и смелым, точно орел; второе называлось девушкой, лицо которой было светлее луны, глаза красивее Каракольских озер и губы алее июньских цветов. Парня насильно женили на дряхлой тетке, одновевшей в старости. Он ненавидел старуху. Сердце его и сердце девушки были связаны крепким арканом, который не перерубить, не перерезать. И никогда тот аркан не перегниет, не перетрется. Он крепче железа и долговечнее стали.

Послушное эхо тихо повторяло за ним. Девушка с первых слов догадалась, что Ярманка в эту сказку многое вносит от себя,—и щеки ее запылали еще сильнее.

— Были они одного сеока, — продолжал парень, — и родители рассвирепели, когда узнали, что они любят друг друга. Для девушки стали искать жениха, а парня облили упреками и насмешками. Молодым легче было умереть, чем потерять друг друга. И сговорились они убежать в далекую степь, ровную, как небо, усыпанную родниками, будто звездами. В лунную ночь заседали коней и отправились. Бий, — так звали парня, — первым выбежал в степь. Долго искал свою возлюбленную, улыбка радости не появлялась на его лице. А случилось так: отец девушки проснулся не во время и в ярости набросал ей на дорогу горы камней, до самого неба. Долго билась Катунь — так звали девушку, — но ничего сделать не могла. Упала замертво. Перед утром услышала голос возлюбленного, — и вновь закипела в ней сила, заволновалось сердце. В кровь себя изодрала, а камни разбросала и — к своему милому. Встретились они в степи, у подножия последних сопок, где теперь лежит город, и, обнявшись, поехали вдаль.

Девушка сидела с закрытыми глазами, горячие губы ее шептали:

— Вот так же и мы... Подожди немногого, скоро мне сделают девичье седло.

Журавлиная дорога, пересекающая небо, побледнела.
Звезды поворачивались на утро.

...Догоняя сородичей, Ярманка поднялся на перевал, когда туман лег на снег, словно тополевый пух на землю. Всадник опустил поводья, доверившись осторожной лошади. Так он делал обычно во время ночных переправ через многоводные реки, когда не было видно ни ушей, ни гривы, а ременные поводья уходили в темноту, будто лески в воду. И лошадь, старый друг человека, всегда вывозила его.

Спустя полчаса, он услышал разноголосый шум, казалось, доносившийся откуда-то из-под земли. Перед ним открылась знакомая расщелина.

5

Внизу тумана не было. Он подымался только из ущелий возле главного хребта, старательно пеленал каменные вершины, свивался в огромные жгуты и тогда устремлялся в поднебесье и где-то высоко-высоко застывал, напоминая обильные сугробы снега на тонком льду бирюзового озера. Темный лес, окаймлявший долину Голубых Ветров, казалось, поник в глубокие думы и прислушивался к неясным шорохам приближающейся ночи. На лугу потускнели первые весенние яркие цветы — огоньки, опустив свои пламенные головы, и крупные пионы свертывали малиновые лепестки.

Взглянув на небо и отметив, что далеко на юго-западе горы не темносиние, какими они бывают накануне ненастной погоды, а покрыты легкой голубизной, Борлай сказал:

— А дождя завтра все-таки не будет.

Он хотел сказать, что первый ясный день на новом месте предвещает счастливое лето для всего кочевья, но в это время тропинка круто повернула, разомкнувшись каменные челюсти, и внизу открылась та часть долины, где стояли новые аилы. От неожиданности Борлай покачнулся, будто лошадь поскользнулась на заднюю ногу, и туго натянул ременные поводья: по-

ловина новых жилищ была кем-то разрушена. Борлай не мог произнести ни одного слова. Он сразу подумал о том, что среди его единомышленников не мало найдется таких, которые не посмеют войти в аилы, тронутые звериной лапой, а утром откочуют назад в Каракольскую долину.

Караван быстро столпился. Взволнованным шорохом прокатился многоголосый шепот:

— Хозяин долины, грозный дух, не принимает нас.

— Без камланья кочевать — самому себя счастья лишать.

— За камом надо ехать.

— Не за камом, а назад откочевывать.

«Не потому ли пустовала долина, что никто не мог задобрить здешнего духа гор?» — подумал Борлай, уставившись прищуренными глазами в затылок вислоухой лошади. — «Ведь эта долина не плохая. Хотя она и недалеко от снегов, но жить тут вполне можно».

До него докатился взволнованный шепот сородичей. Он поднял голову, смущенно взмахнул руками и бил Пегуху по бокам, вынуждая на крупную рысь. Неуверенно бросил кочевникам:

— Это вихрь разворачал аилы...

Тюхтень крикнул ему, как малому ребенку:

— Горный дух зверем ходит, честным людям показывается голым мальчиком... А чаще всего бегает вихрем. Это все знают.

— Никто, кроме хозяина долины, не стал бы аилы разворачивать, — робко поддержал старика Бабина Содонов.

— Он... Он сам...

— Не покамлали, не умилостивили...

От крайнего аила кто-то метнулся через поляну и так быстро скрылся в перелеске, что Борлай не успел разглядеть — человек это или зверь. Вдруг ему показалось, что он заметил взлетевшую выше трав длинную кисть. Он повернулся к путникам вспыхнувшее лицо и крикнул:

— Человек побежал... Вон, смотрите... лиственничные ветки качаются.

Борлай слышал, как эти слова, перебрасываемые от

всадника к всаднику, повторялись в тулкой дали, раскатились по отзывчивым лесным вершинам.

— Шапка из козьих лап, — крикнул во все горло.

Лес торопливо подтвердил:

— ... их... ап.

Кочевники остановились возле говорливой речки. Мужчины развязывали лошадей, ловили жеребят и не подалеку от себя привязывали на арканы. Опять полилось тревожное мычание коров, запираемых в тесные загоны, блеяние овец. Собаки сосредоточенно лаяли в сторону леса, покрытого темносиним налетом сумерек.

— Зверя чуют, — сказал Содонов.

— Нет, не зверя, — едва, вымолвил Тюхтень; страх сковал его губы. — Так собаки лают к несчастью. Горный дух рассердился... Не покамлали...

А темнота все сгущалась и сгущалась. Неприветливая долина напоминала дикое место, куда обычно увозят покойников.

То-и-дело хныкали голодные дети, утомленные перекочевкой. Тихо, чтобы не слышали мужья, голосили бабы:

— Старухи говорили: «Зверь аил тронет — умрет кто-нибудь».

— Все здесь подохнем...

— А я первая, — бормотала Чаных. — Приедет мой от поганой девчонки и со злости изувечит меня...

Поблизости чернели уцелевшие аилы, о которых в каждой семье так много говорили минувшей ночью, думая, что жизнь в них будет полна светлых дней, как некошенное поле полно цветами. Детишки с особенной яркостью представляли себе, как заботливые отцы устроят им лежанки возле чистых стенок из свежей лиственничной коры, как пахнет молодой травой и цветами земля необжитого аила, как вкусно густое молоко, несущее ароматы солнечной долины. Хозяйки всю дорогу говорили о том, что удои коров на летних пастбищах будут обильными, в кожаных мешках буйно забродит молоко, превращаясь в ядреный чегень, и арака из него выйдет горячей огня и пьянее водки. Девушки верили, что на новом становье их встретит счастье, что в это лето гулять им на свадьбах и в иг-

рах проводить лунные ночи, когда горят на земле неугомонные цветы ярче звезд. Отцы семейств надеялись, что на новоселье их будет сопровождать достаток и удача. Вот они, новые аилы, так манившие кочевников. Теперь становище напоминало группу могильных курганов, овеянных печалью веков. Кем-то распахнутые двери зияли, словно жуткие провалы в сырье пещеры, где юятся злые духи. Остовы полуразвороченных жилищ походили на обглоданные скелеты странных животных.

Проходя мимо толпы, Борлай тихо сказал, будто сам себя уговаривал и подбодрял:

— А теперь и за аил приниматься пора.

— Принимайся, пока тебя Эрлик не оседлал, — пробормотал Содонов.

— Да, на эрликово место попали, — поддержал Сенюш Курбаев. — Всегда он цветистыми лугами человека завлекает.

Борлай тихо свистнул. Мужики испуганно взглянули друг на друга, будто увидели реку, вышедшую из берегов.

«Он свистнул! Разве можно в вечернее время свистом сердить немилостивого к нам духа этой долины?»

Старший Токушев, попытавшись улыбнуться, напомнил пословицу:

— Пока не поел, в путь не торопись; пока смерти нет, в могилу не ложись.

— Даже медвежья смелость бывает бита, — произнес Тюхтень, безнадежно покачав головой.

Собирая раскиданное по всему лугу корье и торопливо закрывая дыры в бурой оболочке жилища, Борлай вполголоса повторял:

— Медведь не может так... И вихрь тоже не может...

Вскоре ему попался пласт лиственничной коры со свежей царапиной. Он долго ощупывал ее, а потом со всех ног бросился к толпе:

— Смотрите. Вот...

Помахал обломком коры над головой.

Первым ощупал царапину Тюхтень.

— Медвежий коготь, — сказал по-стариковски твердо.

— Не говори глупостей, — крикнул Утишка. — Топором рублено, но так, чтобы посчитали за медвежью царапину.

— Я и говорю: человек... Злой человек... чтобы напугать нас, — убеждал Борлай. — Помните след на снегу, на перевале?

И снова заполыхал многоголосый спор. Тюхтень, задыхаясь от волнения, доказывал:

— Не простой медведь, а хозяин долины и этих гор. У него коготь огненный — железо расцарапнет.

Поднимая ногу через порог своего аила, Борлай почувствовал легкий озноб. В детстве и юности он много раз видел, как отец переставлял жилье с одного места на другое. Причинами таких внезапных перекочевок являлись то смерть лошади, то болезнь коров, то еще какое-либо несчастье. При этом отец, обычно, говорил: «Несчастливое место выбрал». И сам он, Борлай Токушев, не раз откочевывал — хотя бы на ружейный выстрел — с несчастливых мест. А сегодня он должен был сделать по-иному. Он знал, что с его уходом отсюда долина снова опустеет. И он твердо решил не уходить с этого места, несмотря ни на что. Здесь он проверит, насколько незыблемы уверения стариков. Может быть и тут старые мудрецы ошиблись, как ошиблись они, называя богатеев благодетелями, а зайсанов — отцами родными.

Он достал обломок кремня, дрожащими пальцами прижал к нему щепотку мягкого темнозеленого трута и смаху ударил огромным, как подкова, кресалом. На руку пролился дождь мелких искр. Трут дружно зашаял. С первого удара добыт огонь! На лице Борлая появилась улыбка. Он опустился к очагу. Приготовленные накануне дрова никто не тронул. Тонкая береста и сухие щепки в один миг взялись огнем. Аил осветился.

Карамчи одним боком втолкнулась в аил, готовая в любую минуту бежать отсюда. Она торопливо пробормотала:

— Огонь, разводимый тобою, пусть будет богат хорошими углами, а наша жизнь на новом месте пусть будет богата светлыми днями.

Сунув лульку с ребенком на кровать и закурив, хозяйка начала суетливо обставлять новое жилище. Продымленной занавеской прикрыла супружеское ложе, за сырую стропилину привязала чумазые курмежеки.

Борлай достал из берестяной сумины пучок веток можжевельника и бросил на горячие угли жертвенника: черные караульщики закрылись дымом.

Вскоре аил показался обжитым. Борлай гнал от себя думы о рассерженном горном духе.

Рядом с хозяином сидел первый гость — Утишка Бакчибаев. Угощая друг друга, они выкурили по две трубки. Карамчи достала кожаный тажаур, покрытый простыми изображениями оленей, и налила по чашке араки.

— Пойду и я жилье налаживать, — сказал гость, подымаясь с земли.

Ночью задымили соседние аилы, словно игрушечные вулканы. Мужчины, успевшие обосноваться, помогали пострадавшим сородичам собирать раскиданные жерди, стропилины и кору. Деревянные скелеты снова оделись лиственничной корой.

В полночь Борлай пошел к младшему брату. Чаных сидела возле очага, поджав ноги, и часто добавляла дров в костер. Против нее возвышался Тюхтень, рядом с ним — Ярманка, за всю ночь не оторвавший глаз от пылающих поленьев. Возле него — сам Токуш. Лицо черное, как у курмежека. Старик убаюкивающим голосом рассказывал длинную сказку-поэму. Веки его, давно лишенные ресниц, часто смыкались, а на морщинистом подбородке вздрагивали седые волоски, похожие на концы ниток на шубенке, сшитой из лоскутьев.

— Вот доказательство, — сказал Борлай, показывая большую трубку, вырезанную из лиственничного сука. — Возле своего аила поднял.

Тюхтень взял трубку и долго вертел перед глазами.

— Не нашим человеком делана. Проезжий потерял.

— Потерял человек, который аилы ломал, — возразил Борлай. — Тот, чей след мы видели на снегу.

— Медведи трубок не курят, хотя сами когда-то

были людьми, — сказал старик, выпрямившись. — Садись, послушай про медведей.

Кивнул головой на старого хозяина.

Токуш, слегка покачиваясь, продолжал низким горячанным голосом:

— Когда солнце было величиною с аил, а луна ходила так низко, что лоси рогами бодали ее, — и оттого рога у лосей в то время были серебряными, кочевал в Катунской долине алтайец Кул.

Борлай много раз слышал эту сказку, знал, где неожиданно оборвется голос старика, где будет утомительно певучим и где взметнется, как вспугнутая птица. Он вышел на поляну и направился к Бабинасу Содонову.

Старик продолжал:

— Ребятишек у Кула было много, как ягнят на лугу — полный аил. Мягкое, детолюбивое сердце у алтайца, но и он до того дошел, что стал умолять добрых духов не давать ему больше детей, да видно и доброго духа, как бая, не скоро упросишь, коли в молодости рассердил его чем-то. Как лето наступало — жена ему двойню да двойню. И никакого на нее удержу не было. Детям стало тесно в аиле, как орешкам в кедровой шишке. Некуда спать положить.

— В месяц высоких трав, в проливные дожди жена родила ему сынка, да такого ли крепкого, ну камень-камнем. Ножки у него были коротенькие, а руки длинные, глаза маленькие, как бисеринки. Собрались тут все мужики того сеока имя ребенку давать. А имен в ту пору в запасе не было, все старшим ребятам раздали. Три дня так головы надрывали, что на висках седина выступила, а все-таки ничего придумать не могли. Шла тем местом безродная и бесплеменная старушка. Увидела горюющих мужиков и непонятно так посмеялась: «Аю, Аю¹, имя выдумать не могут!» Мужики подумали: «Неясное слово, а сила в нем есть». И покрешили на этом слове. Стали мальчика звать: Аю.

— Рос Аю дико, как растет дурная трава — в одну нось на человечью голову. Марала обогнал и лося то-

¹ Медведь

же обогнал. И такая сила в нем разгуливало, что он мог одной рукой столетний кедр с корнями вывернуть. Жрать был — страшен. Никто его сытым не видал. Однажды он хотел луну слопать, да не успел — убежала она в голубую степь.

— Отец каждый день упрекал Аю, что тот много мяса ел и по ведру молока выпивал. Братья тоже не любили его. Аю долго сердился на них, а после плюнул, схватил аркан и пошел в лес. Все думали, что он за дровами отправился. А он ушел, будто камень в озеро. И вблизи дома больше не показывался. Когда отцовскую шубу износил, шерстью оброс, черной, как осенняя ночь непогодливая. Но в то время он был еще человеком...

Чаных встрепенулась и невольно вскрикнула. Глаза ее мгновенно загорелись, точно звезды в темную ночь. Волны слабого румянца прокатились по дряблым щекам.

Старик недовольно посмотрел на сноху, задерживая взгляд на ее руках, торопливо ощупывавших живот.

— Хоть бы сын... Отец обрадуется, — шептала она.

Заметив полный укора взгляд свекра, Чаных смущенно юркнула за занавеску. А старый Токуш, закрыв глаза и вскинув голову, снова запел:

— Тоскливо было Аю в одиночестве жить в тайге. Леса тогда росли такие, что солнечный луч не мог прорваться сквозь них. Мотался Аю по горам туда-сюда, как ярая туча по небу. В ночную пору к людям часто выходил. Однажды вечером женщина из того же сеока пошла в лес за дровами. Он обошел ее и стал на тропе. Домой не пускал и уговаривал в логовище пойти, мясо вкусное сулил, ягоды разные и медом угощать обещался. Женщина испугалась — ни дыхнуть ей нельзя, ни рукой махнуть, ни голосу подать. Схватил он ее в беремя, как в железо заковал, и понес. На небе черные тучи табунились, ночь на землю упала. Женщина даже глаз его не могла разглядеть, а он шел по лесу, будто по своему аилу, — ни разу не запнулся и не заблудился. Только почуял он, что шерсть на нем длиннее стала, да на руках и ногах острые когти выросли. Стал он с испугу женщину

крепче к себе прижимать, а она заревела, будто резали ее ножом...

— Всю ночь тащил он ее, снежные горы пересек, рек перебрел больше, чем в году дней. На рассвете до своего жилья добрался. Жил он в ту пору под деревом, на берегу Золотого озера. Утром пошел за водой и себя узнать не мог: мохнатая медвежья морда из воды глядела на него.

Старик повысил голос, сыпал слова прямо на голову младшему сыну:

— Сколько ни валялся Аю, сколько ни бился о лиственницы, а медвежью шкуру с себя больше снять не мог.

Ярманка беспокойно ворошил костер.

— А женщине той страшно было даже подумать дорогу к своему народу найти, — продолжал Токуш. — Вскоре зима надвинулась. Без лыж шагу ступить нельзя. А к весне родились у них дети. Все черненькие да мохнатенькие, с глазками-бисеринками. Забота у бабы появилась...».

Старик посмотрел на слушателей и вздохнул с глубоким огорчением: Тюхтень клевал носом и храл, младший сын сидел, стиснув голову руками, будто у него болели виски.

— Вот так и пошел на земле медвежий род, — сказал Токуш в заключение.

Над айлом по-утреннему светлело небо. Ярманка приподнял занавеску и, не глядя на жену, хлопнулся на кровать, застеленную снизу травой, а поверх войлоком и овчинами. Жена встретила его обжигающим шопотом:

— Ребеночек шевелился... Будет счастье: на новом месте и в первый вечер пошевелился...

Она крепко обняла мужа и вслух сказала:

— Мальчик будет... Пощупай, как он бьется.

Она верила, что мальчику Ярманка обрадуется. Обычно отцы крепче привязывались к сыновьям, хотя за дочерей они в старое время получали богатый каляем. Мрачные дни Чаных прошли. В мальчике молодой муж увидит продолжение своей жизни, и у него появится забота о жене. Кровную-то связь не разорвешь,

не разрубиши. Вдруг Чаных почувствовала, что ей тесно в аиле. Потянуло в широкую долину. На коне бы проскакать и по всем становьям разбросать одно слово, обжигающее губы:

«Понесла».

Ярманка резко сбросил ее руку со своей шеи и сел, спустив ноги с кровати. Потом он откинул занавеску и с грустью смотрел на догоравшие поленья, думал:

«Вот так загораются, пылают и угасают люди и от них, как зола от дров, остаются кости. Мои большие и пылкие дни впереди, а меня хотят сделать стариком».

Чаных вздрагивала, захлебываясь слезами.

6

Дневной свет падал в просторный аил через дымовое отверстие и просачивался в щели. Ярманка открыл дверь и стал смотреть на восток. На бледном небе застыли белые лохмотья далеких облаков. Солнце какое-то грустное, словно накрыто дождевой сеткой. Даже воздух казался горьким, будто полынь.

Младший Токушев проверил, много ли пороху в рожке, висевшем возле винтовки, есть ли пистоны. Пуль было всего семь штук, и он решил сходить к брату за пулелейкой. Четыре детских глаза безотрывно следили за всеми движениями молодого отчима. Ему показалось, что испуганные взгляды детей несли укор и в то же время умоляли. Так смотрит собака на своего хозяина, который обрек ее на убой. Плечи Ярманки вздрогнули, точно кто-то тряхнул его.

«Мать им многое рассказала и заставила следить за мной», — подумал он.

— Отец, ты на охоту собираешься? — спросил старший, когда Ярманка направился к двери.

— На охоту, — проворчал парень, и ему показалось, что дети по дрогнувшему голосу поняли ложь. Он выбежал из аила и захлопнул дверь.

«Ребятишки подохнут без меня, как выброшенные из гнезда галчата. Разве я могу их оставить? — думал

он. — Я им теперь вместо отца родного. Что было бы со мной, если бы меня отец бросил таким малышом? Я заменяю брата, ушедшего с земли, — и сила его будет моей силой».

Ярманка вспомнил, что с малых лет хотел быть таким же, как старший брат: без промаха бить белку в глаз, знать все соболиные повадки лучше, чем человеческую речь, а козлиные тропы видеть, как морщины на своей ладони. Если потребуется, ездить с хорошо вооруженным отрядом, чтобы утверждать в горах новую власть, которая, по словам того же Адара, о бедном народе заботится больше, чем отец о своих малолетних детях. Потом ему хотелось быть таким же начальником в волости, каким был умерший брат. В памяти встал тот день, когда Адар, приезжавший на вестить отца, шутливо молвил, погрозив ладонью:

— Ты, Ярманка, мой наследник. Ребят выкорми, Чаных не обижай: у нее сердце доброе.

Потом, смеясь, брат повторил старую пословицу:

— Пропадет кобыла — останется хвост, грива да кости; убьют меня — тебе останется моя жена, домашность и дети.

В детстве Ярманка каждый день бывал у Адара, не раз заставал его спящим рядом с Чаных. Бритая голова брата всегда лежала на черной войлочной подушке на одном и том же месте, где образовалась глубокая впадина. А теперь он, Ярманка, спит на этой постели, которая не успела утратить запаха прошлого, и голова его всегда попадает на то же самое место.

— Да, мне остались кости, — тихо молвил он, повернув к реке. — А еще, живя со мной, она все время бредит братом. Яманай же всей душой...

В груди его кипела обида и недовольство на свою судьбу. Он мог осыпать руганью неожиданно встретившегося человека или со слезами на глазах рассказать о себе все, чтобы облегчить сердце.

Из соседнего аила вышел Борлай. Увидев младшего брата, он вспомнил про злобные крики на поляне возле цветистой солки и про свое обещание, данное сородичам, но, встретившись с грустным взглядом пар-

ня, он, попыхивая табачным дымом, мысленно сказал:

«Теперь можно и не ругать его: отсюда до Тюлюнугра дальний путь, — не ускакет... А к осени забудет. Время не таких девок из головы вышибает».

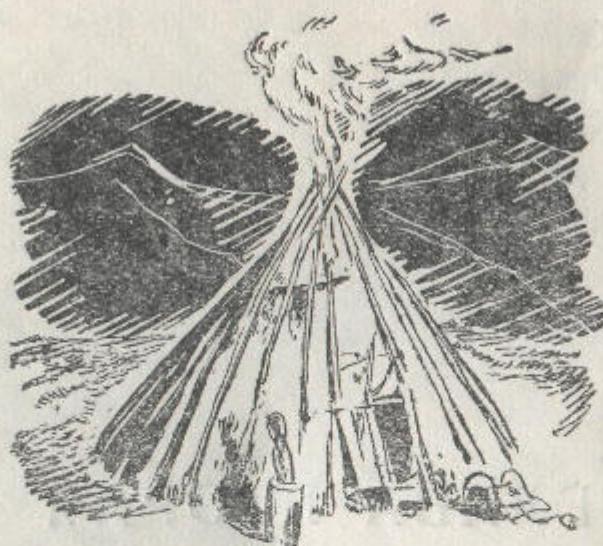
Он выдернул из-за голенища таинственную трубку.

— Посмотри. Может быть ты знаешь хозяина. Я ее не один раз видел, но в чьих зубах — не припомню.

У реки Тюхтень завьючивал коней. Братья Токушевы поспешили к нему.

— Ты куда, старик? — спросил Борлай и, чтобы успокоить его, сразу же добавил. — Байрым за камом поехал.

— Худая долина. Несчастье живет тут, злые духи кочуют, — угрюмо бормотал старик, суетясь около вьюков.





ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Буйно трясет Каракол пенистой гривой, вырываясь из каменных теснин, дико скачет через всю «степь», изрезанную на мельчайшие квадраты полос, исхлестанную пашеными дорожками, и, злобно рыча, ударяется о каменную стену в нижнем конце долины, где притулилось к сопке маленькое село Агаш. В знойный июньский полдень кривые улочки села погружались в удущливую ти-

шину, иногда нарушающую надрывным скрипом двухколесных таратаек, направляющихся в Монголию, да одинокими всадниками.

Пара рыжих лошадей, запряженных в черемуховый коробок на железном ходу, плелась едва-едва, устало отмахиваясь от надоедливых паутов. Завидев село, кони, не дожидаясь окрика, перешли на легкую рысь. Ямщик, русобородый мужик с трубкой в зубах, в синей рубахе, цыганских шароварах и широкополой войлочной шляпе, неустанно помахивал веревочным кнутом.

— А село выглядит так же, как пять лет тому назад,—заметил Филипп Иванович Суртаев, стирая грязным платком пыль с бритого лица.

— У нас говорят: «скоро все на старое обернется», — задорно отозвался ямщик.

— Как на старое?

Седок приподнялся на помятом коричневом чемодане.

— Да так... как прежде было. Базары вон вновь зашумели: хочу продам, хочу — нет. Никто мне не указчик. Батюшка, отец Василий, возвратился, каждое воскресенье в церкви служба, ликование. Храм новый воздвигать собираются. Этот больно мал.

Ямщик кивнул головой на облупившуюся серенькую церковку с хилой колокольней.

— Ну, нет. Не бывать тому, чтобы на старое, — возразил Суртаев.

— Да от коммун-то ихних и дыму не осталось, — крикнул ямщик, повернувшись лицом к седоку. — Во всем нашем районе мало-мало дышет одна «Искра», да и от той, гляди-дак, только зола останется.

— Как так зола?

— А так: растащат мужики всяк свое барахлишко, вот и «Искре» конец. Я не зря говорю: все на старое...

Ямщик взмахнул руками, словно переворачивал что-то.

— Теперь машинные товарищества будут организовываться.

— Это не диво, и в старое время в складчину машины покупали, только названия такого не было.

— Тогда иное дело: недоросшие кулаки покупали машины в складчину, чтобы бедноту в козлиный рог скручивать. А теперь в машинные товарищества пойдет беднота, середняки. Кулака близко не пустят.

— Кулака! Да откуда он у вас взялся? — спросил ямщик, усмехнувшись в пыльную бороду. — У нас прошлый раз оратель на собрании говорил, что в наших краях помещиков отродясь не было и никаких таких кулаков нет, что, дескать, все мы теперь должны культивниками заделаться.

— Помещиков не было? А разве Сапог Тыдыков — не помещик? Знаешь, сколько он земли захватил? В неделю не об'едешь. Сто восемнадцать тысяч десятин. Двадцать шесть заимок, скота, говорят, раньше держал до двадцати пяти тысяч голов. Батракам — счету не знал.

— Не-ет, он не помещик. Он у татарвы заместо старшины почитался. А земля — что... она не осталблена, общая... Никто ее не мерял и скота у Сапога никто не считал, может двадцать пять тысяч, может больше... Он и сам не знал...

Ямщик повернулся к лошади, взмахнул кнутом и спросил седока:

— Вас куда доставить-то?

Суртаев знал, что года три назад умер отец и в то же лето не стало матери. Он решил остановиться у одной из сестер. Давно минувшее развертывалось перед ним, как эти кривые улочки села. На пятнадцатом году отец отдал его в батраки к скотопромышленнику Мокееву. Летом парень работал в поле, а зимой возил корм скоту. Там, от старого солдата, балагура и песенника, научился «разбирать печатное». Затем четыре года прожил у купца Рождественского, ездил с ним по кочевьям, где торгаш за пятикопеечные зеркальца и грошевые бусы брал торбоков, баранов и даже дойных коров. Потом Суртаева взяли на войну, а дальше — дезертирство, партизанщина...

Ямщик провез седока мимо зеленого дома, на котором когда-то сияла вывеска: «Торговля Г. Д. Рождественского», теперь в нижнем этаже — народный дом с крошечной сценой и библиотекой, а вверху — аймачный комитет партии. Рядом, в желтом доме Хашина, который в прошлом вел большую торговлю с Монгoliей, помещался магазин потребобщества.

Лошади круто повернули в переулок. Слева встали непроходимые заросли крапивы, дурмана и репей-

ника, скрывавшие полуразрушенную ограду. На месте избы странным кукишем торчала труба русской печи, да неподалеку одиноким тычком чернела перекладина рухнувшего пригона. Филипп Иванович отшатнулся в угол коробка и широко открытыми глазами смотрел на зеленую одурь. Голова его тихо склонялась. Он впервые почувствовал жалость к матери, а минуту спустя — и к отцу.

«Не дожили старики. А я-то думал...».

Воспоминания о детстве волновали его. Он изменившись голосом крикнул:

— Шевели живей. Вон к тем воротам.

«Старички освобождают место... На таких пустырях вырастут двухэтажные дома коммуны... Жаль мать, она бы тогда свет увидела», — подумал он.

Ни во дворе, ни в сенях, где стены терты песком, а пол застлан желтой дорожкой из мягкого камыша, ни в комнатах с красной геранью и уродливыми райскими птицами на крашеных опечинах не было никого. Филипп Иванович внес чемодан и ящики, достал душистое мыло и, наскоро умывшись, присел возле стола, покосился на медного «Егория» в углу и достал из кожаного портсигара папироску.

— У Макриды можно покурить, ее раньше считали вольной бабой и непутевой.

Стуча босыми ногами о тесовую лесенку, вбежала хозяйка, остановилась у порога, окинула Суртаева взволнованным взглядом и, улыбнувшись, хлопнула широкими ладонями:

— Да неужели ты, братко?

Филипп Иванович поспешил встать, скуластое лицо его, с необыкновенно ярким румянцем и узкими глазами, засияло улыбкой.

Макрида Ивановна, неся с собой запах огорода, бросилась к брату, обняла и горячо поцеловала в правую щеку.

— Да ты откуда, соколик, прилетел? Садись скорее, рассказывай. А я много раз думала, жив ли ты? Да ты пошто таким-то стал? Голова гладкая, как шарик, — ни одной волосинки, ровно тебя опалили.

Хозяйка всплеснула руками и, повернувшись, кину-

лась к печке, широкая юбка из узорчатого холста колыхнулась, раздуваясь.

— Гостенек с дальней дороги, покушать хочет. Чем же я тебя попотчую, сиза-сокола? Не обессудь пожалуста, чем богата, тем и рада. Нежданно-негаданно прилетел ты, ясно солнышко, — звенела приятным голосом, вытаскивая из печи горшок за горшком.

— А где же супруга твоя дражайшая осталась? Неужто не женат? — спросила она, когда брат подвинулся за стол и разломил румяный пшеничный калач.

— Один болтаюсь. Так легче, — хвоста нет, — сдержанно ответил Филипп Иванович, словно оказывал этим большое одолжение собеседнице, которая не отстанет, не узнав всего о жизни брата. — Пробовал жениться, да не повезло... Теперь алименты плачу.

Сестра вскинула брови, умилилась и, опускаясь на лавку рядом с братом, задушевным голосом спросила:

— У тебя ребеночек? А твой он?

— Мать говорит, что мой.

— Ну, а ты-то сам неужто не знаешь, не чуешь? Я по себе сужу: один раз на ребенка мельком этак взглянешь и узнаешь — чей намет, чья работа. Парнишко, девчонка?

— Девочка.

Суртаев слегка постучал деревянной ложкой по столу.

— Сколь недель-то ей?

Глаз Макриды Ивановны наполнился внутренним блеском, а щеки, казалось, светились легким румянцем.

— Второй год, — вполголоса промолвил брат, глядя на свои руки,мявшие узорчатую скатерть.

— Поди ковыляет на кривых ножонках. У суртаевской породы ноги кривые, как клещи у хомута.

— Не видел. Ни разу не видел.

Макрида Ивановна вдруг спиной прислонилась к стене, словно ее разбил паралич, и после недолгого молчания всплеснула руками.

— И где это видано, где это слыхано... чтобы на дите свое родное не поглядеть? Да ведь сердце-то у тебя, поди, не березовый шарик — ноет.

Она шумно прошлась по избе и, остановившись возле печи, безнадежно махнула рукой:

— Э, да все вы, мужики, такие — бессердечные... Уж я-то вашего брата, уженышей ползучих, знаю лучше, чем самое себя.

Филипп Иванович посмотрел на сестру, задержал взгляд на пустой глазной впадине. Вспомнилось ее нерадостное детство, облачные дни ранней молодости и неудачное первое замужество.

«Наверно и второй муж не лучше», — подумал он. Вышел из-за стола и сразу надел фуражку.

— Пойду, село посмотрю, каким оно стало...

— Посмотри, посмотри... Обживешься у нас, я тебе бабочку найду, да такую репочку крепкую, что... не насмотришься, не наобнимаешься, — звонко крикнула Макрида Ивановна.

2

С детства знакомый зеленый дом показался Суртаеву заново выкрашенным. Сколько раз в молодости он открывал эти двери с голубой стеклянной ручкой, сколько раз подымался по этой крутой лестнице с точеными перилами! Всегда она казалась длинной, как путь на гору Синюху. Теперь он находил ту же лестницу пологой и удобной. Он прошел в угловую комнату, дернул дверь...

В углу между окнами — стол, заваленный бумагами. Возле стен — белые скамьи. В широком простенке — карта аймака.

По одну сторону стола сидел немолодой человек с желтыми подстриженными усами и маленькой лысиной, напротив него — алтайец в заплатанной шубе. Малиновая кисть, ниспадающая до самых плеч, мелко вздрогивала. Суртаев с первого взгляда понял, что посетитель говорил взволнованно.

Он прошел к столу и сунул руку усатому человеку.

— Я из обкома, товарищ Копосов. К вам на работу. Кочевым агитатором.

Сел на скрипучий стул и стал рыться в своей блестящей полевой сумке.

Секретарь качнул головой и снова поднял глаза на алтайца, слушал его с особым вниманием, иногда схватывал карандаш и торопливо заносил в блок-нот два-три слова.

Филипп Иванович взглянул на алтайца и ему показалось, что он где-то видел этот смелый профиль с нависшим лбом, длинным носом с чуть заметной горбинкой и твердым складом толстых губ.

Посетитель замолчал, на лице его показались блестящие в солнечных лучах капли пота: видно, не легко ему давалось русское слово.

— Вот с ихнего кочевья, сердешный, начинай. Благоприятная почва, — заговорил Копосов, указывая на алтайца. — Партибилет просит. Говорит, что два раза заявление в партию подавал через секретаря сельсовета. А у нас никаких следов нет. Секретарь в ихнем сельсовете беспартийный, старый писарь...

— Я сначала курсы проведу, — сказал Суртаев, подавая бумажку. — Обязательно на бюро обсудить... И поскорее.

Пока секретарь читал, возвращаясь к некоторым строчкам, Суртаев снова повернулся к алтайцу. Вздохи их встретились и они поняли, что знают друг друга. Но когда и где они встречались?

— А-а! вскрикнул Филипп Иванович и дружески протянул руку. — У Сапога в работниках жил, да?

— И-е! — отозвался Борлай, тряхнув головой. — Купец Гришка выдру брал, кирпич чаю давал. Только. Мало. Ты — солнце так был, вечер — табак мне таскал.

Пока Суртаев беседовал с Копосовым, Борлай выкурил две трубки.

— Пошто Сапог вся земля, вся долина Каракол свои лапа держит? Где будет алтайц жочевать, где сено косить?

— Скоро, товарищ Токушев, начнем землеустройство. Отрежем землю у Сапога. Землемеров, людей таких, которые землю режут, обещают нам, — успокоил секретарь.

Борлай вышел вслед за Суртаевым. По улице ехал рядом с ним, бормотал по-русски:

— Все горы знаю. Все долины. Мы долго будет ездить, много хороших людей соберет.

Ему казалось, что людям, которых они соберут, будут выданы не только карандаши, но и такие дальне-бойные винтовки, из которых хоть по звездам стреляй. Курсы ему представлялись чем-то вроде отряда, с каким ходил покойник Адар. Вся разница лишь в том, что Суртаев будет учить книги читать. Как это хорошо! Тогда Борлай сам любую бумажку прочитает! Да только ли бумажку? Нет, он заведет себе такую же толстую книгу, какую видел у Сапога, в которой,—что ни лист, то рисунок. Тогда слова его не умрут, как умирают сейчас. И сын, — будет же когда-нибудь у него сын, — увидит, что делал отец, какие слова говорил. А слова бывают разные. Есть такое слабое слово, что человек скажет его и тут же сам забывает, а есть такое большое и сильное слово, что его повторят все сородичи, понесут по горам и будут помнить многие годы. Раньше большое слово было только у зайсанов: это от них всюду скакали верховые и всем встречным рассказывали новости. Теперь большое слово будет у того, кто поедет с Суртаевым и станет учиться.

Они поровнялись с воротами той ограды, где жила Макрида. Алтаец остановился на дороге. Филипп Иванович настойчиво приглашал:

— Заезжай, друг.

Борлай махнул плетью в сторону синей сопки, возвышавшейся за селом; из уважения к старому знакомому говорил по-русски:

— Я — там спать.

— Не отпушу я тебя туда. Какой же ты друг мне, коли ночевать от меня в лес бежишь.

— Друг, друг... Изба спать — грудь тяжело, лес спать — грудь легко.

— Во дворе ночуешь.

Борлай кротко усмехнулся, словно над малолетним:

— Как тут огонь класть? А огонь нету — спать как? Ночь падет — злые духи ходить будет. Ой-ой!

Он зажмурился и шутливо потряс головой, а потом испытующе посмотрел в приветливые глаза собеседника и огорченно молвил:

— Русский не любит, когда алтаец изба ходит.

— Как хочешь, — сказал Филипп Иванович, недовольно пожав плечами. — Утром раньше приезжай. До солнца...

Борлай легонько кивнул головой, повернулся покорную лошаденку и потрусили в кривой переулок.

3

Гость сидел в переднем углу. По одну сторону его полыхала огненная борода Миликея Охлупнева, а по другую возвышался сам хозяин, обнимавший левой рукой синий ведерный чайник.

— Филипп Иванович, гостенек, об одном стакашке захромаешь. Выдерживай, — настаивал хозяин, подняв полный стакан медового пива. — Чокнемся... пей до дна.

— Нет, нет. Не могу.

Суртаев морщил лоб и отодвигал стакан.

— В кои-то годы раз свиделись да и не могу. Не хочешь якшаться с нашим братом, деревенщиной?

Миликей Никандрович погладил свою лысину, подымавшуюся со лба на макушку широкой заводью, и, не удержавшись, тихо молвил:

— Зря принуждаешь человека, Осип Кондратьевич. У него — я знаю — душа не принимает.

— Ты бы, свояк, лучше свой стакан обходил, а за других не хлопотал, — укорил хозяин, шевельнув щетинистыми бровями, кольца усов его задрожали.

— Да и в самом-то деле, что человека неволить. Всяка душа меру знает, — ввязалась Макрида Ивановна.

Осип сдернул чайник на лавку, шумно толкнул от себя и одним взмахом длинной руки спрудил стаканы, расплескивая пиво.

— С глаз долой. Городские люди, бабенка, гнушаются твоим угощением.

— Будет тебе, Осип. Нет, чтобы гладко разговор вести, у тебя все бугры да кочки.

Хозяин строго покосился на жену, на гостя посмотрел из-под сросшихся бровей и замолчал, тяжело сопя.

Охлупнев спросил о городских ценах на масло и мя-

со, о мануфактуре и неловко покашливал, не зная о чем еще говорить с этим человеком, с малых лет оторвавшимся от земли.

— В сельсовете у вас алтайцев много? — спросил Суртаев, нарушая неудобное молчание.

— Выбрали двух на поглядочку, да и тех не видим. Не скоро их из каменных щелей вытащишь на свет божий, — отвечал Миликей с глухой неприязненностью в голосе.

— Почему так?

— Хоронятся они от народа, как сычи: войны стало быть напугались. Сердцем они, видишь ли, мягкие, в роде ягнят.

— Нашел ягнят... зверем звать, — зарычал хозяин. — В прошлом году они, косоглазые, весь ячмень у меня потравили да повытоптали.

— А я тебе опять же скажу: сам виноват — не сей на ихней земле.

— Чорт ее тут разберет, которая ихняя, которая наша.

Макрида подвинулась к столу и зычно спросила, решив перевести разговор:

— Говоришь, на полгода приехал-то?

— И все время в татарве болтаться? — переспросил Осип, закручивая усы и недружелюбно поблескивая глазами.

— Надо кому-то и орду образовывать, — мягко пропел Миликей.

— Образовывать. Они, собаки, вон как меня образовали, все еще синяк под глазом держится.

Хозяин сплюнул на пол и покосился на свояка.

— А ты не помог нам тогда. Ежели бы у меня была такая силища, какая у тебя, дак я из орды сделал бы кашу.

— Не поминай ему про силу, — шепнула Макрида Ивановна.

Но Охлупнев уже нахмурился и засобирался домой. Суртаев тоже поспешил выйти из-за стола. Ему отвели горницу, где пол был устлан шерстяными половиками, стол покрыт kleenкой, а на высокой кровати — две горы розовых водушек. Филипп Иванович долго хо-

дил из угла в угол, каждый раз по одним и тем же цветным клеткам. Потом он сел к столу, разложил толстую тетрадь в кожаном переплете и записал:

«Трудненько работать здесь. Это не то, что в районе, населенном одними русскими. Там кулак есть просто кулак, а здесь бая весь сеок своим кровным родственником, старшим братом, чуть ли не отцом родным считает. Слово такого зубра и посейчас для многих — закон. Беднота не выявлена и не так-то скоро узнаешь, кто бедняк и кто середняк. Русские торгаши и чиновники так долго обманывали алтайцев, обдирали их, как лиственницу, что кочевники даже теперь подозрительно относятся к слову незнакомого, разговаривают с русскими неохотно, — как бы, дескать, чего худого не вышло. Нелегко узнать, чем алтаец живет, что он думает. На мое счастье так неожиданно попал знакомый кочевник, который может быть хорошим помощником, если не обманет и не удерет во свояси. Пожалуй, что он не убежит: люди с такими смелыми профилями и ясными глазами обычно не обманщики. У них душа открытая и режут они напрямик».

Суртаев бросил карандаш и снова прошел по комнате.

— Но трусость может обуять Борлая... побоится трудностей и баев...

Вспомнил Улаганский аймак, где работал прошлым летом два месяца. Советизация там только начиналась. Годом раньше зайсан собирал дань со всего сеока. В одну из поездок по кочевьям Суртаев встретил пожилого алтайца с лиственничным кряжем на плече. Спросил его: «Разве у тебя нет лошади?» Алтаец ответил ему: «У меня нет ни лошади, ни коровы». Суртаев записал его имя — Рыс. В волости справился: «Пригульные лошади есть?» — «Были, да всех раздали». — «Кому?» — «Чумышу дали, кажется, одиннадцать, тому, другому... ни одной не осталось». После оказалось, что лошадей получили бай. Суртаев нарочно спросил: «Беднота у вас есть?» — И ему ответили: «Чорт их знает, кто они такие, ни у одного правды не добьешься». Тогда он отобрал у Чумыша при-

гульных лошадей, вызвал Рыса и сказал строго: «Вот тебе конь». Алтаец поклонился ему в ноги, будто перед ним сидел зайсан, обрадовался коню, уехал сияющий. Через две недели, проезжая тем уроцищем, Суртاءев спросил у Рыса — хорош ли конь? Старик молча смотрел себе под ноги. «На мясо зарезал: ребятишек полная юрта, кормить чем-то надо», — подумал Суртاءев: «Нет, — сказал старик, — лошадь эта такого-то бая и я отдал ему». Узнав, что у этого бая красные части оставили на поправку шесть коней, Суртاءев через ревком взял их и одну лошадь — Рысу. — «Будешь ездить?» — спросил его. «Буду», — ответил старик чуть не со слезами. А через месяц в волость сообщили, что Рыс давно возвратил коня баю и отработал ему полторы недели. То же самое повторилось, когда раздавали конфискованных коров.

Филипп Иванович снова сел к столу, внимательно перелистывал тетрадь. Взгляд его упал на одну из первых записей:

«Проработав в Улагане, я пришел к заключению, что необходимо начинать с продолжительных бесед в каждой юрте. Побывать у алтайца-бедняка несколько раз, подружиться, в доверие к нему войти. Выпить с ним не один чайник соленого чая, выкурить не один веник листового табаку. Тогда и толк будет. Алтаец в тебе дружка увидит, как говорят они, и пойдет за тобой. Так делали миссионеры. Акакий, например, и лето, и зиму в седле проводил, помногу раз в одной и той же юрте бывал, знал, кто чем живет, кто на какой девушке жениться собирается».

Вспомнились военные годы. Стояла суровая зима. Бушевали бураны. Часть, в которой находился он, Суртاءев, измоталась в боях. Ни сна, ни отдыха. На расвете надо было снова идти в бой. Командиру предложили провести собрание, чтобы поднять дух бойцов, но он сказал: «Я сделаю по-своему». Он знал, что на собрании будет ропот. За ночь обошел все дома, в которых ночевали бойцы, со всеми поговорил по-душам, выкурил по папироске. Утром все бросились вперед, подбадривали друг друга, — и разбили сильного противника.

— Бай — сильный противник. У него крепкие связи

в своем сеоке. Разрубить эти связи можно только простыми беседами с бедняками, за чаем, когда они считают тебя гостем, а не на собраниях, куда они идут пока-что не без подозрения, посевенного классовым врагом. — Так говорил он, Филипп Суртаев, на заседании бюро обкома ВКП(б).

На следующей странице тетради было записано:

«Все пришли к единому мнению: в каждый аймак, в каждую долину кочевых агитаторов послать. Мне сказали, чтобы я немедленно в кочевку отправился. Нужен опыт для малоподготовленных работников».

Он захлопнул тетрадь и вышел на двор. Ночь была прохладная и задумчивая. На бархатистом темносинем небе тихо мерцали багряные, золотистые и зеленоватые звезды. Острые шпили гор выглядели отмякшими и затупившимися. Где-то на вершине Синюхи мигал дерзкий огонек. С первого взгляда нельзя было понять — костер это или утренняя зарница — самая прекрасная из звезд.

— Ишь какой огонь развел, — в небо искры! — воскликнул Филипп Иванович и подумал:

«Там он, как дома. Жизнь его текла у непотухающих костров, вот и тянет его к лесу. Жить — значит жечь костры».

Он вернулся в дом и вскоре заснул.

Утром его разбудил отрывистый стук в наличину. Дребезжали стекла. Он вскочил и бросился к окну.

— Солнце вставал — кочевать надо, — крикнул Борлай.

— Сейчас, дружок, сейчас.

Хозяина не было дома, и Макрида Ивановна, пробегая мимо Борлая, с легким сердцем пригласила его в избу:

— Заходи, там дружок твой. Чай пить будем.

Это было сказано так мягко и так искренно, что Борлай невольно оглянулся: «С кем разговаривает таким певучим голосом эта баба, показавшаяся там, в расщелине, такой горластой?»

Она схватила его за рукав, озорно дернула.

— Пойдем. Горлопана сердитого дома нет.

Борлай, озираясь, нерешительно ступил на камыше-

вую дорожку, не заманить ли его хотят да поколотить за ту свалку в ущелье в туманный день? И только присутствие Суртаева успокоило его. Он высоко подымал ноги, словно хотел отряхнуть пыль с подошв. Первый раз шел по таким чистым сеням. Ему казалось, что все здесь новенькое, нетоптанное и нетроганное. И эта девственная чистота навалилась гнетущей тяжестью. У порога он замер.

На столе сиял желтый самовар, кругом его тонких ножек стабунились чашки, белые, точно первая ледяная пленка на реке. Сладко пахло румяными шаньгами и сотовым медом.

— Снимай шубу, дорогой гостенек, — сказала хозяйка, не отходя от него.

Борлай сразу вспотел. Он нерешительно размотал опояску, на которой болтался нож, и тихонько распахнул шубу.

Из горницы вышел Суртаев и, улыбнувшись, подал руку. Токушев не мог сдержать умильной улыбки. Он верил, что нашел первого друга в жизни.

— Самоварчик для тебя, братко, раздобыла. Помни, ты любил чайком побаловаться, — сказала Макрида Ивановна, когда брат, умывшись, сел за стол. Она взглянула на Борлая, все еще стоявшего у порога. — Ну, а ты что не садишься? Садись вот сюда.

Брат недоумевающе посмотрел на нее, — откуда такое гостеприимство для алтайцев?

Токушев приткнулся на скамью с угла стола.

— Ты садись как следует, а то баба любить не будет, — засмеялась хозяйка и рукой показала, что нужно подвинуться.

Покрытые толстым слоем сметаны, горячие шаньги сладко хрустели на зубах. Борлай ел кусок за куском, — и, странно, никто не смотрит ему в рот, никто не думает о том, что за столом сидит алтайец. Скуластое лицо его и толстая шея налились кровью. Черные глаза жарко горели, крупные ноздри раздувались. Иногда на лице его появлялась легкая улыбка удивленного и довольного человека. Но он все-таки не мог посмотреть в глаза хлопотливой хозяйке, пока сидел за столом. Ему казалось, что вот сейчас холодно на-

чаливому лиственичнику. Борлай, встряхнувшись, за-
пел:

Что от ветра спасает,
От дождя сохраняет, —
Не шелком ли юдетая лиственица?
Что от зимы бережет,
От грозы укрывает, —
Не кожу ли свою нам дарящая лиственица?

Проснувшееся к ночи эхо осторожно подпевало. Суртаев прислушался к голосу лесов, потом протяжно свистнул. Чуткие кедры перекликнулись гулким пересвистом. Токушев, не оглядываясь на спутника, строго проворчал:

— Не свисти, товарищ Суртаев, горный дух не любит. Рассердится — дорогу спутает и через реку непустит.

Филипп Иванович не понял — пошутил алтайец или говорил серьезно.

— А где же он живет — горный дух?

— Ты сам знаешь: в лесу, на горах.

Поровнявшись с кочевником, Суртаев встретил острый взгляд непонятно улыбающихся и чуть прищуренных глаз.

— Неужели ты веришь этому?

— Не знаю. Сам свистел — ничего не было. Старики говорят: «Горный дух в каждой долине есть», а ты говоришь: «Нет духа». Где правда?

После короткого раздумья, Токушев добавил:

— Ульгеня я просил помочь мне, овечку резал, камлал. Он не помогал. Может спал, не слышал. Может нет его — не знаю.

— А откуда горы взялись?

— Давно они так... Говорят, когда-то стояла бесконечная ночь. Не было ни земли, ни неба. Ульгенъ летал над водой туда-сюда. Утром как-то услышал внутри себя голос: «Впереди хватай!». Махнул рукой, что-то попало. Смотрит — камень. Сел он на тот камень отдохнуть. Тут из воды вышла Белая Мать, приказала сотворить землю...

Борлай оборвал рассказ и испытуемое взглянул на спутника.

— Может быть, наврали. У старииков память — как старый аркан, гнилая, говорят и сами не знают — правда ли, вранье ли.

— Я считал тебя первым моим учеником, а ты, оказывается, стариковским сказкам веришь.

— У алтайского народа сказки седее старииков. Сказок моложе нашего поколения никто не рассказывал.

Филипп Иванович, вспомнив алтайскую пословицу — «Хорошее слово стоит половину лошади», — подумал: «Этот за хорошим словом за пазуху не полезет».

Редкий басистый лай летел из глубины дремлющего леса. Где-то на поляне, подняв морду к небу, лениво бухал крепкокскулый волкодав. Во всех концах долины его передразнивали так же нетерпеливо.

— У Таланкеленга собака голос подает, — сказал Борлай. — К нему и заедем.

Они повернули коней в ту сторону, откуда доносился лай, и вскоре лесной полумрак окутал их.

Суртаев знал, что в лесу, где эхо надоедливо повторяло все шорохи, мудрено по собачьему лаю найти одинокий аил, и уже готовился провести ночь под лохматым кедром, как вдруг расступились деревья, и путники оказались на маленькой елани. По тому кислодымному запаху, который присущ всем алтайским аилам, Филипп Иванович узнал, что где-то рядом стояло жилье.

Их встретил низкорослый человек в шубе, накинутой на одно плечо и туго подпоясанной. Он еле удерживал за длинную хребтовую шерсть большую собаку, заливавшуюся беспрерывным и ожесточенным лаем. Осторожно подвел ее к Борлаю, потом к Филиппу Ивановичу и дал обнюхать. Собака важно повернулась и пошла прочь. Хозяин взял поводья, пообещав отвести лошадей на хороший корм, а гостей пригласил в аил.

Двое голых мальчуганов грелись у огня. Хозяйка деревянной поварешкой перебалтывала в казане соленый чай с молоком. Борлай заметил, что все пожитки приготовлены к перекочевке.

Гости сели на мужскую половину. Вскоре хозяйка поставила перед ними чашки с чаем, всыпав по ложке ячменной муки-толкана, к ногам их сунула посудину

из кожи коровьего вымени, в которой была серая от пыли сметана, на голую землю положила твердые, словно камень, плитки сыра-курут и бросила терпек — пресные лепешки, испеченные в золе.

«Где он взял муку? Однако, руки у него нечистые?» — подумал Токушев. — «Около бая, как собачонка, трется, что тот скажет, то и делает».

Вернулся хозяин и угостил гостей новой трубкой, еще не потерявшей запаха лиственничной серы и черемухи. Борлай долго вертел трубку, вглядываясь в каждую царапину:

— Хорошая трубка! Ты большой мастер ножом работать.

Достал из-за голенища трубку, найденную им в долине Голубых Ветров, и, раскурив, подал хозяину. Таланкеленг схватил ее и сунул в рот, щелкнув зубами. Покуривая, смотрел в огонь и вытянутое вниз лицо со вздернутым носом блестело, точно раскаляемая бронза. Низкорослая фигура его теперь казалась еще сутулее.

Токушев смотрел на хозяина и ждал, что он скажет, накурившись досыта.

— Отличная трубка. Не хуже монгольской, — смущенно пробормотал тот, не глядя на гостей.

— Неплохая? Видно, не худой человек делал ее.

— А я утром кочую к вам, — сообщил хозяин, торопясь перевести разговор.

— К нам? — удивленно переспросил Борлай. — А от нас народ откочевывает — говорят: «несчастливая долина».

— Я приеду — будет счастливой.

— Ты, хозяин, позови к утру соседей. Откочуешь послезавтра, — попросил Суртаев.

В эту ночь Борлай долго не мог уснуть. Он думал:

«Однако, его трубку я поднял у полуразрушенного аила... И шапка у него из козьих лап, а кисть на ней пестрая... Тогда я видел пеструю кисть...».

На рассвете сон незаметно закрыл его глаза. Пробудился он, когда в аил вошел сухой человек среднего роста в желтой шубе с лисьим воротником и в рысьей шапке с оципанной шелковой кистью. Человек этот шел, растопырив руки, словно боялся упасть на землю.

и разбить широкую грудь. В сивой бородке, похожей на кедровую ветку, были жесткие волоски, как хребтовая щетина. Глаза желтые, маленькие — лисьи. Когда он перешагнул порог, — хозяин и хозяйка, шумя заскорузлыми шубами, почтительно вскочили. Токушев спросонья тоже метнулся, но, мысленно промолвив: «Я перед тобой больше тянуться не буду», сразу же сел к огню. Виновато посмотрел на Суртаева. Смущенный взгляд говорил:

«Это по старой привычке».

Сапог Тыдыков сел рядом с Борлаем и предложил ему свою монгольскую трубку. Токушев тихонько поднес трубку к губам и, подержав недолго, пихнул хозяину аила.

«Как прогнать зайсана?» — мысленно спрашивал Суртаев. — «Ничего не придумаешь. Главное, он нещен избирательных прав. Нельзя было: народ все еще не отколот от него».

Вошло несколько человек — соседи Таланкеленга, приглашенные на беседу. На мужской половине сразу стало тесно.

— Слышал я, что вы организуете курсы? — спросил Сапог, поблескивая глубоко спрятанными глазами. — Хорошее дело! Учить народ надо.

— Знамо, надо, — промолвил хозяин.

— Ты — человек умный. Ты моего сына на курсы примешь, конечно, — уверенно продолжал Сапог.

— Нет, не приму. Твой сын выше этих курсов, — сказал Суртаев и, зная, что во всей долине грамотных два-три человека, поспешил разъяснить. — Мы принимаем только неграмотных.

— В таком случае, он поможет вам учить народ.

— Мы не осмелимся утруждать вашего сына такой низкой работой.

В айкоме комсомола Суртаева уверили, что в Каракольской долине живет алтайский-комсомолец. Но в сельсовете сказали ему, что «в списках такого не значится». Встречные всадники, услышав незнакомое слово, делали большие глаза и отвечали вопросом: «А это кто такой? Начальник?». Тогда Филипп Иванович подумал: «Что же удивительного, если во всей области членов и кандидатов партии четыреста восемнадцать

человек, а комсомольцев только триста сорок три человека. Алтайцев же среди них — единицы». Теперь, чтобы перевести разговор, он снова спросил о комсомольце. Кочевники переглянулись недоуменно. Заметив это, Суртаев долго говорил о партии, о комсомоле. Едва он успел закончить беседу, как Сапог внес предложение:

— Можно выбрать в комсомольцы моего пастуха Аргачи Чоманова. Пусть он едет на курсы.

Суртаев усмехнулся, но через минуту сурово спросил:

— Отец его богато жил?

— До самой смерти у меня в пастухах. Аргачи — в отца. Хороший пастух! Умница! Лучше его в комсомольцы не найдешь.

Суртаев перевел взгляд на алтайцев. Сразу заговорили все:

— Расторопный парень.

— Честный. Не потерял ни одной скотины.

— Старательный. О скоте заботится, ровно о себе.

Суртаев напористо тряхнул головой. В глазах его блеснули смелые огоньки.

«Попробую. Хотя родовые обычай оплели народ, точно хмель, и не малая сила нужна, чтобы разорвать эти корни, — все-таки попробую», — решил он.

Ноги его с непривычки быстро отерпли. Он встал.

— Ладно. Принимаю. Пусть приезжает в нижний конец долины.

5

Они проехали всю долину и подымались по узкому урочищу «Медведь не пройдет», стиснутому каменными громадами. Возле ручья, бурлящего посередине полянки, стояло три аила. Рядом с первым — маленькая избенка, крытая землей, с крошечным юконышком без стекла, напоминающая деревенскую баню по-черному. К стене был привален огромный чурбан, на котором сухоплечий алтайец в рваной шубенке, сброшенной с правого плеча, и в овчинной шапке без опушки и кисточки, острым плотничьим топором вытесывал

широкие лиственничные доски. Услышав мягкий шорох шагов и усталое дыхание лошадей, он вскинул сухощавое и морщинистое лицо, почти лишенное бороды и усов. Взглянув на серые щеки и встретившись с мягким взглядом продолговатых глаз, Суртаев подумал, что этот человек многое пережил и многое видел.

«А сколько же ему лет? Не то тридцать пять, не то все пятьдесят?»

Чумар положил топор и, не спеша, повернулся.

— Доски делал. Скоро приедут люди. Писать надо, — обяснил он, когда гости подошли к избенке.

— Как писать? — удивился Филипп Иванович.

— Бумаги нет, карандашей тоже нет.

Хозяин отворил двери в избенку и достал корзинку с круглыми и длинными углами. Смущенно улыбаясь, он взял дощечку и написал на ней несколько букв:

— Вот как пишет! Лиственничный уголь не годится: твердый он, ломается. А этот уголь — талиновый, мягкий. Хороший уголь.

В избенке, где было так же душно, как в тесном хлеве, Чумар Камзаев жил лишь в середине зимы. Он провел гостей в аил.

— Ты не кочевал нынче? — спросил Борлай.

— Мне кочевать некогда. Народ учить надо,—отозвался хозяин и стал подносить гостям араку.

Филипп Иванович медленно осматривал аил. Он нашел за стропилиной книжку, засаленную как старое голенище. Это был истрепанный самоучитель русского языка, изданный в начале столетия.

— Давно ты научился грамоте? — спросил он, взглянув на хозяина широко открытыми глазами.

Чумар сел на баранью шкуру, легко подогнул ноги под себя. Он говорил вяло, певучим тенором:

— Давно. В Абае у русского мужика в работниках жил, когда мне поп дал эту книжку. Крестить меня собирался. Которые буквы показал, которые нет. Весной я поехал овец пасти и — книжку с собой. В книжке нарисован конь и написано, что это конь. Я стал понимать. На камнях писал. Однажды вздумал я написать на камне слово — ак¹. Две буквы только, а я пи-

¹ Белый

сал два дня. Все не так выходило. Тяжело. Думать стал: «Грамота алтайцу не нужна совсем». И книжку забросил в мешок.

Гости слушали с возраставшим интересом.

— Война пришла. Белый царь поссорился с другим царем. Народ погнали, стали бить. В шестнадцатом году добрались и до алтайцев. Кто подарок комиссии даст — того забракуют, а кто не может подарка дать — иди на войну. Взяли меня на войну. Погнали по городам. Всю зиму гнали. Весной окопы копать заставили. День копаем, ночь копаем — все им мало. Начальство сердитое, по щекам бьет, не дает разговаривать. Охота мне стало жenе весть о себе подать, а писать не умею. Грамотных нет. Вспомнил книжку, да достать негде.

Борлай смотрел на землю. Воспоминания проплыли перед ним, как расстилавшийся по земле и таявший вдали дым огромного костра. Он тоже копал окопы и могилы на фронте, так же мысленно переносил себя в родные горы и думал о грамоте.

— Отпустили меня домой, — продолжал хозяин. — Баба моя пропала без меня. Коня найти не мог. Аил чустой. Только эта книжка цела осталась, никто не взял. Кому она нужна? Обрадовался я. Опять учиться зачал. Найду в лесу камень, мохом обросший, пишу на нем.

Вшли алтайцы в рваных шубенках, спущенных с голых плеч. Чуть слышно сказали свое «якши» и сели у дверей. Они так заслушались, что забыли даже про обмен трубками. Чумар рассказал, как он поддерживал связь с партизанскими отрядами, как бай угрожали ему смертью и как в волости, поверив клевете, распорядились об аресте его. Под конец он упомянул о последних боях с бандитами и о смерти Адара Токушева.

Борлай внезапно приподнялся со сжатыми кулаками, словно хотел ринуться на невидимого врага. Брови низко упали на глаза, и взгляд стал недоверчиво-острым.

— Брата твоего в бою у Белой Сопки ранили в ногу, — продолжал Чумар говорить так же медленно и

тихо, как будто его одолевала дремота.—Подобрать раненого наши не успели. Попал он в руки Учура. Слух был, что Учур не хотел его резать, да приехал человек, — от Сапога ли, от Копшолая ли — не знаю, — и сказал, что не надо такого беркута из лап выпускать, а то, говорит, он многим переломает хребты.

Лицо Борлая позеленело и стало угловатым, напоминавшая деревянный шар, вытесанный тупым топором. Он нервно шевелил губами, будто шептал обжигающие слова. Наконец, на зубах его что-то хрустнуло, точно он раскусил уголь. Все думали, что сейчас посыпется потрясающий рев. Но голова Борлая внезапно пеникла, а глаза стали задумчивыми.

— Вернулся я домой, — продолжал Чумар, покачиваясь в такт своей грустной речи. — Женился на здраве, у которой было четыре лошади, девять коров и двадцать баранов. Жить можно бы, но... Повернуться некуда. Везде бай сидят. Думал я, думал. «Учить бедняков надо, а то я один — задохнуться можно». Список составил, каких людей надо учить грамоте обязательно. Поехал к ним, стал уговаривать. Теперь они приезжают ко мне каждое утро. Вот.

Он указал на алтайцев, стоявших у порога.

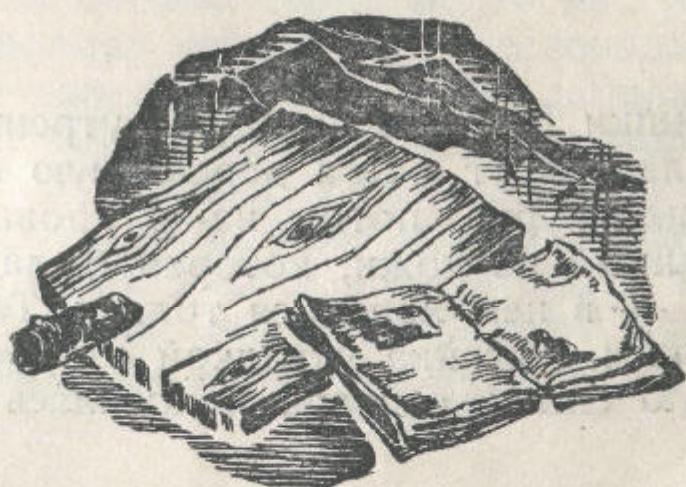
— У тебя ликпункт? — спросил Суртаев. — Из аймака приезжал кто-нибудь?

Хозяин потряс головой и заключил:

— Учить народ надо, подымать...

Филипп Иванович рассказал о курсах.

— Я скоро своих учить кончу, тогда приеду к тебе, — сказал Чумар на прощанье.





ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В аиле Утишки Бакчибаева ждали утренний чай. Урмат расставила вокруг очага деревянную посуду, камнем раздробила курут, потом из-за кровати достала мешок, сделанный из кожи, которая была снята с коровьей ноги, — в нем хранился толкан. Теперь мешок оказался пустым. Алтайка украдкой отбросила его за свою широкую спину, свирепо покосилась на дочь и

стала хлопотливо разливать чай, черпая деревянной поварешкой из казана. Чай был вскипячен по всем правилам — с солью и молоком. Недоставало лишь толкана.

Утишка жадно хватил глоток горячего чая, фыркнул по-кошачьи, облизал потрескавшиеся темно-красные губы, похожие на ломоть сырой печеньки.

— Чем кормишь мужа? Конь такой чай пить не будет, — рассердился Утишка, черные кустики бороденки крупно задрожали, будто былинки в бурю.

— Нет у нас, хозяин, больше ни толкана, ни ячменя, — оправдывалась жена спрятавшись за люльку. — Я берегла толкан, дышать на него боялась, пылинки не с'ела... Это ребятишки...

Алтаец вспрыгнул на свои толстые медвежьи ноги.

— Сама сожрала все. Ишь, рожа надулась, как тажаур с аракой.

Урмат спрятала побелевший нос в обрывки листьев воротника, вздернула покатые плечи и зажмурилась. Но на этот раз муж не тронул ее. Он стремительно вылетел из аила и хлопнул дверью, — содрогнулись стропила, посыпалась пыль.

— Все идет кругом: копиши-копиши, а оглянешься — пусто. Вот и без толкана остались...

Правой рукой теребил самый густой кустик на тупом подбородке, будто хотел выдрать с корнями.

«Если бы жили на старом месте, можно было бы к Салогу сходить. Он дал бы ячменя за отработку. А отсюда в которую сторону бросишься?» — думал он, мотая головой.

Утишка любил болтать пальцем в чашке с чаем и ногтем отковыривать со dna распаренный толкан, похожий не то на плохое тесто, не то на густую кашу. Он как бы ощущал теперь весь несложный процесс приготовления толкана. Вот приятно пощелкивают тугие золотистые зерна ячменя, поджариваемые в раскаленном казане. Урмат безупречно ворошит их березовой палочкой. По всему аилу стелется сладкий запах подгорающих зерен. Потом жена уходит на луг, чтобы на легком ветерке еще раз провеять ячмень. А он, Утишка, положив голову на порог, смотрит, как улета-

ет в даль желтая пыль, пахнущая хлебом. Наконец, под неустанными руками жены обрадованно скрежещут проголодавшиеся синие каменные плиты, перевевая меднокрасные зерна. Утишка растянулся по земле и полными горстями черпает с нижнего камня не успевший остыть толкан, чуть хрустящий на зубах.

Бакчибаев бесцельно бродил по лугу, недовольно глотал обильную слюну и облизывал сохнувшие губы.

— И занять не у кого. Если у меня нет, так о других и поминать нечего...

Так он дошел до ворчливой речки Кураган. Карамчи, зачерпнув ведро воды, шла к своему аилу. Мужчина посмотрел на ее широкую спину, мысленно сорвал с нее чегедек и распахнул шубу, обнажая смуглое тело.

— Она одна... Никто не помешает...

Утишка провел рукой по непокорным кустам бороденки и пошагал к борлаеву аилу.

Карамчи поставила чайник к отню и, раскрыв дверь, села шить мужу зимнюю обувь из желтых козлиных лап. При появлении гостя, она неохотно вскочила, длинной палкой взболтнула пенистый чегень в архите — большом кожаном мешке, — по всему жилью разлился ядреный запах кислого молока. Засучив рукава, она зачерпнула полную чашку голубоватой жидкости, напоминавшей взболтанную простоквашу, и поднесла Утишке.

Гость из уважения к хозяйке сдернул шапку с головы и ненасытно прилип вытянувшимися губами к обглоданному краю чашки.

— Худой у тебя муж, бросил одну на новом месте, — пожалел он хозяйку, хитро скользнул глазами по ее строгому лицу, по засыпанной бусами груди и шумно опустился на баранью шкуру.

— Но он не рычит на жену, когда нет толкана, — в тон ему ответила Карамчи.

«Успела пожаловаться, кособокая тварь», — подумал о своей жене и заговорил горячим шепотом:

— Говорят, что муж твой проездит до осени. А может и не вернется... И что надо человеку, ездит где-то там...

— Значит дело есть, коли ездит...

— А чем ты пытаешься будешь без него?
— Проживу, у тебя просить не буду...
— У меня сердце жалостливое, я всегда соседям помогу окажу.

— А у меня неповоротливое сердце...

— Толкан у меня будет, приходи...

— Можно и без толкана прожить.

У Бакчибаева неприятно отвисла нижняя губа.

— Без толкана? Ты еще скажешь, что без мужика можно...

Он нахально усмехнулся.

Алтайка замолчала, склонившись над люлькой.

Утишка, прищурившись масляными глазками, погладил ее, остановился на тугом соске, повисшем над ребенком, и, вспрыгнув, обдал липким шопотом:

— Я ночью приду... Мяса тебе принесу...

— Попробуй, если надоело ходить с целой рожей...

У входа лениво позевнула собака и заурчала. Карамчи по шагам узнала, что идет Чаных.

Утишка уколол женщину свирепым взглядом, за порогом буркнул:

— Посмотрим, чьи ноги загремят на гору.

Он оглянулся и опять тем же липким голосом добавил:

— А у меня будут горы ячменя, мешки толкана...

— Ну и подавись ты им.

Карамчи озлобленно плонула ему вслед.

Утишка шагал необычайно широко и ногуставил твердо.

— Будет ячмень. Будет. Придете и попросите. Покланяйтесь, — говорил низким басом. — А сам я каждый день горстями буду есть...

До вечера бродил по лугу. Возле небольшого холма облюбовал ровную и мягкую полянку, где изрытая кротами земля напоминала войлок. Раза три прошел по ней из конца в конец.

— Здесь городьбу к речке приткну, а там — к скале. Загородить пособят. Кому денег дам, а кому посулю ячменя.

Он обругал себя за то, что столько лет брал ячмень у Сапога и ни разу не подумал о своем посеве. Мыслен-

но переносил себя в будущее. Золотистая осень. Дни короткие, но мягкие и ласкающие последней теплотой. Медные колосья устало клонятся к жирной земле. Утишка без устали рвет ячмень с корнем, обивая землю о сапоги. Рядом с полосой разводит костер, обжигает колосья исыпает на кожаный полог. Беретувесистую палку, несколько раз со всего плеча ударяет по колосьям, — и собирай зерно. Вот приходят к нему соседи. Один подставляет мешок, второй — подол шубы. Все жалобно тянут, что давно не видали толкана и еле волочат ноги. Утишка упрямо повторяет, что у него своя семья большеротая, для себя нехватит бедного урожая, но потом, как бы склонившись, опускается к вороху, дрожащими руками насыпает ведро золотистых зерен и говорит неузнаваемо строгим голосом: «Зимой принесешь мне двадцать белок. Да, да, двадцать первосортных белок... За каждую пригоршню ячменя по две белки». Борлаю он бросит небрежно: «Тридцать шкурок и чтобы все были без из'яна». Если широколобый догадается послать Карамчи, то Утишка может даром насыпать ей полный мешок да еще и пособит доности.

С такими думами он подошел к своему аилу, со всей силой рванул легкую дверь и бросился к жене, шарахнувшейся от него на кровать:

— У нас будет ячмень! Толкана много будет! Сам сею! — воскликнул он, размахивая руками.

На следующий день он нашел в лесу лиственницу с толстым и крутым суком, срубил ее, заострил и положил сушить. Когда лиственница высохла, он изрезал солдатский котелок и обил остree — теперь сук походил на сапог со сбитым каблуком.

С'ездив за шаманом, Утишка принес в жертву злым духам двухлетнего жеребенка. Серая шкура висела над холмом, обращенная осколенной мордой к солнцу. Ветер пытался раскачать ее, — и мертвые копыта пощелкивали, словно шкура бежала по воздуху. В зубах шелестели, как веник, сухие березовые ветки.

Крошечную полоску Утишка ковырял все лето. Привязывал аркан за лиственничный ствол и, продернув под стремя, обматывал вокруг седла. Садил жену на

лошадь, а сам широкой грудью наваливался на ручку этого самодельного андазына. Аркан резал ноги коню и тот часто взлягивал, сбрасывая Урмат, будто непривязанное пугало. Утишка ругался на всю долину и щипал пухлые бока жены.

Как он ни наваливался на ручку — андазын все-таки не шел в землю и оставлял позади себя лишь неглубокую черту. Четыре раза царапали полоску во всех направлениях, но и после этого казалось, что по лугу прошел барсук в поисках жирных жуков.

Вечерами Бакчибаев пил араку большими глотками, а поздно ночью вываливался из аила и кричал вниз по долине:

— Горы ячменя вырастут! Утишка будет богатым!
Горы!

2

Возле речки Борлай скинул шубу, столкнул шапку с головы и покорно присел на корточки, пробуя — холодная ли вода. Байрым подошел к нему не спеша, терпеливо точил один о другой скрежетавшие зазубринками ножи.

— Тверже бери и смелей, — попросил старший брат, заранее стискивая зубы.

Байрым кинул на песок большой нож, сверкнувший в лучах уходящего солнца, будто облитый кровью, а маленький поправил о заскорузлое голенище, ю ладонь и занес над поникшей головой.

Широкими плечами, напористой походкой и квадратными лицами Токушевы так походили друг на друга, что, если бы не пушистые усы и утиный нос Байрыма, никто не узнал бы, кто кого брил.

Борлай часто обливал голову водой, обильно намазывал слюной, но все это плохо помогало: тупой нож драл вороную щетину со скрипом, оставляя красные ссадины на синих полянах. Брадобрей, схватив большой нож, скоблил смело, быстро, но Борлай и при этом глухо покрякивал, а тощая косичка на макушке подергивалась, напоминая свиной хвост.

Где-то мелодично позванивал казан. Тревожно блеяли овцы. Байрым посмотрел вверх по долине:

— Кочует кто-то...

— Наверно, байский глаз.

Обвешанные продымившимся домашним скарбом, кони остановились возле аила Утишки.

— Так и есть. Беркуты летаютарами.

Оставив семью у Бакчибаева, кочевник тотчас же помчался в лес за стропилинами для жилья.

Вскоре братья пришли на место, облюбованное новоселом. Появлению Борлай Таланкеленг как будто удивился, раздосадованно спросил:

— Ты все еще не уехал?

— А я может быть и не уеду.

— В самом деле? Верно, ты махни рукой... Чего тебе от них? Поедем вместе араковать... Время золотое, — само солнце аракует, ишь, спьяна залетело на какой остряк!

Борлай облизывал быстро сохнувшие губы и часто покрякивал. Давно он не араковал. Давно не видел беспечных дней. А время действительно гультивое! Цветистые долины красивее небес, веселые леса излучают приятный аромат, а реки тянут свои бесконечные песни бодрости. Заманчиво облететь добрую сотню аилов. И везде-то тебя угостят аракой, пахнущей дымом и сытым жильем! Горы раздвинутся, улыбнувшись. Безмятежные дни пойдут торопливой вереницей...

— Погода веселая... Дали манят и пьянят, — продолжал Таланкеленг.

— У нас с тобой нет табунов, чтобы араковать. Нам заботы о завтрашнем дне точат шеи.

— Не всем табуны иметь. Свет не без добрых людей...

— Но добрые люди не солнце: к тебе они лицом, а к нам — затылком.

Токушев взглянул на шапку новосела, на длинную кисть из разноцветных прядей, и зубы его щелкнули, по лицу метнулись суровые морщины.

Таланкеленг хлопотал возле стропил.

— У отцов наших не больше коров было, да старики от весны до осени араковали, — напомнил он. По-

том остановился против Токушевых, поднял голову и, многозначительно поучая, молвил не своим голосом:

— Не мы хозяева жизни и не нам ее поворачивать. А то надорваться недолго...

— Араковать куда легче и беззаботнее, — посмеялся Байрым.

— Ничего, народ наш не выхворался пока, — задорно бросил Борлай и, вычеканивая каждое слово, продолжал:

— Зверь и тот не вечно бегает торными тропами. Ему и то приходит пора мять новые тропы. А человеку новые тропы мять, что чегеню бродить — сила сама подымается во всем теле.

Братья вптымах возвращались домой. Борлай думал о первом вечере в этой долине, о трубке, найденной у разрушенных аилов.

— Да, длинные руки у Сапога. Ох и длинные! — шепнул брату на прощанье. — Кругом капканы настороживает и все так хитро, что не скоро обнаружишь их. Лисья хитрость у проклятого бая.

3

Только-что скрылись за темносиние вершины гор золотые усы солнца, а на востоке уже поднялась полная луна, похожая на размалеванный кровью шаманский бубен. Медвежьи шкуры теней, бросаемых аилами, закрыли всю долину. Остался единственный просвет. Первыми на эту лунную дорогу выбежали Карамчи и Чаных. Они взялись за руки, пошатнулись, словно пьяные, и крикнули в поднебесье:

Пока льется лунный свет —
Прогреми наша песня.

Ох, и далеко же стелются звонкие голоса под ночным небосклоном! С треском катятся по лесам, звенят в каменных ущельях. Голос в это время, как хорошая труба. И никому-то не улежать в тот час у веселого огонька в дымном аиле. Босые ребята, прыгая, выбегут на луг, как ягнята в первый весенний день. Выпрыгнут бабы, на ходу поправляя блестящие косы.

Поднимутся степенные мужики. И даже старухи махнут рукой на теплый чай в казане и покинут аилы. В миг опустеют жилища, — словно ветром повыдует всех. А полчаса спустя прискакут люди с соседних кочевий, обогнут снежные горы, перебредут бурные реки. Сила песни неизмерима и просторы ее неизведаны!

Еще не улеглась в гулкой дали властная запевка, как послышался торопливый шорох шагов, зашеборщали тяжелые шубы. В одну минуту возник просторный круг — оин. Люди стояли плечом к плечу и, весело покачиваясь из одной стороны в другую, пели:

Мы встречаем румянную луну,
Провожаем добрых соколов...

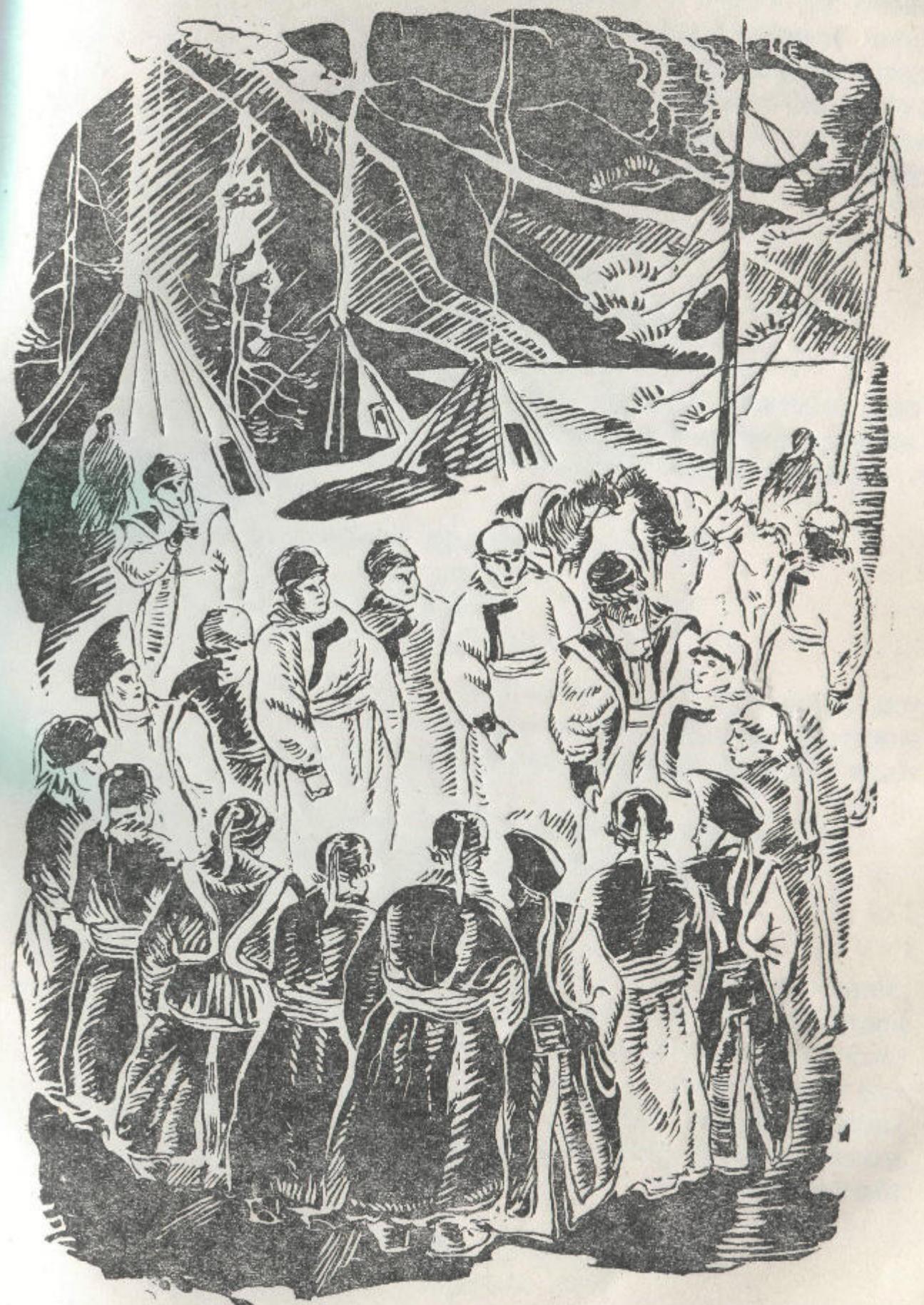
Пели только-что сложенные песни. Сочинитель запевал низким басом. Один за другим присоединялись горланные мужские голоса и звонкие женские. Песня текла все стремительней и на самых высоких нотах внезапно обрывалась, казалось, с песней подымался человек на высокую гору, откуда неожиданно падал в пропасть.

Первая песня — о людях, поутру отправляющихся на курсы. Вторая — ю долине Голубых Ветров, где травы мягкие, точно волосы девушки, и леса густые, как травы. Потом пели о жарком лете, принесшем жгучую, словно огонь, араку. В это время человек за человеком отрывались от волнующегося круга, чтобы обегать в аил и опрокинуть чашку пахнущей дымом самогонки. Когда снова раздался круг — песни полились бойче, будто реки после дождика.

Борлай Токушев чувствовал себя молодоженом: лишь на свадьбах бывали такие многоголосые оины. Проводы с песнями бодрили и заставляли радужно смотреть на будущее. Не зря же Филипп Иванович крикнул Борлаю на ухо:

— Пойдет кочевье за вами, как табун за пастухом...

Круг покачивался так стремительно, что Борлаю казалось, вот сейчас кто-нибудь оторвется от товарищей и отлетит далеко в сторону. Он легко вскинул голову и посмотрел на луну, пошатывавшуюся в такт поступи оина, и представил себе, что круг медленно поднимается над землей. Где-то далеко внизу тонко звенят роси-



стые травы. Вот топчутся люди на темнозеленой скале, которая простерлась над долиной, и песня их бойко плывет по всем уроцищам и, смело переливаясь через хребет, будит сородичей на берегах Каракола. И тогда впервые почувствовал жажду на свою песню. Он закрыл глаза и в тот же миг услышал, как в голове его зазвенела тонкая и тугая натянутая струна. Внезапно он вскинул голову и запел:

Зеленые ветки раскинув,
Старые кедры знают,
Что с восходом солнца
Запоют в лесу птицы.

Круг на минуту смолк. Борлай не мог понять: удивил ли он певцов необычайно громким голосом или поразил совершенством своей первой песни на оине и еще громче закончил:

В голубую долину откочевав,
Народ наш знает,
Что новая власть
Беднякам поможет.

Сенюш Курбаев решил повторить песню друга, надеясь, что все подхватят ее, но в это время с противоположной стороны послышался хриплый голос Утишки:

Хорош ли приехавший к тебе человек —
Ты не ответишь, не присмотревшись.
Хорош ли новой власти век —
Народ не скажет, не убедившись.

Теперь певцы подхватили дружнее и пели искреннее. Не успел Борлай ответить новой песней, как полился визгливый тенор Таланкеленга, напомнившего, что слетелись люди не на сходку, где спорят, а на оин, где веселятся. Утишка запел о парне, который любил девушку с глазами, сиявшими ярче полunoчных звезд. Потом безумолчным звоном лесного ручья полилась песня Ярманки:

Золотым листом богато одетая
Не белая ли береза это?

Суртаев подтолкнул Борлая:

— Кто сложил?

— Сам, наверно. На юине старых песен не поют.

— Толковый парень. Так от него бодростью и брызнуло! Надо учить малого.

— У него у самого двое малых... Кто их кормить будет?

В кругу уже плескалась новая песня младшего Токушева.

Целый день ходил я по голубому камню,—

Трещины в голубом камне не нашел.

Целый год я выбирал молодую девушку,—

Красивее тебя я не нашел.

Борлай вмиг осутился и исподлобья взглянул на Ярманку. Он подумал, что все участники оина поняли, кому обращена эта песня, и в душе зло посмеялись над Токушевыми. Он готов был броситься к парню, поднять его за воротник и, повернув лицом к Чаных, сказать: «Двух жен бедняку не прокормить. А отвернешься от этой — зашибу». Но в этот миг он услышал настойчивый голос Филиппа Ивановича:

— Откроется школа — обязательно возьмем малого. А пока направь его к Чумару: пусть парень учится.

Обняв алтайца, он продолжал кричать:

— Ты только послушай, какой у него голос мягкий да переливчатый. Бархат! А слова так одно к другому легли, будто цепочка!

Никогда не пел Ярманка с такой глубокой теплотой. Он думал, что эта звездная ночь в долине Голубых Ветров будет его последней ночью, проведенной в кругу единоплеменников. Еще день, и он будет там, где кочуют чужие сеоки. Хорошо, что придумали такие шумные проводы отезжающим на курсы, — Ярманке легче ускользнуть незамеченным. Перед утром он неизменно уедет. Сопливых галчат прокормит Байрым. Ведь Чаных по наследству к нему должна перейти.

Тени аилов почти растаяли, а после, не спеша, повернулись и снова начали расти. Голос Карамчи, обнявшейся с женами Байрыма и Сенюша, теперь напоминал скрип сухого дерева, расшатываемого ветром. Она думала только о том, как бы на рассвете, когда муж подведет к жилью заседланную Пегуху, сдержать слезы,

чтобы не рассердить его. Много раз уезжал Борлай из аила и на два, и на три месяца, но никогда так не беспокоилась Карамчи: тогда он уходил в тайгу на промысел, а теперь едет зачем-то в ту сторону, где живут русские. Она крепче прижалась к соседкам и безнадежно мотала тяжелой головой.

У Суртаева вскоре разболелась голова и он ушел в аил, постелил себе подседельник, от которого сладко пахло едким потом лошади, и закрылся длинношерстной шубой. Он крепко зажмурил глаза, но все-таки ясно видел веселый круг людей, захваченных песней.

В ушах звенело:

Лебедь мой!
Куда ты спешишь,
Утомляя крылья свои?
Милый мой!
Куда ты бежишь,
Опаляя сердце мое?

Борлай неожиданно умолк, прислушиваясь к голосам. Ярманку не было слышно. Шустрые глаза старшего брата расторопно пробежали по всему оину. Не найдя молодого песенника, он проворно вырвался из тесного строя и побежал по лугу, заглядывая в аилы. Везде он встречал отталкивающую пустоту: в очагах гасли последние искры. В аиле меньшего брата ощупал всю стену и не нашел ни ружья, ни провианта. Тогда понял, почему Ярманка с таким жаром пел в эту ночь, и бросился к лесу, где паслись кони.

Отыскав тропу, уводившую на хребет, он внезапно окаменел: прислушался, сдерживая дыхание. Кругом было тихо. Казалось, что было слышно, как спокойно дышали лопущистые травы, как струился в чистом воздухе аромат дремлющих кедрачей. Где-то звонко упала капля росы на тонкий лист, где-то смертно пискнула сонная пташка, застигнутая зверьком, и трепетно забила крыльями. Вот так же и Борлай неожиданно набросится на брата, обрушит убийственные слова.

Он глубоко вздохнул.

«Не виноват Ярманка. Понятно, молодая кровь тянет его к молодой девушке».

Вспомнилась своя молодость. И что только не делал

Борлай, чтобы жениться на Карамчи! Кажется, гору перевернул бы! Круглые сутки пас чужие табуны, попутно ставил капканы и петли на звериных тропах, чтобы скопить денег на калым за любимую девушку.

— Такую закалку дал сыновьям Токуш, не сердца у них, а неуемный огонь.

Он махнул бы рукой на младшего брата, если бы Яманай была из другого сеока.

«Все-таки сеок — одна кровь. От них пойдут не дети, а какие-нибудь звереныши дикие», — подумал он. А потом вслух сказал:

— Да и Чаных бросить нельзя. Стыдно нам было бы, как будто у Адара, умершего за новую власть, братьев нет...

Снизу докатился мягкий стук лошадиных копыт. Вскоре из-за коряжистого дерева вывернулся всадник.

— Стой! — крикнул старший Токушев и подвинулся на средину тропы. — Ты куда полетел?

— Козловать...

— Поутру козловать поехал? — голос Борлая вдруг стал хриплым. — Я — охотник старый. Ты меня такими петлями не собьешь.

— На тропе караулицы...

— Девку на тропе караулицы? Так и говори прямо.

Старший брат схватил лошадь под уздцы и строго приказал:

— Слазь.

Потом он заглянул в торока, где чернели кожаные мешки, и передразнил парня:

— Козловать. На целый год, что ли? С таким запасом...

Не сдержавшись, взмахнул кулаком и рявкнул:

— Дурь из башки выбрось.

Когда Ярманка мешковато свалился на землю, блеснула гладкая, точно лакированная, кожа женского седла. Борлай изумленно закинул голову и сразу залился безудержным хохотом. А потом долго плевался:

— Мужик тоже! Мне, говорит, вторую бабу давай. Тыфу!

По дороге к становью он беспрерывно мотал головой, то громко смеялся, то брезгливо морщился.

— На бабьем седле поехал! Сам себя осрамил.

Ярманка понуро шагал рядом с братом, машинально сорвал кедровую веточку, сунул в рот и стал пережевывать горькую хвою. Он предчувствовал, что теперь ему нельзя будет пройти по кочевью: даже бабы просят его и брезгливо отвернутся. Но ведь он и не останется дома ни на один день. С рассветом уедут братья, а следом за ними и он махнет в Каракольскую долину.

По лужайкам испуганными зайцами прыгали привидливые тени. Борлай знал, что это от дыма, взметнувшегося над аилами. Значит, близится рассвет, встали дряхлые старики, — они и утро, и вечер всем телом чуют.

Он взглянул на младшего брата, шапку его, нависшую на глаза, сдвинул на затылок, заговорил мягко:

— Один останешься за всех Токушевых. За скотом смотри, бабам нашим вози дрова.

Парень молча кивнул головой.

— За новеньkim... за Таланкеленгом поглядывай внимательнее. Заметишь что нехорошее — скачи к нам!..

Борлай намеренно провел лошадей возле самого оина.

Кто-то насмешливо гаркнул:

— Смотрите, Ярманка на бабьем седле сидел.

Оборвалась песня. Все повернулись к младшему Токушеву. Кто-то пропищал тягучим голоском:

— Баба, баба...

— Козловать, говорит, поехал, да я вернул его...

Для всех были ясны намерения парня. Разгорелся разноголосый шум. Одни, осмеивая дерзкого храбреца, плевались, другие, — на их стороне было большинство, — зло укоряли и даже грозились переломать ребра. Старики требовали изгнания его из пределов Алтая.

Но вот снова громкоголосо запел Утишка, — и круг, волнуясь, сомкнулся.

На западе уже горами пылали зубчатые вершины гор. Ночь осталась в прошлом, как сладкий сон, как неугасающее воспоминание.

Пегуха, заседланная и завьюченная, давно стояла у коновязи. Борлай, прислушиваясь к каждому шагу за тонкими стенками аила, выкурил две трубки. На верхней коре у дымового отверстия заиграл солнечный луч.

— Придется плюнуть и ехать вдвоем с братом, — ворчал он.

Но ему не хотелось оставлять Сенюша Курбаева, который накануне целый день говорил о поездке в устье Каракольской долины, где их будут учить читать мысли других, положенные на бумагу.

— Не случилось ли с ним несчастья?

— Не случилось ли с ним несчастья? Вспомнилась жизненная тропа друга юности. Тяжелая и безрадостная — топи да болота. С малых лет Сенюш пас овец у Сапога. Но два года тому назад, получив за потерю барана звонкую пощечину, плюнул в лицо хозяину и ушел. Комитет взаимопомощи отдал ему заморенную клячу, он привел ее на юпояске. У соседей ~~выпросил~~ ременные обрывки и из них сплел узду. Ни один день не проходил, чтобы он кому-нибудь из скосородичей не говорил: «Конь начал поправляться, скоро выгуляется и будет крепким, точно камень!» Поскорее выгуляется и будет проведать свою лошадь, чолку чам ходил на пастбище. Но однажды утром увидел, что конь в косы заплетал. Но однажды утром увидел, что конь лежал необычно: шея была вытянута, голова положена на колодину, словно на подушку, а ноги — на гору. Не завалился ли? Кликул своего любимца, бросился к нему со всех ног. Но в то же мгновение жгучим холдом брызнуло в лицо. Сенюш сразу ослаб и пошел разбитым шагом. На ногах лошади, теперь напоминавших сучья колодины, чернели обрывки арканов, растрапанная грива повисла на кустике волчьих ягод, на шее слиплась шерсть, облитая кровью, а на мутных и шершавых глазах ползали зеленые мухи. Через неделю дали хромого мерина из числа пригульных. Сенюш несколько ночей караулил его. А к концу месяца нашел с разорванным горлом. И на том же самом месте...

Послышались чьи-то разбитые шати. Борлай выбежал из аила и увидел друга, пошатываемого ознобом.

— Неужели седьмую?

Сенюш провел ладонью по плоскому лицу, утер глаза, спрятавшиеся за широкими скулами и разделенные пришибленным маленьким носом. Ответил надорванным голосом:

— Ие.

— Где?

— Там, в лесу...

— В сельсовет поедем...

Курбаев горько усмехнулся. Не раз он был в сельсовете, а толк какой? Кто рвет шеи лошадям — неизвестно. Баба говорит, что злой дух. Но почему же он так немилостив, если Сенюш недавно пообещал ему принести в жертву последнего барана? В одном он был уверен: через несколько дней встретит Сапога и услышит ехидное: «В работники ни к кому не поступил? Иди ко мне. Я не юбижу. Сыт будешь, хоть вшей на брюхе бей. Пешком никогда не пойдешь. Позорно алтайцу ходить пешком». И на этот раз Курбаев не вытерпит: жалящие слова его польются, как ливень с гор. Прямо в хитрые лисьи глаза бросит: «А не позор у бедняков последний кусок из горла вырывать? Барсук проклятый!»

Борлай взглянул на позеленевшее, будто старая бронза, лицо друга. Он первый раз слышал, как его единоплеменник обругал старшего в сеоке. Значит, окончательно вытряхнул из сердца уважение к этому человеку, как пыль из шубы. Не боится людской молвы. На старые обычаи, которые, точно плетями, бьют по беднякам, смело наступил ногой. Токушев почувствовал, что этот человек ближе к нему, чем родной брат.

— Волки среди нас ходят — вот в чем беда, — многозначительно сообщил ему.

А за порогом спросил:

— Ты с нами пойдешь? Через реки на моей Пегухе переедем...

Сенюш качнул поникшей головой.

ска неизменно лежала на сердце. И алтайка чуть слышно запела:

Куда ты улетел, дымок,
Унося счастье моего очага?
Куда ты убежал, ветерок,
Трепавший косу моего хозяина?

Голос ее походил на безумолчный шелест облитых багрянцем осенних листвьев горьких осин.

Не раз говорила себе, что поет эту песню последний раз, хотела освободиться от нее, как от удущивого сна, но вскоре, незаметно для себя, снова начинала петь. Отостылевшая песня камнем падала на сердце. Она почувствовала облегчение, когда на нее навалилось раздумье. Села возле аила. Шелковая кисть упала на лицо и закрыла глаза.

С юности беды табунами ходили по пятам. Несчастье не покидало ее. Отец часто колотил за непочтительность к старшим. И она грэзила тем днем, когда освободится от тяжелой отцовской руки. Она ждала, пока Борлай копил деньги, чтобы уплатить за нее жалым. Поселившись в маленьком аиле мужа, где бедность неотступно окружала очаг, она вздохнула вольготно. Но вскоре мужа оторвали от нее и увезли куда-то далеко-далеко. Ей пришлось идти с поклоном к Тыдыкову. Два года за кусок мяса и чашку молока стригла овец, носила воду, приготовляла толкан на хозяйскую семью...

— Якши? — молвила Муйна, жена Байрыма, опускаясь рядом со сношенницей.

Они заговорили о новостях.

— Чаных меньшего сына посадила на седло своего мужа, чтобы сам-то не сбежал.

— Этим не удержит, сбежит.

— Ей бы к каму Шатыю надо с'ездить...

Они долго и терпеливо искали вшей в головах. Муйна сказала, что ей надоела Чаных с бесконечными разговорами о сыне, которого она родит. Карамчи больше молчала. Задумчивость не покидала ее. Она вот так же ждала сына и всем соседям говорила, что родит мальчика. Ее радости не было конца, когда родился первенец. Но со второй луной ребенок умер. По той же

дорожке пошел второй, третий, четвертый... Из семерых задержалась одна Чечек. Дети умирали, видимо, потому, что даже летний ветер пошатывал Карамчи. Весной она питалась корнями канька и сараны, летом — пучками и ягодами, а зимой — корнями пионов, заготовленными в прошлый год. Дети родились хилые, тонкокостные... В последние годы дышалось свободнее, жизнь пошла сытнее. Карамчи почувствовала силу в руках. На лице ее появился румянец, в глазах — здоровый блеск. Теперь бы ей родить сына. Он рос бы крепким, веселым...

В долину спустился незнакомый всадник на рыжем коне. Он подворачивал к каждому аилу, останавливался и коротко сообщал какую-то новость. Сношенницы вскочили на ноги и надели шапки. Всадник остановился возле них и об'явил возвыщенно:

— Большой Человек устраивает пир для своего народа. Он женит пастуха Анытпаса Чичанова из сеока Модор и всех Мундусов и Модоров зовет к себе в гости... — Погрозил плеткой, повысил голос и, сдвинув брови, забормотал брезгливо — ...кроме ваших мужей. Они — воры. Хотели украсть большое слово у старшего в сеоке.

Удаляясь, всадник ворчал:

— Большое слово дано только одному старшему. Собаки, пытавшиеся отнять это слово, умрут.

Жены братьев Токушевых стояли неподвижно, с опущенными руками, будто мертвый стук лошадиных копыт болью отдавался в их сердцах. Наконец, взгляды безумно открытых глаз их встретились. По щекам потекли ручьи.

Они слышали, как у соседних аилов всадник говорил:

— ...всех, кроме Токушевых. Араки с собой не берите. У Большого Человека араки — озера, вина — реки, мяса — горы.

Где-то далеко трещали бабы:

— Старший прогонит их, как паршивых баранов, если они осмелятся приехать...

Карамчи подумала, что теперь соседки будут встречать ее с презрением в уголках глаз и со злорадными

улыбками. Сбылось то, что давно ожидала бедная женщина. Сапог разгневан, а аил их окружен недоброжелателями. Она не раз намеревалась сказать мужу: «Плетью волка не убьешь, а только растрявишь», да все не решалась.

«Почему у Борлая такой длинный язык? Зачем он поднял голос против старшего в сеоке? Все молчали, а он один полез на богатого и сильного».

С этой мыслью она подошла к аилю свекра. Первый раз за всю свою жизнь решила обратиться к самому Токушу. Стариk сидел у огня, лениво покуривая. Карамчи стояла у порога и с почтением гладила свои косы.

— Мудрый человек, скажи мне, что случится с моим хозяином?

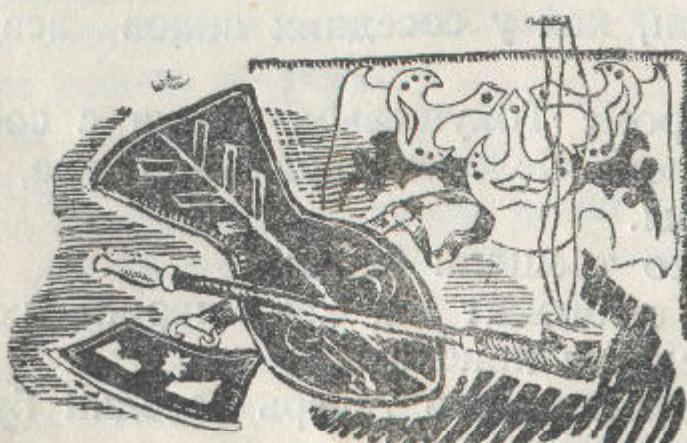
Стариk, не взглянув на сноху, покачал головой. Он вспомнил Адара, который вот также осмелился отнять у богатых большое слово, и задумчиво постучал трубкой о землю, выколачивая пепел, а потом, ни к кому не обращаясь, прошепелявил:

— Старый народ говорил: «Кто борется с морозом, тот останется без уха, кто пойдет против старшего в сеоке, тот останется без головы». Умные слова!

Карамчи отчаянно метнулась из аила, и дверь, которую она до этого поддерживала головой, с шумом захлопнулась.

Соседи чистили медные бляшки на седлах.

Долина покрывалась вечерним полумраком. На востоке скорбно хмурились горы.





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Конь часто останавливался, смотрел на изгибы убегавшей вниз тропинки и тогда ставил передние ноги на каменную ступеньку. Он спускался, как по лестнице. Туго затянутые подпруги не помогали: седло скатывалось, закрывая потником часть косматой гривы. Ярманка крепче опирался на стремена и, покачиваясь, откидывался назад. В его глазах колыхалась распростертая

далеко внизу Каракольская долина. Посредине ее большим бельмом торчала усадьба Сапога Тыдыкова. Крыша двухэтажного дома казалась облитой кровью. Окна горели, напоминая волчьи глаза в темную ночь. Дом был обнесен высокими заплотами и окружен темными бугорками аилов. Рядом с усадьбой виднелась облупившаяся колокольня кособокой церковки. Ее построил Тыдыков лет двадцать тому назад.

Над рекой легким туманом стлался дым бесчисленных костров.

Дороги и тропы теперь напоминали шумные тракты, проложенные к муравейнику. Веселые группы всадников стесшили со всех сторон к усадьбе. Кони под ними были в пене. Приятный запах едкого пота бодрил алтайцев, будто чашка теплой араки. И широкие ноздри седоков пыхали жадностью, как ноздри разгоряченных лошадей, с толстых губ падали горячие капли.

Где-то позади громко прыскали кони. Скрипели копыта, скользя по камням. Сверху, словно горячее дыхание ветра, наваливался дружный говор:

— Сказывают: будет той веселей огня, шумней весенних вод.

— Двадцать лошадей и сорок баранов отдал Большой Человек за Анытпасову невесту.

— Что за корысть Большому Человеку женить пастуха?

«В самом деле, что за барыш?» — подумал Ярманка и через минуту ответил: — «Под любой одеждой всегда что-то скрыто. У Сапога — хитрость лисья».

— Для меня одно непонятно, — продолжали разговор наверху, — невеста — Мундус и жених — тоже Мундус...

— Нет, он — Модор.

Напомнили всем известную историю. Отец Анытпasa — Чичан — жил в пастухах у здешнего зайсана, а подать должен был возить своему зайсану, который жил в низовьях Катуни. Каждая поездка отнимала полторы недели. Неподалеку от этого зайсана были становья мундусов, возивших подать свою в Каракольскую долину. Однажды зайсаны встретились и, после трех тажауров араки, решили поменяться этими людьми. Тогда

тридцатилетний зайсан Сапог сказал пятидесятилетнему старику Чичану:

— Ты теперь как бы Мундусом стал, сыном моим...

«Они все могли, — думал Ярманка. — С народом поступали, как с баранами. И сейчас норовят делать так же. — Он глубоко вздохнул. — Скоро ли им руки укоротят?»

С горы попрежнему лился тот же громкий разговор:

— У Большого Человека день и ночь в голове одно: как бы сделать, чтобы весь сеок Мундус жил счастливо?

— На каждого гостя — по лошадиной ноге...

— Говорят: молоденьких да жирных выбрали под закол...

— Мясо острее маральего... Кровь подымает, старикам дает силу двадцатилетних...

— Араки — по ведру на каждый рот...

Пощелкивали языками.

Ноздри Ярманки раздувались, точно кузнечные меха. Даже ему показалось, что леса захмелели и беспечно покачивались, а по земле так и стлался горячий запах жирного мяса.

— Такой бы той сделать с моей Яманай... чтобы всю жизнь помнить! — невольно вырвались звонкие слова, но, минуту спустя, он сказал, грустно качая головой:

— Нет, у меня не будет такого тоя. Может быть молодежь осмелится приехать ко мне? Я настреляю гору козлов. Десять... двадцать козлов.

Вдруг он порывисто выпрямился, резко покачнулся и еле удержался в седле: из леса долетел до него звонкий, как лебединый крик, голос Яманай. Несомненно, она издали заметила парня на тропе и, обрадованная встречей, зовет его в тихую падь.

Со всей силой дернулся ослабленный повод. Испуганный конь дико метнулся через буреломины. Седок едва успевал закрывать лицо широкой ладонью, второй рукой рвал паутину таежной чащи. Скорей туда, где она. Потом с головокружительной быстротой скакать вниз по долине. И Яманай — рядом... Она не отстанет. Где-нибудь в укромном месте, среди молчаливого леса, на берегу чистого, как небо, родника поставить крошеч-

ный аил. В тихий вечер пойти на гору, молодая жена будет волноваться и ждать мужа с теплой козлятиной...

Вот и распадок, а за ним — глубокая падь, откуда доносился голос, красотой превосходящий безумную трель жаворонка. Почему же не видно ее? Наверно спряталась, шалунья, за какую-нибудь корягу, чтобы неожиданно встать перед самым носом?

Ярманка осадил коня, долго ощупывал зоркими глазами грустящие деревья, лохматые выворотни.

За старым кедром мелькнула пушистая кисть. Обрадованный парень поспешил туда, но после первых же шагов остановил коня, плевался:

— Это — цветистые бороды мха.

Где-то далеко внизу вкрадчиво прозвенел тот же девичий голос. Голова Ярманки обреченно упала на грудь: такзывающе, прячась, летая с горы на гору, кричат только мертвые...

— Неужели она...

Посиневшие губы остановились, глаза на минуту застыли.

— Не может этого быть... у нее каменное здоровье...

В аил Тюлюнгуря влетел с холодным потом на лице.

Тишина ошеломила его и остро напомнила о недавних похоронах матери. Тогда вот так же уснуло все... И угли были забросаны золой, чтобы не погас очаг до возвращения старших.

Ярманка обошел вокруг покинутого жилища.

— Нет следов волокушки. Она жива!

— Поезжай к Большому Человеку: с горя выпьешь за Яманай чашку араки, — пробурчала знакомая старуха, тащившаяся на хромой коурой кляче.

Ярманка вдруг застыл, руки его опустились, словно подрубленные сучья. Подошвы ног, казалось, прикипели к земле.

Когда старуха скрылась в лесу, парень побежал вдоль поляны, отыскивая увесистый камень. Так бы и стукнул по черным старушечьим зубам, оголившимся в насмешливой улыбке.

— Старый глупец, продал девку за двадцать коней... Громом бы его расшибло!

Он разбито поковылял куда-то к реке, шепотом спрашивал:

— Почему же она не убежала? Она говорила, что любит меня. Или сердце девушки — тонкая былинка, которая клонится во все стороны? Она могла бы расспросить о тропе в долину Голубых Ветров...

Безнадежно хлопнулся на фиолетовый камень, обтесанный острыми струями бурной реки. У ног злобно ворчали седые буруны.

«Жизнь течет, как эта река, — подумал он и шумно вздохнул. — На каждом шагу камни да пороги».

Он долго сидел, спрятав голову в лохматый воротник...

Вот поднялись новые волны смутного гула. Река стала говорливей и, казалось, потекла в обратную сторону. Зазвенели казаны, устанавливаемые над кострами. Запахло горько аракой и пережженым мясом. Посыпались пьяные крики. Наконец, взвился отчаянный голос Яманай. Она звала его...

Ярманка открыл глаза, тяжко проскрежетал зубами и побрел к дремлющей лошади.

2

Едкий дым костра и бесчисленных трубок, клубясь, заполнял аил, щекотал горло, резал глаза. Яманай часто заливалась удущившим кашлем. Иногда ей казалось, что она сидит в тесном кольце костров: от того и разрокоталась буря криков, что какие-то добрые люди торопятся залить огни водой и помочь ей освободиться. По ее осунувшемуся и побледневшему лицу текли слезы, смешиваясь с обильными ручьями пота. Ей хотелось разметать все, схватить первую попавшуюся лошадь и скакать, скакать дни и ночи. В степь ли, в лес ли — все равно. Но вокруг нее так много людей, что ей даже повернуться нельзя, чтобы не потеснить кого-либо.

Кто-то осторожно снимал с нее шапку. Было нестерпимо больно, казалось хрустели волосы, ломаясь. Не муж ли это? Но она вспомнила, что увидит его только

через три дня. А пока он, затерявшийся в толпе, неизвестный ей, страшен и непонятен. Может быть ему сорок лет, хотя ей говорили, что он «молод, красив и прям, как ель в густом лесу».

Чьи-то ледяные пальцы скользили по голове невесты и, расплетая тугие черные косы, царапали, будто когти раз'яренного зверя. Нежные, как лиственничная хвоя, ресницы ее слипались.

Со взбалмошной поляны, сквозь многочисленные толпы людей и хрупкие стенки аила пробивался тошнотворный запах мяса и прохисшего супа, какой обычно выливают собакам.

Нежданые морщины на лице невесты все глубже и темнее. Вот сейчас она вырвется из холодных лап, зароет голову в горячую золу... А как хорошо бы с дымом улететь в лазоревое поднебесье, где солнце, наверное, попрежнему такое веселое и ласковое!

Под костлявыми пальцами стариков, восседавших у костра, мертвенно стонали двухструнные самодельные топшуры, каждая струна — из двух волосков конского хвоста. Голоса наемных певцов, слетевшихся, как воронье на падаль, напоминали предсмертный бычий рев:

На веселом лугу ставь аил свой.
Крепко утвердится стойбище твое.
Пусть жилье твое будет красиво,
Железный таган твой
Пусть будет крепок
И огонь твой неугасим.

«Крепко, крепко... — повторяла Яманай, покачивая головой. — Все пеплом рассыплется».

Где-то странно хрюпала лошадь под ножом. Голоса стариков отдавали таким же визгливым хрюпом:

Подобно тальнику, разветвляясь, разрастайся.
Умножайся быстрее овцы многоягнечной.
Множься больше глухаря многодетного.

Невесту передернула дрожь глубокого отвращения. Руки ее мяли обжигающую золу. Заплаканные глаза устремились в дымную завесу, отыскивая беззубые рты певцов.

А хриплые голоса крепли, точно приближающаяся буря:

Трехлетние кобылы твои
Пусть жеребятся...
Рогатый скот твой
Пусть плодится...

— Расплодится... вошь на сухой шее, — послышался ожесточенный шопот невесты, губы ее повело в сторону; в голове быстро-быстро бежали думы:

«Мое будущее — непогодливые дни, пьяный буран, отрезавший путника от всего мира. Меня сомнет не-погода, забросает снежными сугробами. Вот тебе и ровная степь, где слились взбунтовавшиеся против седых обычаев реки!»

В невестин чегедек облачили ее младшего брата. Сейчас он поведет Яманай в постылый аил, к тому, кто через три дня назовется ее мужем.

Голоса старииков стали скрежещущими:

Плечистому будь неодолима,
Против наступающего на тебя,
Будь крепка, как железо.

Яманай вмиг выпрямилась:

«Я буду крепка... уйду... в первые же три дня, когда разлетится воронье, уйду... Пусть на замок запрут меня, и то не удержат... Уйду через верх, как дым».

Ее подхватили под руки и повели в аил, о котором она думала, как о гранитном мешке. Мгновенно возросший шум восторженной толпы напомнил снежный обвал, ломающий деревья и крушащий камни. Откуда-то вынырнули парни с березками, за которые была привязана белоснежная занавеска. Невесту толкнули к распростертому полотну, — и она поднесла кулак к переносице; лучше не видеть этих раскрасневшихся людей, облизывающих свои губы в предвкушении пира.

Над аилом жениха поднялись тучи густого дыма. Кто-то сказал, что жизнь новобрачных потечет беспрозрачной ночью.

Если бы Яманай в этот миг вскинула голову и посмотрела поверх занавески, то увидела бы невысокого парня, который, надвинув шапку на глаза, упрямо пробивался навстречу ей. Она узнала бы его по шелковой

кисти, рассыпавшейся на широком лице. Но она шла, пошатываясь, и тяжелая голова ее никла. И только тогда она оторвала кулак от переносья, когда по медвежьи зарокотали голоса гостей, которые бросились куда-то в сторону и чуть было не смяли ее.

Мелькали бронзовые кулаки над головами. Взлетали клочки чьей-то шубы. Алтайцы орали, что было силы:

— Кости ломай.... Ломай...

— Рви ему жилы...

«Ни один той не обходится без драк», — подумала Яманай. — «Но... рано начали, трезвые: худо будет».

Крики стали пронзительней:

— Догоняйте... Держите его...

Послышался удаляющийся лошадиный топот:

Дальняя родственница заметила, что из-под кулака невесты текли слезы, жалостливо вздохнула:

— Видно не любо девке замужество...

Ее соседка сочувственно отозвалась:

— Сердце не обманешь: оно чуткое...

— Не зря Большой Человек столько лошадей отдал, — прошепелявила беззубая старуха. — Не зря.

— Баба рождена под мужем ходить, — смиренно проговорила пожилая женщина. — Ночь на день не перевернешь, из бабы мужика не сделаешь.

Перешагнув порог нового аила, невеста кинула в очаг ветку пахучего можжевельника, на которую она загадала. Ветка упала на горячую золу, но не загорелась.

«Правда. Он приедет... Этой ночью увезет меня», — подумала Яманай, светлой надеждой старалась успокоить себя.

На ее голову бабы опрокинули полную чашку парного молока. Усадили ее на кровать и, отгораживая занавеской, заголосили:

Пусть лицо твое

До последних дней

Умывается молоком

Пусть аил твой

Всегда цветет довольствием.

— Расцветет! — безотрадно пробормотала Яманай, уронив голову на грудь.

В ночь перед тоем жених не сомкнул глаз. Он один копал ямы для костров, укреплял казаны и рубил дрова. Сам с собой разговаривал вполголоса:

— Скоро у тебя, Анытпас, будет свой очаг, свои табуны. Большой Человек намекнул, что он сделает все, посадит тебя на твою собственную лошадь.

Деды и отцы коротали жизнь, кочуя с табунами, принадлежавшими зайсанам и баям, а вот у него, молодого сына Чичанова, скоро будет свой табун.

Неделю тому назад, когда он кочевал с табунами по ту сторону хребта, прискакал за ним посланец:

— Хозяин зовет.

Сердце парня сильно шевельнулось:

«Опять разобьет губу, как прошлый раз, когда волки задрали жеребенка, и прохрипит: «Я к самому царю ездил за лошадьми, а ты, собака бездомная, не бережешь их».

Неожиданно вспотел, когда Сапог великодушно встретил его чашкой араки. После короткого разговора о табунах, хозяин многозначительно кивнул на Шатыя и возвышенным голосом сообщил:

— Вчера кам быстрокрылой ласточкой летал на седьмое небо, к добруму богу Ульгеню. Там он услышал радостное: «Самый покорный человек на земле — Анытпас Чичанов. Ум у него светлый, как само солнце. Жените парня на первой красавице и устройте такой пир, чтобы деревья от радости затеяли игры. Дайте ему, — за послушание его, — удалых коней, пусть он сам будет богатым хозяином.

Тыдыков широко развел руками, словно хотел сказать: «Смотрите, как я богат и добр». Качнул головой:

— Я выполняю волю доброго бога. Пусть он укрепит в тебе, сын мой, железную силу и великую покорность.

Анытпас никогда не мог вспомнить, что он пролепетал в ответ. Его безусое и безбородое лицо вдруг посвежело, будто осенний лист враз налился светлой зеленью, а в косых глазах запылали огоньки глубокой благодарности и бесконечной преданности.

На рассвете он наполнил казаны водой и запалил костры. Бодрящий дым разостлся над росистой поляной. Вскоре по всей долине разлился крепкий запах мяса и жирного супа.

Каждый вечер этот запах будет наполнять его, Анытпаса Чичанова, аил. Свой очаг, теплая постель, веселая жена, встречающая мужа полным тажауrom племенной араки, уважение соседей, гости, его гости... Еще недавно все это казалось заманчивым и неосуществимым и все это придет завтра.

С рассеченных заячьих губ не сходила радостная улыбка. Ноги не чувствовали земли. Топор был легок, как былинка, но остер, словно огонь.

Чаптыган Сапогов, одетый в отцовскую шубу из китайского шелка, остановился возле жениха, важно поднял свою голову.

— Женишься? Хочешь, чтобы девушка, которую считают первой красавицей, была твоей верной женой? Ха-ха-ха.

Хохот его походил на звуки деревянной трещотки.

Анытпас выронил топор.

— Я пошутил, — успокоил его Чаптыган, снисходительно опустил голову и продолжал тоном благодетеля. — Владей, владей первой красавицей и благодаря нас с отцом. Я сейчас скажу, чтобы араку гостям принесли.

Пиршество началось, когда невесту облили молоком.

Гости с раздувающимися ноздрями, сбивая друг друга с ног, бросились к копнам мяса, от которого еще струилась теплота. Сверкнули остро наточенные ножи. Каждый спешил ухватить кусок побольше и пожирнее. Расположились на земле, с треском рвали зубами непроваренное мясо, а то, что нельзя было порвать, возле самых губ отрезали ножами. Иногда зубы ляскали о сталь. Алтайцы торопливо глотали мясо, обжигаясь. Они ножами рубили кости, разламывали зубами и так же торопливо высасывали мозг. Раскрасневшиеся щеки их лоснились жиром, на кончиках усов повисли крупные капли сала. Шум пиршства напоминал лавину мелких камней, низринувшуюся в долину.

Тюхтень раньше всех обгладал бедренную кость, с'ел

мозг и бросился за вторым куском. Широкие ноздри вздернутого носа то белели, то снова краснели. Ведь он с самой весны не видел мяса и готов бежать за ним через какие-угодно перевалы. О пастухах, которые целый год питались курутом да молоком, и говорить нечего. Они были непрочь спрятать за пазуху по увесистому куску сала.

Работники Сапога, распахнув тесовые ворота, вытащили мешки с аракой, сделанные из цельных конских кож. За ними степенно выплыли шелковые шубы. Богатые соседи — Копшолай Ойтогов и Якши Жиргалаев вели Сапога под руки. Щеки его слегка порозовели, глаза то смиленно потухали и как бы говорили о добром сердце, то вспыхивали, как глаза лисицы, настигающей зайца. Он остановился перед народом, высоко приподняв голову и поджав руки. Так он выходил к своему племени, когда был зайсаном. Обычно в этой же розовой шубе и черной барашковой шапке, напоминавшей гору. Теперь недоставало ему только увесистой бляхи.

— Сердце мое — кусок масла: заботливый пастух, как огнем, растопил его, — заговорил Сапог, точно поп с амвона. — Если бедный человек бережет хозяйские табуны, то хозяин сделает жизнь этого человека беспечной.

Он заверил, что в любую минуту готов помочь бедняку встать на ноги, обтабуниться, сказал, что завтра раздаст дойных коров самым беднейшим сородичам в безвозмездное пользование на все лето. Ну, позовет за это к себе сено косить, стога метать, дрова рубить, потом взрослого теленка возьмет — и только.

— Сама советская власть в книгах печатает, как я забочусь о своем народе.

Он выдернул из-за пазухи свернутый в трубочку свежий номер журнала. На плотной обложке стоял золотистый сноп и яркозеленый плуг, а вверху были рассыпаны красные буквы: «Спутник земледельца. Май 1925 г.». Разломил журнал как-раз на той странице, где начиналась статья агронома Н. В. Горного — «Передовой культурник Алтая», и ткнул бородой в портрет.

Кочевники вырывали журнал друг у друга.

— Он самый... только в старой шубе и круглой шапке.

— Большого Человека все признают.

Сапог, прокашлявшись, снова заговорил:

— Все. Только один человек в родных горах поднял свой собачий голосишко против меня. Он считается братом вашим по крови. Имя его — Борлай Токушев. Всем вам должно быть стыдно за него. Он обозвал меня вором... Срамил всяко...

Толпа зашумела. Все торопились подчеркнуть свою неприязнь к Токушевым. Но Тыдыков, продолжая говорить, повел бровями, — и вскоре стало так тихо, что слышны были вздохи:

— Я весь народ позвал на той. Женю любимого пастуха. Беру самую красивую девушку. И пир этот достоин ее. Я не позвал сюда только Борлая. Он об'явил себя врагом моим. Пир хороший, когда нет собак.

Сапог хотел крикнуть, чтобы гости брали чашки и откупоривали мешки, но чей-то грубый голос хлеснул, словно бичом:

— Сам ты — хитрая собака.

Многим показалось, что крикнули из ближнего аила. Несколько человек бросились туда, но там попрежнему сидели слепые старики и, закинув головы, тянули свадебные песни. Любители «править» ребра засучивали рукава и кричали: «по голосу ищите его», да никто не помнил такого грубого голоса.

— В песне эти слова встретились, — молвил Копшолай, чтобы утешить хозяина.

Сапог позеленел, покосился на него и маленькими шагками засеменил к воротам.

Вскоре он вернулся и прошел в новый аил, где, надрывая раздутие горлани, жужжали старики.

— Пир закроет, — испуганно крикнул Тюхтень и бросился к котлам; к его бороденке пристали кусочки мяса.

Алтайцы развязали широкое устье мешка. Арака хлынула переполненным истоком родника. Гости черпали чашками и, запрокинув головы, выливали в ненасытные рты, набирали в полы шуб, а некоторые,



хлопнувшись на землю, пили прямо из струи, будто воду из лесного ручейка. Тюхтень стремительно кинулся к ним. Непрожеванный кусок мяса застрял в горле. Старик закашлялся, почернел и повалился пластом.

Таланкеленг подскочил к нему, раза два стукнул кулаком по спине, но и это не помогло. Тогда он отворотил нижнюю челюсть и засунул пальцы в рот старика.

— Ишь, как жрет, жадуга! Года полтора наверно мяса не нюхал...

На пороге аила показался хозяин.

— Певцы так пели, а мы подумали... — крикнул он, а про себя с грустью отметил:

«Не поверили. Не скоро вернешь старое время, коли слепые щенки лают басом».

Взглянув вниз по долине, он заметил высокого всадника в черном костюме и серой фетровой шляпе с широкими полями, сразу узнал его.

— Хороший гость всегда во-время! — громко воскликнул Тыдыков и медленно двинулся навстречу верховому, повелевающим взглядом коснулся соседей в шелковых шубах. Копшолай Ойтогов первым подскочил к нему, почтительно и бережно взял под руку, будто нес драгоценную и хрупкую игрушку.

Гость на стройном и тонконогом вороном коне подъезжал к воротам усадьбы.

Кочевники были довольны появлением всадника. Они ждали, что после радостной встречи Сапог придет им еще один тажаур араки. Начинался самый веселый час пиршества.

Пахло разлитой аракой, дымными кострами и человеческим потом. Женщины, расположившиеся поодаль от шумных мужских толп, тихо пели:

Может ли быть что
Кудрявее зеленой березы?
Может ли быть что
Веселее сегодняшнего тоя?

Солнце клонилось к зубчатым вершинам хребта.

— Пожалуйте, большой гость, пожалуйте. Почему долго не приезжали? Я давно ждал, — говорил Сапог, пожимая руку голубоглазого человека с седенькой эспаньолкой и золотыми зубами.

Николай Валентинович Говорухин бросил повод подвернувшемуся парню и отвязал маленький чемоданчик, укутанный в старый мешок.

Хозяин пробежал прищуренными глазами по блестящему боку лошади, посмотрел — прямо ли поставлены ноги, не дрожат ли мышцы после долгого и нелегкого пути, не опустились ли уши, и заботливо осведомился:

— Глянется конь? Рысь хорошая? Может тебе арабской крови коня надо?

— Прекрасная лошадь! Ревность приличная, выносливость действительно алтайская.

— Отец его прямо из-за границы привезен, из Английского государства, мать — простой алтайской породы. Если этот не глянется — бери любого: для тебя не пожалею.

Они вошли во двор, окруженный высокими заплотами, заставленный амбарами, салями, конюшнями, и направились к белой войлочной юрте, расположенной в глубине, рядом с погребом.

— В город ездил. Потому и не мог быть у тебя, — сообщил гость, двумя пальцами отряхнул пыль с рукава, потом по-приятельски похлопал хозяина по плечу, повысил голос. — Аймачную выставку, друг, затеваем. Слышал? Готовь лошадок.

— Это можно, — скромно отозвался хозяин. — Может быть, и советская власть мне, в конце концов, похвальный лист даст, как первому культурнику.

— Мы сделаем так, что ты получишь не только похвальный лист. Будь уверен.

Говорухин нагнулся, чтобы не стукнуться о деревянную решотку над входом. За порогом остановился, взглянул сначала налево — на мужскую половину, а потом направо — на женскую. Он всегда поражался теплым уютом и строгим порядком в этой юрте. Земля

до самого очага была устлана коврами. Варшавская кровать закрыта шелковой занавеской с серебряными звездами. Возле стенок лежали мужские и женские седла, осыпанные серебром. Против входа висели стенные часы с массивным медным маятником.

— Не хотят ходить. Устали, наверно, — пожаловался хозяин, заметив, что гость интересуется часами.

Жены вскочили, точно солдаты при появлении начальства. Молодая бросила гостю маленький коврик. Старая, увидев, что муж моргнул глазом, достала откуда-то из-за кровати четверть и поставила рядом с огнем, загремела чашками. Вскоре появилось фарфоровое блюдо, полное мяса, стеклянная утка с медом и синяя сахарница с конфетами. Заворчал огонь, пожирая сухие дрова.

— Сапог Тыдыкович! — заговорил гость, пощипывая бородку и разглядывая хозяина прищуренными глазами. — Ты, видимо, очень любишь этого пастуха?

Тыдыков разливал араку, улыбался:

— Шибко хороший человек Анытпас. Таким парнишком был — скот пас, сейчас пасет. Из огня табун целым угонит. Заботливый.

— Гм! — Николай Валентинович качнул головой и перевел взгляд на костер. — Умнейший ты человек!

— А теперь отсюда попробуем, — хозяин тряхнул бутылку с коньяком.

После ужина повел гостя в дом. Они подымались по широкой лестнице, окрашенной желтой охрой. Старик не умолкал ни на минуту:

— Тут у меня экспедиция живет. Геологи. Камни собирают.

Большая комната во втором этаже была освещена висячей лампой. На беленых стенах висели черные рамы с похвальными листами.

— Только от советской власти пока нет листа, — с прискорбием напомнил хозяин.

— Этот лист тебе за моих орловцев присудили?

— Нет. За твоих я не получал. Это за тех, что из Петербурга привез.

— Ты хочешь сказать, что мои лошади недостойны призов? — обидчиво перебил гость. А в голосе его

прозвучала фраза, от которой в последние годы не раз передергивало: «Жокеи в полосатом — белое с голубым...». Чтобы отвлечься от воспоминаний, обычно разбивавших его, он спросил сухо и торопливо:

— Как ты к царю ездил?

— По железной дороге, конечно.

Сапог вспомнил, что не раз рассказывал об этом Николаю Валентиновичу и, подумав: «Видно поглянулось ему», промолвил:

— Сейчас расскажу.

Они прошли в маленькую комнатку с железной кроватью и столиком возле нее. Хозяин уселся посредине пола, начал приподнятым голосом, будто передавал героические были:

— В глубокую старину народ наш жил под китайским подданством. Сто семьдесят лет тому назад, как наши предки перешли к русским, — все двенадцать зайсанов ездили в Бийск подданство принимать. Тогда им чиновники бумагу выдали в том, что вся здешняя земля — наша собственность, зайсаны ею будут распоряжаться и никаких земельных налогов вносить в казну не обязаны. Но вскоре обман открылся: весь Алтай царь себе взял.

Тыдыков взглянул на гостя, который сидел против него на стуле.

— Теперь можно об этом говорить, а при прежней власти не позволялось, а то живо — в Петропавловскую крепость...

Он говорил на чистом русском языке. Говорухин удивлялся правильности произношения.

— Взяли назад все бумаги и сказали: «Их надо заменить настоящими государственными актами». Но актов отцам нашим не дали, а землю об'явили собственностью Кабинета. Все алтайские сеоки уполномочили меня хлопотать. Поехал я в Томск, прямо к губернатору, а его дома не оказалось. Я в тот же день в Петербург отправился. Губернатор там. Увидел меня и спрашивал: «Зачем приехал?» — О земле хлопотать. — «Нельзя тебе о земле хлопотать, я сам буду ходатайствовать». А на другой день опять увидел меня и говорит: «Самому царю тебя покажу, только ты

ничего о земле не болтай, будешь говорить о земле — на каторгу сошлю». Взял с меня слово. Когда солнце повернулось на полдень — повел меня. А дом у царя страшно большой, вот так же, как мой, на берегу реки стоит. На крыше люди каменные, все больше бабы. Голые есть. Видно царь охотник был до них.

Николай Валентинович щелкнул массивным серебряным портсигаром с нильскими лилиями и длинноволосой русалкой на верхней крышке. Сапог достал из-за голенища длинную монгольскую трубку с серебряной шейкой и мундштуком из светлозеленого нефрита.

— Прошли мы не меньше Каракольской долины. Все комнаты и комнаты... Везде народ мелкий. А царь, я думал, крупного роста, как богатырь Сартакбай. Глаз у него должен быть острый — все знать, все в человеке насквозь видеть. Губернатор завел меня в комнату. За столом сидел рыженький мужичок, тощей такой и глаз у него тупой, ровно он не спал давно: лицо человека видит, а в сердце заглянуть не умеет. Спрашивает меня: «Ты откуда приехал?» — Из Томской губернии, — говорю. — «А что, в Томской губернии море есть?»

Сапог широко развел руками, в редких усах блеснула усмешка:

— Ну, какой же он царь, если своего государства не знает? Царь по географии должен все государство знать, по карте должен знать, а он меня спрашивает. Губернатор рядом со мной стоял и сказал ему, что мы верноподданные, столько-то лет под русской рукой живем тихо-смирно. Царь больше и разговаривать не стал. После этого вздумал я губернатора обмануть. Зашел с другой стороны: подал прошение председателю Государственной Думы. Дума разбирала вопрос, но кадеты помешали — их голоса перетянули, и землю нам так и не отдали. Подати Кабинету платили мы все время.

Трубка у Сапога была длинная, похожая на змею с приподнятой головой. Она вмещала всего одну щепотку. Выкурив, алтайец снова наполнил ее.

— Жил я в Петербурге полгода, по всем улицам ходил, дома разные смотрел. И вздумал я поговорить с

военным ведомством. Захожу к ним: я, мол, скотовод, мне надо породистых жеребцов, чтобы на будущее время лошади для армии были. — «Хорошее дело», — сказали мне начальники. Пропуска разные выдали. Я две недели ходил на ипподромы и в манежи, лошадей все осматривал. Ну, опять обман вышел: жеребца мне не дали, сказали только: «Ты — хозяин некультурный, за чистокровными лошадьми ходить не умеешь, они у тебя подохнут, а мы будем жалеть их, плакать».

— Приехал я домой, взял справку о том, какой я есть скотовод, сколько у меня табунов, какие конопошни, заверил у крестьянского начальника и в Губернском управлении. И опять в Петербург. — «Ты зачем?» — спросили начальники. — «А вот привез все материалы». Посмотрели на мои бумаги и дали мне хороших жеребцов: чистокровного арабского, чистокровного английского и двух орловских. С тех пор я стал коннозаводчиком.

Говорухин покусывал русые усы, томными глазами смотрел в одну точку. Убаюкивающий голос Сапога незаметно растаял. Поблекшие стены незримо упали, как падает туман в горах, так же бесшумно и незаметно встали драпированные стены просторного кабинета. В углу пыпал камин. На малиновом кресле — забытый альбом рысистых лошадей. Тяжелый том князя Урусова — «Книга о лошади» — был раскрыт перед глазами. Вот титульный лист, покрытый изящными рукописными строчками и усеянный подписями. Николай Валентинович помнил не только каждое слово, но даже начертание букв. Тонкие губы прошептали: «Неустанному Николаю Валентиновичу Говорухину, много потрудившемуся для развития русского коневодства». А ниже — подпись самого министра землемерия...

Агроном сладко закрыл глаза. Серое поле ипподрома легло перед ним. Дорожка прикатана и разграфлена. Четыре ровные полоски. Где-то скачут разгоряченные лошади. За спиной волнуется публика. Быстро нарастает гул возбужденных голосов. Все чаще и чаще слышится: «Ураган!», «Ураган!». Да, «Ураган» — победитель, а за ним — «Витязь», «Богатырь» и серо-

яблочный «Борей»... Разве есть где-нибудь кони, которые могли бы красотой поспорить с прекрасным «Бореем»? Корпус, как струна гибкая, тонкие ноги — крылья быстролетные, косматая шея — дугой...

— А жокей в полосатом — белое с голубым, — мечтательно прошептал он.

Сапог нарочито громко кашлянул и выбил пепел из трубы. Агроном вздрогнул, часто замигал, точно внезапный яркий свет ослепил его.

— Я слушаю... слушаю...

Говорухин встал и, скрипя хромовыми сапогами, прошел по комнате, пощелкивал пальцами рук, заложенных за спину. На лбу его собирались морщины. Утомленно блеснули глаза.

— Как бы мне, Николай Валентинович, опять с военным ведомством связь установить? — спросил хозяин, не отрывая взгляда от агронома. — В Москву ехать не могу: стар стал.

— Ладно, ладно, — словно сквозь сон пробормотал Говорухин. — Ты лошадок хороших на выставку подготовь. А там дело пойдет.

Он открыл портфель и достал тот же майский номер журнала «Спутник земледельца».

— У меня есть! — гордо сообщил Тыдыков, долго смотрел на портрет. Каждая морщинка на его лице выражала довольство. Со страницы глядели такие же маленькие глазки, спрятанные глубоко.

— Когда ты, Николай Валентинович, успел меня снять?

Гость, не слушая хозяина, говорил задумчиво, будто впервые мелькнула смелая мысль:

— А после выставки мы осnuем коневодческое товарищество. Теперь любят такие названия — товарищество.

Хозяин рассказал, как он в девяностом году открыл первый на Алтае маслодельный завод.

— А церковь зачем построил? Ты же шаманист?

— Хы! — рассмеялся Сапог, мотая головой от удовольствия. — Ты сам, Николай Валентинович, знаешь, зачем я на церковь деньги убил. Чтобы архиерей не привязывался. Дразнить собаку не хотел. Надо ему Церковь, — на, построил.

— А он не окрестил тебя?

— Нет. Я попам говорил: «Крестите бедных, может им ваш бог пришлет табуны». А с меня хватит церкви.

— А камлаешь ты часто?

— Разва три-четыре в лето. Мне нельзя не камлать: я у всех на виду. Кама я не обижаю: он для народа, как пастух для баранов.

— Умнейший ты человек, Сапог Тыдыкович! — повторил Говорухин.

Они расстались далеко за полночь.

Под лунным небом летели пьяные пеони. Их не держали ни леса, ни реки, ни каменные холмы.

5.

Николай Валентинович часто повертывался с боку на бок, то старательно укутывался с головой, будто спал под открытым небом, то порывисто сбрасывал тяжелое одеяло на ноги и, задыхаясь, открывал грудь. Иногда он нарочито долго и усердно хралел, но уснуть все-таки не мог. Рука устало тянулась к портсигару и спичкам. Распаленный взгляд падал на серебристое пятно на полу. Удивительно спокойный лунный луч, несший мертвенно-бледный свет, подымал Говорухина с постели, настойчиво вел к окну с частыми переплетами тонких рам. На лужайке в сизом тумане кружились пирующие. Агроном открывал форточку и просовывал нос. В комнату врывался запах зрелых трав и сочных цветов, хвойных лесов и старых, как мир, снегов.

— Да, да. Тут будет прекрасный ипподром! — мечтательно говорил он, попыхивая толстой папирской. — Основные поставщики лучших лошадей для нашей кавалерии и, главное, для горной артиллерии... Первый конный завод восточнее Урала...

Потом он мерно шагал из угла в угол, резко размахивал правой рукой, а левой поглаживал бороду.

— Это идеальный путь! Коневодческое товарищество: Тыдыков, Говорухин и еще три-четыре алтайца... А когда пройдет сумасшествие, ну, как проходит грипп, например, тогда и акции... На них художник

тонко сочетает три цвета — белое с голубым и зеленое. Зеленое — это вот такие камни, как Сапог....

Он снова подходил к окну и жадно дышал свежим воздухом.

— Мы выведем прекрасную породу лошадей, которые по выносливости превзойдут знаменитых орловцев и по резвости не уступят им. Лучшего материала в Сибири не найти. Чего стоят, каким-то чудом сохранившиеся, арабцы...

Утро застало его разгуливающим по комнате в одном нижнем белье. Поляна перед домом кипела: яркие четедеки то вспыхивали, то снова терялись среди желтых шуб. Шелковые шапки напоминали богатейший ковер цветов. Пастухи гнали во двор стадо коров.

— Ну и старикашка! Это, действительно, народное празднество!

В голове Говорухина опять прозвучала та же мучительная фраза: «Жокеи... белое с голубым...».

— Белое с голубым — основной цвет Алтая, — сказал сердитым голосом, взглянул на далекий хребет на юге, на белые вершины и задержал глаза на светло-голубой, успокаивающей бездне неба.

В сенях послышались чьи-то несмелые шаги. Агроном подумал:

«Хозяин идет, боится потревожить мой сон».

Он слегка повернулся и увидел на пороге сухоплечего алтайца в рваной шубенке и в овчинной шапке без опушки.

«По какому-то важному делу», — решил он, подошел к кочевнику и строго спросил:

— Что тебе нужно?

— Я... работать лучше надо. Земля надо... как сказать не знает... надо, надо... пахать.

Чумар сосредоточенно тер лоб ладонью. Русские слова плохо держались в его памяти.

— Ну и паш. Кто же тебе мешает? — пробормотал агроном и прошелся по комнате.

— Отец говорил: «Не надо земля пахать...». Я ушел, оставил отец. Русским работал. Свой избушкам рубил, — продолжал Камзаев. — Книжкам доставал. Буква учил...

— А ко мне зачем пожаловал? — спросил Говорухин, остановился против алтайца и окинул его замораживающим взглядом. — Говори короче. У меня нет времени.

Дверь отворилась и у порога встал Сапог в широкой шубе, крытой фиолетовым шелком и опущенной соболем, косо взглянул на посетителя и заговорил с ним на родном языке. Агроном тонкими губами мял папироску.

— Говорит, что пришел спросить ученого человека, как сеять пшеницу в нашем месте, — сообщил Сапог, содрогаясь от брызнувшего смеха.

Николай Валентинович рассмеялся, закинув голову. Прошел по комнате, насвистывая что-то веселое.

— Дикие люди начинали земледелие с ячменя. Ячмень — первый культивируемый злак, — вслух подумал он.

Морщинки вокруг глаз Чумара сделались еще глубже, взгляд задумчивее и прискорбнее. Агроном отталкивающе посмотрел в его глаза и заговорил небрежно, будто с надоедливым и противным ребенком:

— Долина расположена на высоте девятисот метров над уровнем моря. Среднегодовая температура низкая. Посевы невозможны по причине короткого вегетационного периода. При наличии возможности, такой культурный хозяин, как Сапог Тыдыкович не преминул бы заняться земледелием.

Чумар опять провел ладонью по лбу. На губах его мелькнула чуть заметная улыбка, выражавшая глубокое сожаление.

— Плохо понимал, — печально проговорил он. — Книжкам учить много надо...

Сапог справился о здоровье гостя и поторопил:

— Мясо сварилось, чай вскипел... А я пошел раздавать коров.

Узнав, в чем дело, агроном удивленно посмотрел в глубоко спрятанные глаза хозяина, сказав жестко, с укором:

— Щедрость твоя на этот раз мне кажется чрезмерной.

— Щедрость! Нет, я считать умею, — в тон ему уро-

нил Сапог. — Мало ты, Николай Валентинович, с народом жил. А я вырос с **ними** и знаю, когда какое слово сказать им... Они все **ходят** под моими руками.

В открытую форточку влетела новая песня, ее пели пьяные гости у жилища Анытпаса.

Аил твой
Серебром
Пусть оденется,
Огнем золота
Пусть осветится.





ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Четыре всадника остановились на мягкой лужайке, которая с двух сторон обрезана шумными реками и примыкает к четырехугольной горе, покрытой медвежьими шкурами хвойного леса. Они суетливо развязывали лошадей, взяли арканы, топоры и отправились верхами в лиственничник. Двое напористо рубили прямоствольные молодые деревья с крепкими раз-

вилками, подхватывали волосяными арканами и, закрепляя концы их под стременами и седлом, волокли сутунки к брошенным внизу ѿюкам. Двоє пороли бурую кору на комлистых деревьях. Трава успела вымахать по уши роſлому человеку, осыпалась белоснежные зонты борщевника, и кора с лиственниц уже не снималась, точно шуба с плеч, как в начале лета, ее с трудом отдирали острями топоров.

— Не особо хорошие аилы будут. Ну, да нам ладно, — сказал высокий бритый человек. Он поплевал на сухие ладони и снова взмахнул топором.

Борлай умильно взглянул на него и заговорил:

— Будто ты, Филипп Иванович, сам в аиле родился: все знаешь.

Теплый внутренний трепет вновь завладел им. То, что этот человек, приехавший из города, не гнушался им, пил чегень из деревянных чашек, первым вставал в круг, когда затевался он, грудным голосом пел старые и новые алтайские песни и не хуже любого алтайца снимал кору с лиственниц — сближало с ним. Борлай ясно представил себе этого человека родившимся в аиле, гревшим у костра босые ноги, подымавшимся на гору за кислыми и сочными стеблями ревеня, и уверенно сказал:

— Ты, как нашей кости человек... Как брат.

— Все бедные на земле — братья. Русские, киргизы, татары, алтайцы — все.

Алтаец одеревянел с занесенным над лиственницей топором, неожиданно округлившимися глазами недоуменно ощупал лицо учителя.

— Да, да, — братья. И хозяева земли теперь — они.

Вечером, наскоро одевая корой круглый остов первого аила, Борлай все это повторил своему брату, Сенюшу Кубаеву, и тем кочевникам, которые только-что расседлали лошадей. Все,бросав работу, в упор смотрели на него, будто хотели спросить — в своем ли он уме, ведь этак можно сказать, что кедр, береза и осина — одно и то же.

— А у тебя синяки от русских братьев давно за jakiли?

Старший Токушев задумчиво опустил чуть прищу-

ренные глаза, грозно пошевелил бровями, точно у него болел лоб, но вскоре с уверенностью поднял полегчавшую голову и сказал тоном знатока:

— Не все, а есть братья.

Привязав лошадей, алтайцы шли разыскивать учителя. Подавали ему тоненькие палочки, на которых когда-то были зарубки, рубленные самим Суртаевым.

— Все зарубки срезал — стал кочевать сюда.

— Правильно. Завтра начинаем. Располагайся, товарищ. Помогай ставить аилы.

Филипп Иванович всех угождал папиросами.

Аргачи Чоманов, хромой на правую ногу и черный, как обгорелый кедровый пень, приехал в сумерки, на его палочке не была тронута ни одна зарубка.

— Большой Человек сказал, что пошлет меня во время.

— Кого это ты называешь Большими Человеком?

Парень попятился, удивленно оглянулся на единоплеменников, как бы спрашивая: разве можно не знать, что в сеоке Мундус один Большой Человек — Тыдыков?

— Сапог, хочешь сказать? Я больше его: смотри.

Суртаев, шутливо улыбаясь, выпрямился, взял палочку, слетка погрозил ею и строго сказал:

— Слова Сапога — не закон. Я вам говорил: «по одной зарубке в день срезать». Это, товарищ, нужно было выполнить.

— А Большой Человек говорил...

— Забудем, что говорил Сапог, — оборвал учитель, голос его вдруг зазвучал ласково, глаза засияли дружелюбно. — Будем делать то, что я говорю.

Когда Байрым, взявшиесь развести костер, зашебарчал привезенными с собою углями, Филипп Иванович созвал в аил всех курсантов.

— На своих углях разводит огонь. Ладно ли это? Угли его, а жить все будем здесь.

— Без углей нельзя... умрет кто-нибудь, — напомнил Сенюш Курбаев заповедь предков.

— Нет, давайте лучше без углей, они не имеют никакой силы.

— Ты скажешь, что ни злых, ни добрых духов нет? — задиристо крикнул Аргачи.

— Да, ни злых, ни добрых, — не меняя тона, отрезал Суртаев.

— А кто камни бросает сверху?

— Рассказывают, что находили серебряные подковы: у Ульгения конь расковался, они и упали, — несмело поддержал Сенюш.

Филипп Иванович рассказал о вихрях и смерчах, а потом, сдвинув брови, бросил острый взгляд в глаза Аргачи, холодно спросил:

— Значит, ты не веришь мне?

Парень не выдержал продолжительного взгляда, побыччи опустил голову и надулся.

«Сейчас же уломать, обязательно. Он приехал с байским багажем. Не уломаю с первого дня — будет труднее», — подумал Суртаев, сморщил лоб. — «Чорт меня толкнул связаться с ним».

Он положил руку на крутое плечо упрямствующего хромца и заговорил родственно, мягко:

— Я — человек неплохой, не сердитый и все знаю. Ты — сирота, я тебе буду вместо отца. У тебя отец-то давно умер?

— Не знаю, — неохотно пробурчал тот, не подымая головы.

«Ничего, переломится», — утешал себя Суртаев.

Всю ночь он не мог уснуть. Утром, когда на первом общем собрании выбирали самоуправление, с нарочитой важностью сказал, что надо послать человека в Агаш с письмом, которое полетит в город по проволоке, и сосредоточенно уставился в глаза хромого пастуха, повышая голос:

— Поручим это дело, товарищи, Аргачи. Он — парень молодой и расторопный.

Тот почувствовал на себе то завистливые, то недоверчивые взгляды алтайцев, резко выпрямился, будто намеревался встать и броситься из аила, но как бы оледенел. Потом слегка испуганными глазами посмотрел на знакомых, мысленно спрашивая: «Это что же такое? Неужели правда?» Еще сегодня утром он ожидал, что во время сборища, на котором намеревался боднуть этого гладкоголового русского, на голову его, Аргачи Чоманова, камнями обрушатся крики. Он гото-

вился не столько к защите, сколько к нападению и припас злые слова. И вдруг такой оборот! Он оказался в положении охотника, у которого, при броске зверя, кто-то вырвал ружье.

Филипп Иванович гладил свою давно небритую щеку, говорил тихо, душевно:

— Езжай, друг, прямо по трактовой дороге, в который дом проволока ныряет, туда и заходи. Оттуда привезешь посылку, маленькую такую...

Достал из распухшего кожаного кошелька десяток заранее отсчитанных рублевых бумажек, хрустящих, как пересушенная звериная шкурка, и вместе с телеграммой и запиской подал парню:

— Вот тебе деньги и письмо. С'езди, пожалуйста.

Пробежал глазами по лицам алтайцев, сидевших вокруг очага:

— Вы ему доверяете?

Долгое молчание, утомительное. Один Чумар, потирая лоб ладонью, сказал:

— Пусть с'ездит: себя покажет.

Парень мельком взглянул на протянутые ему бумажки, но не взял их. На густо покрасневшем лице вздулись тяжкие капли пота. Не ошибся ли Суртаев? Наверное, он хотел подать деньги кому-нибудь другому? Аргачи не купец, наезжавший к хозяину, не многогатунный бай, чтобы иметь целую горсть денег, а простой пастух, руки которого никогда не прикасалась к таким солнечным бумажкам.

— Бери, друг, и поторопись — народ будет ждать тебя.

Наконец, парень схватил деньги, точно раскаленное железо, на секунду сжал в руке до хруста, а потом выронил к себе на колени. Он дышал тяжело, словно пробежал добрый десяток километров. Достал кожаный мешочек с табаком, сунул туда бумажки и спрятал кисет за голенище. Все видели, как дрожали его толстые пальцы.

Впервые в жизни с быстротою вихря вскочил с раскаленной земли и, ни на кого не глядя, выпорхнул из аила.

Все посмотрели ему вслед. Суртаев сказал:

— За живое парня взяло.

Аргачи заседлал беспокойно топтавшегося коня, думал вслух:

— Я полечу быстрее ласточки. И ты, синий ветер-удалец, не догонишь меня. Ты зря не гоняйся за мной, а расскажи моим друзьям-пастухам редкую новость и подконец напомни им, что скакать в село с таким письмом, которое незримо полетит в город, — это не коров пасти. Никому не доверил начальник чудесного письма, а только мне...

Часа три спустя, он ехал по тракту, вздымая тучи удущливой пыли. Слева пьяно пела густоголосая проволока. Не позднее вечера по ней полетит письмо, только песня тогда будет приподнятой, как шум весенних вод.

«Деньги дал — доверяет», — думал парень. — «А кто скажет — сколько денег? Русские могут обмануть, возьмут себе больше»...

Он почувствовал стыд перед самим собою.

— Буду учиться — узнаю, в какой бумажке сколько силы, на какую можно купить пять коров, а на какую — одного тощего барана...

Впервые подумал, что ученье — не бесплодное занятие.

Если бы умел читать, то узнал бы, о чем говорится в таком важном письме, которое полетит незримо.

— А что я скажу хозяину?

Лицо шохолодело до самых ушей, по спине покатилась ледяная дробь. В руках заскрипели ременные поводья, звякнули удила, и лошадь остановилась с задранной головой и широко раскрытым ртом, с мокрых губ ее дождем падала горячая слюна.

— Рассердится Большой Человек, на глаза к себе не пустит. Русский начальник осенью уедет, а я куда подамся? Можно бы на промысел, но кто даст ружье, провиант, коня?

Он облизал шелушащиеся толстые губы, вскинул крутые брови, дернул за правый повод. Лошадь сердито заплясала, поворачиваясь, и, снова почувствовав ослабленные поводья, махнула в домашнюю сторону.

— Он скажет, — сколько у меня денег.

Вечером у костра Борлай брил голову Суртаева. Ка-
залось, что он не мыльную пену с волосами соскабли-
вал, а сдирал кожу: медно-красный череп блестел.

— Наш человек!..

— Алтай человек, Филипп Иванович! — восклицали алтайцы.

Суртаев испугался, когда нож, будто шашка, блеснул возле левого глаза.

— Не надо... Бороду — я сам, бритвой.

После ужина он разостлал в глубине аила белый войлок, бросил в изголовье маленькую подушечку в засаленной серой наволочке, сдернул сапоги и скинул гимнастерку.

— Пусть тело отдохнет.

Возле него ложились алтайцы, подгибали руки под головы и засыпали. Они лежали теснее мостовин на шатком мосту через таежную речку. По другую сторону очага, на той половине, которая в обычных аилах считается женской, прикрывшись шубой, выпятив к огню сухую грудь с опаленными волосами, посвистывал широким утиным носом Байрым. За его спиной гордо торчали одинокие стебли немятой травы. Человек пять, которым нехватило места на мужской половине, дремали, сидя у порога.

На рассвете, когда сон особенно сладок и заманчив, в полуоткрытом чемодане нахально задребезжал будильник, напоминая далекий хохот шаманского бубна и звон побрякушек на лоскутной ризе. Филипп Иванович не успел открыть глаз, а удивленные курсанты уже вскочили, готовые на головах унести аил. Сгрудились к двери. Кому-то наступили на ногу, кому-то отдали руку...

— Это звонит машинка. Будит нас. Вот она.

Суртаев поднял над головой серебристую коробочку.

— Они время меряют, как человек долину, — заговорил он. — Сказывают — когда солнце встает, когда день умирает...

— А рога какие у машинки!

— Живая... Сердце бьется.... Ой, ой!

Борлай с важностью бывалого загудел приятным басом:

— Я в городе, — далеко-далеко, два года ехать до туда, — видел живые дома. Красные и длинные такие. Люди зайдут, а дом как загудит... Орет, а сам бежит... В глазах зелено...

На лице Филиппа Ивановича просияла признательность:

«Поможет мне больше, чем я ожидал от него!»

К полудню разговоры о часах вдруг оборвались. Тогда кто-то вспомнил, что один из Токушевых ночевал по правую сторону очага.

— Где у нас баба? Чай варит?

Байрым с выпученными глазами и сжатыми кулаками выскоцил на залитую солнцем лужайку.

— Кто сказал: «баба»? Модоры, вонючие барсуки? Они, а?

Задиристо гаркнул Сенюш:

— Они, со времен дедов косоротые...

В тон ему ответили:

— А у Мундусов глаза лягушечьи... Думали, слепошарые, что барабана — в котел, а очнулась старая жаба. Тыфу!

— Вшивики. На гнилом теле вши, что быки.

— У вас блохи по верблюду...

— Мундусы, мундусы — тысяча дураков, — молодой парень повторял всем известную дразнилку. — От сбираща быков телят не будет; сбираще мундусов народа не составляет.

Его перебили:

— Модор, как бодливая корова; как собака, попусту лающая; как лягающаяся старая кляча; как медведь кровожадный...

Модоры вскочили, засучивая рукава. Против них встали стеной мундусы, готовые к нападению.

Неистовый шум заставил Суртаева бросить плакаты, которые он развешивал в большом аиле. Он выбежал на лужайку, сверкнув ледяными глазами.

— Замолчите, товарищи. Успокойтесь. Здесь нет ни модоров, ни мундусов. Забудьте о сеоках.

Когда алтайцы, продолжая коситься на людей другого рода и сторонясь от них, как от зачумленных, шумя широкими шубами, хлопнулись на землю, Суртаев заговорил твердо:

— Там, на месте кочевий, у вас были сеоки, деления на кости, на различные роды. Придя сюда, вы отказались от того, что было, от прошлого. Вы составили как бы новое племя. Многие из вас спрашивали меня — нельзя ли им вступить в партию. А партия — это племя, у которого есть свои старшии, руководители, отцы, так сказать...

Аргачи расседлал лошадь и, прихрамывая больше, чем всегда, боком подвинулся к кружку, сел за спиной Суртаева. Филипп Иванович оборвал беседу, живо повернулся к нему и в упор посмотрел немигающими глазами:

— Ты зачем ездил к Сапогу?

— Я не ездил... Я письмо возил... И вот...

Парень покраснел и подал посылку, зашитую в белое полотно.

— Уговоримся так: «Больше мы врать друг другу не будем», — настаивал Суртаев, ударяя ладонью по своей ноге.—Ты был у бая. Я это знаю.

Аргачи молча покусывал губы, смотрел на свои острые коленки.

— Ты уехал, подпоясанный арканом. Это все помнят. Тыдыков купил тебя за синюю опояску, которая сейчас на тебе...

Учитель снова поднял глаза на слушателей.

— Мы с вами прокладываем тропу к хорошей жизни, какой еще не было на земле. Вы, бедняки и пастухи, теперь — хозяева всему. Вы, а не Сапог. Он пока еще хозяин своих табунов, но не пастухов, не сеока. Скажите, чтобы он стал делать с табунами, если бы завтра все пастухи ушли от него?

— Кони разбрелись бы по горам, а потом одичали бы. Волки подавили бы которых, — сказал Байрым.

— А те пастухи что делать стали бы? Им осталось бы одно — с голоду умирать.

— У советской власти, которая вам — мать родная, работы хватит для всех...

Суртаев говорил долго и дельно, упоминал о коммунах.

Вечером Борлай подсел к Аргачи и указал на часы.

Пастух до полночи не сводил глаз с блестящего циферблата, сам себе говорил о часовых стрелках:

— Большая кругом бегает, будто конь на приколе, а эта шагом идет, как жеребая кобыла.

Дождавшись, когда Суртаев захлопнул записную книжку, Аргачи спросил его:

— Ты, видно, все знаешь? — И несмело погладил крутые бока будильника.

— Все знаю.

— День пройдет, два пройдет, какая погода будет?

— Дождь. Надолго заненастьит, — также твердо сказал Филипп Иванович, вспомнив показание андроида.

— А я думаю, шапку снимешь — коса вспыхнет от солнца, — сказал пастух и украдкой бросил в глаза учителя испытующий взор. — Машинка скажет, когда солнце пробудится?

— Скажет: рога эти будут вот так.

Аргачи поставил будильник перед собой, не отрывая взгляда от стекла, горевшего в бурных лучах костра.ных лучах костра.

2

Филипп Иванович сидел у огня и перелистывал хрустящие страницы, покрытые густой вязью прямых строчек. Останавливался на ранних записях:

«16 июля. В минувшую ночь Аргачи будил меня раз десять, все спрашивал: «Что машинка говорит?» На лужайку выбегал по звездам проверить и, видимо, решил, что часы правильно время показывают. Один в аиле оставшись — варить обед, он, как сам мне сознался, крышку отворотил и, внутрь будильника заглянув, увидел медные зубы, как бы пережевывавшие что-то. Стал их прутиком дразнить, пока не остановил. Мне пришлось целый вечер провозиться с часами. Все-таки направил. Обрадовались. Очень удивились, что я сам часы, по их мнению, вылечил.

«18 июля. Мои предсказания оправдались: второй день льет дождь. Аргачи долго молчал, а под вечер

спросил: «Посмотри на машинку, скоро ли солнечные дни придут?»

«Заниматься приходится в аиле. От трубок — тучи дыма. С рассвета до полночи разговариваю. Один. И грамота, и политпросвещение — все на мне. К уроку подготовиться не дают: по пятам ходят и выспрашивают о том, о сем. Хорошо, что Чумар приехал, все-таки поможет грамоте учить.

«21 июля. Байрым, которого выбрали председателем санкомиссии, каждое утро сам убирает в аилах. Спросил: «Почему не назначаешь дежурных?» — Он ответил: «Все на памяти не могу удержать». Посоветовал ему составить список. Целый вечер потел мужик. Вместо имени ученика писал тавро, которым лошадей пятнают. Так велось у них: надо расписаться на бумаге — тавро ставит.

«3 августа. Дожди прошли. Как обрубило их: сразу ясная да теплая погода. Сегодня до самого вечера занимались под открытым небом. Вразвалочку вышли мои ученики и лениво на полянку попадали. Я заметил, что многим занятия надоели и казались бесконечными, как зимняя ночь. Правда, сегодня во время урока не искали вшей, но все-таки было много зевающих и потягивающихся. Человека четыре смотрели на меня так, словно они делали мне большое одолжение, а в глазах их было написано: «Зачем ты нас держишь? Араковать когда мы будем? Лето уходит». Чумар все время щупал свой лоб, как будто у него голова раскалывалась от боли. Устали. Даже Борлай то-и-дело трубкой под носом чесал. Видно, что он непрочно домой с'ездить, араки поглотать, но он чувствовал, что ему неудобно говорить со мной об этом, ведь он — председатель самоуправления. Понимает, что на нем тоже ответственность лежит. Это — показатель роста. И это меня радует.

«Со вторым уроком пошли на реку, камешки мелкие выбрали. Стал я разъяснять лозунг «лицом к деревне». На кооперации внимание заострил. На бережке из камней рисуночек вывожу, а сам говорю. Вот, дескать, раньше купцы к вам приезжали, вы их дружками называли, верили им. Брали они у вас скот задарма. Да-

дут трехкопеечное зеркальце и корову берут... Теленка покупали и вас же ростить заставляли, а через год угоняли таким быком. А теперь, говорю, советская власть у вас строит кооперацию. И все им про кооперацию, как на ладонь, выложил. Подучитесь, говорю, сами станете в кооперации работать. Очень понравилась им эта беседа. Просто все и понятно. Разговоры пошли — без конца.

«5 августа. Аргачи, как видно, сломился. От меня — ни шагу. С расспросами надоел.

«8 августа. Сегодня вел беседу о монархии. Ученики куда-то в сторону смотрели и на вопросы долго не отвечали. Под конец урока понял, что стыдно им сидеть, как воды в рот набрав, охота спросить меня, а о чем — не могут придумать. Борлай начал несмело так: «А в Алтае монахов много было?» Смешно и горько. Давно ли я думал, что при моем беспокойном характере алтайцы через три месяца будут знать больше, чем я сам знаю. А теперь я увидел, что многое из сказанного мною отскочило от них, как горох от стены. В этом не они, а я виноват: непонятно вел беседы. Стал я о монахах говорить. С монархией связал. Царь, говорю, был самым большим баев. Около Телецкого озера он всю Чулышманскую долину подарил монахам, чтобы они алтайцев прижимали. Монастырь с каждого алтайского аила за право постоя на земле брал по два рубля в год, по 20 копеек за скотину, а за сенокос — половину сена. Круглый год алтайцы на монахов работали. Рабочие царя прогнали, алтайцы — монахов. Теперь, говорю, вам надо бывших зайсанов и баев-феодалов поприжать, землю разделить. Стал я им тут опять говорить о партии. Глаза засверкали любознательностью. Поднялись даже те, которые до этого спали, растигнувшись на земле. Чумар взял слово. О партизанах рассказал, партийным себя назвал. Борлай вспомнил старшего брата, за советскую власть голову сложившего. Тут Байрым на ноги вскочил и, распалившись, замахал кулаками. Я, говорит, за место Адара хочу быть. За советскую власть, дескать, положу голову.

«12 августа. Многие о доме тоскуют. Вчера в сумер-

ки семь человек лошадей своих поближе подвели, а ночью ускакали. Утром явились пьянешины. Хорошо, что вернулись. Лето, дескать, уходит и араки скоро не будет. С собой привезли по полному тажауру. А сегодня двое убегут: по глазам вижу, кто собирается. Борлай хмурится: его тоже домой тянет, но крепится мужик. Славный он парень. Люблю таких. Они будут надежной опорой партии в алтайских урочищах.

«13 августа. Трое уехали и не вернулись. Я хотел за ними послать Борлай, но он сказал: «Не найти их, они аракуют». Боюсь, как бы еще некоторые не убежали.

«15 августа. В прошедшие дни не было ни одной свободной минуты. Беседовал чуть ли не с каждым курсантом наедине. Хотелось удержать всех. Это было нелегко. Даже Борлай собрался домой: «Я, — говорит, — только на два дня...». Едва уговорил его. А те трое, видимо, решили не возвращаться.

«24 августа. Только сейчас можно сказать, что курсы после дезертирского настроения стали входить в колею. Об араковании ученики мои не поминают. Мне с трудом удалось повысить интерес к учебе. Сегодня кто-то упомянул о сверхестественной силе. Я показал магнит: «Вот это подкова, люди сделали, а посмотрите, какая в ней сила». Долго рассматривали, лизали, зубами пробовали. Возвращая магнит, Аргачи усмехнулся: «Тут самый сильный дух живет!» По глазам его было видно, что он смеялся над своим недавним прошлым, когда против меня шел и, по байскому наущению, курсы хотел разбодать.

«Я об'явил ученикам, что через месяц поедем в село, на выставку. Очень обрадовались.

«25 августа. Могу со всей ответственностью заявить, что алтайцы любознательнее русских и упорства у них больше. К тому же, они доверчивы.

«Можно сказать, со всеми курсантами у меня дружеские отношения постепенно установились: им нравится, что я живу в одном с ними аиле, общую трубку курю и т. д.

Курсы думаю продлить, хотя бы на полмесяца».

Перевернув последнюю испанную страницу, Суртаев решил сделать очередную запись. Писал долго. Вре-

мя от времени останавливался, до хруста стискивал зубами карандаш, смотрел на пылающие поленья и с прежним рвением набрасывался на бумагу.

3

Осторожно перешагнув высокий порог, словно входя в незнакомое жилье во время отсутствия хозяев, Сапог смиренно молвил:

— Якши?! — Заискивающе посмотрел на Суртаева глубоко спрятавшимися глазами. — Здравствуй, товарищ!

Зашумели шубы. Забыв обо всем, вскочили мундуры, будто распрямился молодой лес после лихого налета ветровала. Разноголосый переклик — торопливые ответы на приветствие... Борлай вскочил, не отдав себе отчета, но в тот же миг, взглянувшись в лицо старика, камнем хлопнулся рядом с учителем, зашелестел газетой, по лицу пошли тени, щетинились упавшие на глаза густые брови. Суртаев с холодным укором посмотрел на курсантов. Они испытующе переглядывались, как будто спрашивали: «Кто первый вскочил и своей безрассудностью увлек меня?» Виновато посматривали на насупившегося руководителя и садились вокруг очага.

— Новости есть у мудрого человека? — спросил Сапог, голос его — теплый мед.

Он подсел к коммунисту, дарственным жестом предложил раскуренную монгольскую трубку, обвитую серебряными поясками, но встретил холодный и отталкивающий взгляд.

— Нет новостей, — сквозь зубы пробормотал Суртаев; трубку как бы не заметил.

Кто-то учтиво спросил:

— А у Большого Человека новости какие?

— Новости — в газетах, — глухо отозвался Сапог, посматривая то на одного, то на другого. — Я газеты давно не читал. Глаза затупились. Молодой народ читает, но из-за гордости своей не хочет сказать мне старику.

Минутное молчание было тяжким. Треск сосновых

сучьев в костре и шелест измятой газеты в руках Суртаева раздражал; Сапог подвинулся к почетному месту и, с достоинством подняв голову, в упор бросил:

— Говорят, скоро напечатают книги на нашем языке? Не написано про это?

Он повторил полуза забытое повествование:

«Давно-давно у народа нашего были большие книги, мудрые, как солнце. Зайсаны хранили их в кожаных сумах с золотыми замками. Однажды кочевали наши предки в широкую долину. В те дни прошли дожди, вздулись сердитые реки, пересекшие путь. Вода залилась на спины лошадям, хлынула в сумы. Намокли книги, слиплись листы. Старики повесили хранилища мудрости на осину, чтобы жгучее солнце выпило воду из мокрых листов, но прибежала белая корова и проглотила книги».

И закончил поучительным тоном:

— Теперь делают новые книги для алтайского народа. Хорошо, если бы мудрость столетий запечатлели в них. Царь держал народ в темноте, теперь — свобода, народ надо учить.

Филипп Иванович усмехнулся, хотел сказать, что «неграмотный пастух для бая — клад, а грамотный — смерть», но промолчал.

Сапог заговорил сладким голосом:

— Умный алтайец живет в заботах о детях. Мое сердце любовью горит, когда я вижу народ свой за книгой.

Кто-то поднес ему чашку араки.

— Заботы о вас ни днем, ни ночью не покидали меня. Мои пастухи пригнали вам пять быков. Ешьте.

Суртаев отшвырнул от себя газету, схватился за карман.

— Мы тебе заплатим.

Перед его лицом поднялась простертая ладонь, точно кнут укротителя.

— Это — мой скромный подарок советской власти.

Филипп Иванович побелел, вскочил и затопал ногами:

— Советская власть в байских подарках не нуждается. Вон отсюда, волчья морда. Вон!

Одновременно с Сапогом, поднявшимся с важной медлительностью, снова вскочило несколько человек.

— Якши болзын! — спокойно произнес гость. — До свиданья, товарищ!

В дверях вполголоса, но многозначительно напомнил пословицу:

— Задравши голову, тотчас споткнешься.

Заметив Аргачи, прятавшегося за спины товарищей, взглядом позвал его за собой. Парень нехотя поднялся и воровато юркнул в дверь.

— Отец твой был умнейший человек, — начал Сапог. — Умирая, просил меня заботиться о сыне. У тебя отцовская голова, золотая. Уши твои жаждут доброго слова, которое скажут старики.

Аргачи долго не мог поднять глаз на недавнего своего хозяина. Тыдыков сунул хрустящие бумажки в его потную руку и важно повернулся. Алтайцы в истрапанных шубенках подвели ему заседланного коня, заботливо подхватили под руки, помогли сесть в седло.

Суртаев крикнул ему вслед:

— Чтоб больше сюда ни ногой... Слышишь, ни ногой!

Лицо Аргачи побурело, взгляд застыл на руке с деньгами.

«А что же раньше-то, когда я голэдными зубами щелкал да табуны его пас, у него вместо сердца кедровая шишка была, что ли?»

Вдруг сжатые в комок бумажки как бы ожги ладонь, пальцы, дрогнув, распрямились, деньги упали на землю.

Аил раскальвался от насмешливого хохота модорэв. Кто-то язвительно нараспев тянул:

— У вас, мундусы, не головы на плечах, а дыроватые шапки: сколько добра ни клади, все ветром унесет.

— Перед баэм вскочили, языки выпялив.

Аргачи растерянно смотрел то на смятые деньги, то на учителя.

Сапог, удаляясь, ехал шагом, приподняв голову, кулаки его были уткнуты в бедра. За ним следовали прислужники.

Упали первые заморозки.

По утрам сухая и выцветшая трава, осыпанная инеем, походила на старушечьи волосы. Белыми шапками пушистых снегов накрылись макушки гор. Утрами седела хвоя лиственниц, а днем, когда подымалось по осеннему грустно-ласковое солнце, будто прощавшееся с миром, желтел нежный пух столетних деревьев, тронутых морозом.

На рассвете Филипп Иванович, громко покрякивая, подергивая голыми плечами, бежал к реке, за спиной его длинным шарфом болталось расшитое красными и черными нитками полотенце, в желтой коробочке гремел кусочек мыла. Позади хлюпали чьи-то большие сапоги, одетые на босую ногу.

— Опять этот хромец... Подумать ни о чем не даст.

Лицо Суртаева высохло, нос застрился, скулы стали особенно заметными, глаза ввалились.

У реки он прыгнул на осклизшую каменную булку, ноги скользнули и он, упав на спину, покатился к воде. Чьи-то руки схватили его подмышки.

— Не надо в водуходить, товарищ Суртаев. В воду пойдешь — хворать будешь.

Оглянувшись, Суртаев увидел улыбающееся лицо Аргачи, поблагодарил его, потер свои озябшие плечи и стал умываться, громко пофыркивая. Аргачи глядел на его раскрасневшуюся спину и шутливо вздрагивал. Изредка опускал руку в пенистую воду быстрой реки, намереваясь умыться, но с криком отскакивал.

— Товарищ Суртаев, если я в комсомол запишуясь, то меня в партию примут? — робко спросил изменившимся голосом, видимо, давно собирался поговорить об этом, да не мог решиться.

— Если не будешь Сапога и других богатеев родственниками называть, а пойдешь против них... Ты молодой, а в голове твоей много старого мусора. Вот и с косой ты расстаться не хочешь.

— Другие в партию давно поступили, а косы все еще носят.

— Есть такие. Никто им не скажет, что косу обяза-

тельно надо срезать, а они сами говорят, что со временем сделают это.

— Говорят, — усмехнулся парень, глаза его вспыхнули. — Да я, товарищ Суртаев, раньше их косу отхвачу.

Он задумчиво посмотрел на седую воду:

— А что лучше: партия или комсомол?

— Я же говорил, что комсомол — для молодых. Партия комсомолу, как родная мать.

— Партия это что такое?

— Спроси у ребят.

— Они может понимают, да не сумеют рассказать.

Этот разговор толкнул Филиппа Ивановича на глубокое раздумье:

«Значит, многое из того, что я рассказал им в эти два месяца — парень не запомнил. А один ли он? Видимо, говорил я недостаточно популярно».

Седые буруны на реке напоминали отару белых овец. Дня три тому назад Суртаев купил десяток баранов. Каждый день убивали по барану. Один из курсантов ударом ножа разрезывал грудь животного, просовывал внутрь руку и вмиг скимал скользкое, горячее, трепещущее сердце. Баран мгновенно засыпал.

«А ведь партию можно сравнить с сердцем. Сердце страны. Все поймут», — думал Филипп Иванович, растирая тело. — «Страна выбилась из непроходимых трущоб на крепкую дорогу, задавила разруху и поборола голод благодаря тому, что крепкое, здоровое сердце работало без перебоев. Да еще как работало! Тут можно и о контрреволюции сказать, и о баях-феодалах»...

Чоманов стоял на соседнем камне и не спускал глаз с учителя. Заметив его взгляд, Суртаев сказал успокаивающее:

— Сегодня все разъясню о партии.

За спиной шелестела трава под ногами алтайцев, спешивших на берег реки.

«Сейчас Борлай начнет полоскаться. Он быстрее других забыл седую, как столетия, заповедь: «Не умывайся и счастье будет жить в твоем аиле». А Байрым непременно повторит все движения и жесты старшего брата», — думал Филипп Иванович.

Токушевы остановились неподалеку от него. Борлай озорно сунул в воду руки, черные, как барсучьи лапы. На щеках задрожали мутные капли. Он плескал на себя воду и задорно мотал головой. Учитель кинул ему мыло и он стал ожесточенно тереть щеки и лоб. Открыл глаза, рассмеялся. Лицо белое, точно от озноба.

Когда Суртаев начал чистить зубы, Аргачи последовал его примеру. Они вспомнили, как в начале курсов Чоманов удивленно смотрел в рот учителя, а через несколько дней попросил у него щетку и, проведя по своим зубам, засиялся восторженным хохотом:

— Где покупал, товарищ Суртаев? Скажи, товарищ Суртаев?

— Зачем тебе?

— Надо... Зубы будут, как у тебя. Белее снега.

Из большого аила повалил черный дым: дежурные разогревали сваренное накануне мясо.

Когда все собрались к завтраку, Аргачи снял шапку, погладил бритую голову и дернул себя за косичку, напомнив о разговоре на берегу реки.

— Зачем алтайцы носят косу? — спросил учитель.

— Чтобы вши плодились, — ответил парень и захотел.

— Во! Вшам в косе, как глухарям в кедровнике — приволье, — заметил Суртаев, точивший нож о голенище.

— Старики рассказывали, — начал Сенюш, — что Хан-Ойрат будто бы сказал: «Когда второй раз приду на землю, то узнаю народ свой по косам»...

— Сказкам веришь, — крикнул Борлай. — В сказках говорится, что у богатыря лоб, как гора, кости, как тайга... Разве мог быть такой человек?

— Коса с душой связана, — напомнил Байрым. — Если с лиственницы кору снять, то душа у лиственницы засохнет. Если человек косу отрежет, то будет сохнуть, сохнуть, совсем высохнет и упадет, как подгнившее дерево.

— У дерева никакой души нет.

— Глупость говоришь, Байрым. Дерево живое.

Суртаев поднял глаза на курсантов. Все замолчали. Он спросил:

— Как, ребята, отрежем косу парню? Он хочет быть настоящим комсомольцем. Слово дает.

— Руби под самый корень.

Посыпались громкие возгласы, поощрявшие смелость и стремление к новшеству. Кто-то подсунул толстое полено. Рассыпая хохот, Аргачи растянулся по земле, черная коса блестела на смолистом дереве.

— Смотри, ум потеряешь.

— Девки отвертываться будут.

— Всех кобыл перепугаешь.

— Ничего, мы ему русскую невесту найдем. Такую дородную да краснощекую! Согласен?

— Ие!

Суртаев наставил нож и по обуху ударили топором. Коса упала комлем в югонь. Аргачи вскочил, шаловливо подпрыгивая, и потряс головой:

— Легко как! Ой, и легко! В голове светло... Все учить, все понимать буду. Сам с такими машинками, которые меряют день, по долинам поеду.

Он подумал о своем прошлом и решил, что непременно будет учителем. Трудное дело, но ведь за спиной его всего двадцать два года. Когда-то он вот так же думал, что нелегко пасти табуны, даже плакал, а ведь научился не только пасти, но и арканами ловить лошадей. Лучшим пастухом считался. Это о нем говорили: «знает, в какое время, куда гнать табуны и в какой долине сколько дней держать их». Давно ли он, как и все алтайцы, вместо имени своего, ставил тавро. У него не было лошадей, но у него было свое тавро, завещанное отцом, и он вырезал его на тажауре, седле и ножнах. А сегодня он может вырезать свое имя. Сам учитель хвалил его за прилежность и ясный ум.

Ему подали обгорелую и смрадно вонявшую косу. Он повертел ее в руках и кинул обратно в костер.

— Живая! Смотрите, живая!

Борлай молча подвинул к себе полено, взглянул на брата.

— Отрубим, а?

— Руби. Будешь красив, как комолая корова, — посмеялся Байрым.

— А у тебя смелости нехватает?

— Посмотрим, у кого хватит смелости выбросить курмежеков из аила.

— Хочешь быть настоящим коммунистом? — спросил Суртаев, когда старший Токушев пал рядом с поленом.

— Ие!

Сунув отрубленную косу за пазуху, Борлай подумал, что теперь похож на русского и может назвать Филиппа Ивановича братом.

«А он не обидится?» — спросил сам себя. — «Наверное, нет. Теперь мы — люди одного племени, молодого и сильного».

Костер медленно угасал. На лиственничных досках лежало горячее мясо. Алтайцы выдернули ножи, готовясь к завтраку.

5

В аиле треск костра и здоровый храп. И вдруг — взъявленный голос:

— Токушевы здесь живут?

Под'ем тороплив и шумен.

Борлай протер глаза большими пальцами, кинул тревожный взгляд к двери, где стояли двое — полу согнувшись, будто косое дерево, великан и приземистый коротыш.

— Народ уходит из Голубой долины, — сказал маленький, увидев старшего брата.

— Злой человек появился: каждую ночь телят режет, жеребят давит, а народ говорит: «Дух берет, несчастливое место», — сообщил Утишка, опускаясь на коленки и грея руки. — Надо держать народ. Место хотя и нехорошее, а вольное...

«Это дело рук того мерзавца, который потерял трубку», — подумал Борлай и спросил Ярманку о Таланкеленге.

— Дома не спит. Говорит, что козлов промышляет, а мяса нет.

— Я по аилам ходил и всех уговаривал: «Надо жить здесь да работать больше — распыхаемся, скотом обрастем»... Но мои слова летят мимо их ушей, — рас-

сказывал Утишка, прикуривая от головешки. — А доля такая, что можно жить. Если в землю смотреть, а не на небо — сама земля богатство человеку родит.

Раскуренную трубку подал Борлаю.

— Сапога встретил, поругались...

— Как? Расскажи, — заинтересовался Суртаев и подвинулся к нему. — Вы же одного с ним сеока. Он вам как бы отец...

— Какой он мне отец... Плюю я на него.

Бакчибаев выругался и, сплюнув в огонь, продолжал:

— Сегодня он остановил меня и говорит: «Слышал я, что ты свой сеок основывать хочешь? А люди старой кости... Об этом не подумал? Знаешь, как старики жили?» — А я ему в ответ: «Вчера был день такой, а сегодня этакий и не будет такого, как вчерашний. Сеок мне никакой не нужен, я о своей семье забочусь». Он рявкнул тут: «А я — о народе».

— А Утишка ему, — зазвенел Ярманка, — так выпалил: «Твои дни прошли. Другим дай волю пожить».

Суртаев только по голосу узнал похудевшего парня, светил осунувшееся желтое лицо с одрябшими подглазицами и мысленно заключил: «Обязательно его в школу, напористый».

— Теперь не старая власть: не даст Сапог народу волю — сами возьмем, — гремел Утишка. — Так, Борлай?

— Непременно возьмем, — отозвался тот, подумав: «Вот будет помощник мне! Не знал я, что в нем такая смелость бьется».

Филипп Иванович сказал успокаивающе:

— Скоро мы кончим курсы и к вам приедем.





ГЛАВА ШЕСТАЯ

1.

Над пестрым квадратом базарной площади, обнесенной светло-желтыми коновязями и наполовину загроможденной тесовыми балаганами, нарастал нестройный гул, победно катился в золотистую даль хлебородной долины. Тоскливо ржали утомленные неподвижностью лошади. Яростно перелягиваясь, вззвизгивали сытые жеребцы. Лились тонкие, похожие на легкий смех, го-

лоса жеребят, испуганных неистовым шумом. Равнодушно и невнятно мычали коровы, осовевшие на приязи под теплыми лучами осеннего солнца. Кругом — хвастливые беседы, завистливые голоса, задорные возгласы. Кержаки в длинных черных кафтанах и кошемных шляпах, с широкими лицами, заросшими жестким, как проволока, волосом, всюду несли с собой вснь древности, полуистлевших мхов, угрюмых изб, воска и ладана. Остроголосые ямщики из деревень, расположенных по тракту, принесли запахи пережженого на тележных осях дегтя, теплой дорожной пыли и махорки-самокрошки. Бабы в широких сарафанах и ярких фартуках двигались толпами. Они пахли затхлыми сундуками, набитыми старыми кашемировыми платьями и тонкими холстяными скатертями. Вокруг цветистых шапок алтайцев вился приятный аромат поблекших лиственничников, густых кедрачей, сухих трав. Ко всему этому примешивался едкий запах навоза и кислый — пота. Из полураскрытых балаганов тянуло бодрящей свежестью тугих спопов умоловной пшеницы, полупудовых кочанов сочной капусты и огромных, как жернова, голубых тыкв. Не то на ярмарку слетелся народ, не то на бега. Но почему никто не торговался, не хлопал руками, набивая цену?

Алтайцы двигались за Суртаевым крепким косяком, как ходит рыба в море. По обе стороны рокотали дерзкие людские волны — ругались мужики, плевались бабы:

- Таскат нечистых, немаканых тут-ка.
- Вшей да блох напоказ привезли: награду получить норовят.
- Вши у них породистые да крупные, ну что твоя пшеница!

Суртаев остановился у входа в самый большой балаган, на котором висели красные полотнища с кривыми строками:

- «Долой дальновземелье!
- Организуйте выселки.
- Культурное хозяйство — прямой путь к победе!
- Хороший хозяин собирает два колоса там, где рос один».

На лицо его пали густые тени, брови — крылья темные — неловко шевельнулись, голос стал рычащим:

— Разрешите экскурсии пройти.

Мужики потеснились. Они возле огромного снопа красного клевера пересыпали с руки на руку желтовато-фиолетовые и мелкие, как мак, семена, пробовали на зуб. Филипп Иванович услышал:

— По четыреста рублей с десятины гребет! Вот это культурник!

— Не наш брат Елисей-мелкосей! Чистое золото намолачивает.

Из противоположного угла неслось внушительные похлопывания руками по бедрам и голоса, голоса:

— Полторы сотни пудов говоришь с юной десятны собираешь? И рано поспеват?

— Оно, конечно... Святая пшеничка. Сам Ной, слыши, кормился ею, вот и называется по-ученому «Ноэ», а по-нашему, по-простому — Ноева.

— Святая не святая, а золотая.

— Нам бы как раздобыть ее малость?

— Он тебе променяет: за пуд десять пудов отдашь, зато, паря, хлеб осенью лопатой не проворотишь.

К алтайцам деловито подвинулась сутулая девушка со вздернутым носом на мучном лице, с льняными волосами, торопливо спутанными в две пышных косы, в простых сапогах и сером туальденоровом халате. Филипп Иванович сказал ей об экскурсии и, урывками кидая взгляд то в один, то в другой угол павильона, спросил:

— А почему, товарищ агроном, коммуны не представлены?

— Есть отдельный павильон, — отозвалась девушка, голос ее оказался приятным. Тайком взглянув на строгий профиль посетителя, она решила, что этот человек всегда и во всем считает себя правым, заговорила робко:

— Выставочный комитет так постановил. Считали, что иначе экспонаты «Искры» потонут в общей массе экспонатов.

— И нет ничего, напоминающего о коммунах?

— Там есть лозунги. Выставочный комитет...

— Голова у него, у комитета вашего, мусором забита, что ли?

Девушка сконфуженно потупила глаза, смутно ощущая неловкость и будто принимая на себя какую-то долю вины.

— Вы напишите об этом. У нас есть книга для записей.

Алтайцы рассматривали тугие споны золотистого овса, щупали медно-красные колосья и жевали гвердые жемчужины пшеницы. Один Чумар оставался рядом с девушкой.

«Она — ученая, все знает», — подумал он и спросил:

— Земля пахать как надо? Я хочу... как сказать лучше... хлеб собирать.

У него нехватало слов и он, размахивая руками, пытался жестами передать свои затаенные думы.

Девушка начала сбивчиво и удивленно:

— Вы бродите по разным долинам. Кочуете. Переезжаете с места на место. Животноводством... скотом занимаетесь.

— Стариk алтай-кижи кочует, я на месте сидеть... Земля резать. Хлеб...

— У вас нет навыков... Вам трудно привыкнуть пахать землю...

Чумар обиженно тряхнул головой:

— Русска мужик пахает, алтай-кижи пахать будет.

Он склонил голову на бок и укоризненно улыбнулся, но улыбка его была теплой, мягкой, казалось, что он мысленно произносил:

«Ты еще молодая, сердце у тебя не застыло, научи, пожалуйста, алтайцев землю пахать».

Внимательно прислушиваясь к разговору, Филипп Иванович отметил, что настойчивость Чумара изумила девушку и пробудила у нее желание рассказать все, что она знала о земледелии.

— Лучше начать оттуда. Пойдемте, — прозвенела она, направляясь к павильону, над которым висело огненное полотнище с белоснежными буквами:

«Переложим тяжелый труд крестьянина на железные плечи машины».

Алтайцы лавиной двинулись за ней. Лицо Чумара, бойко шаркашего полегчавшими сапогами, потеряло морщинки, голос стал звонче:

— Хлеб сеять не знает — есть нет... так спит.

— Людмила Владиславна, а вы на кого павильон полеводства оставили? — настиг девушку строгий голос.

Она не ответила. Остановилась у однолемешных плугов, тряхнула за черные ручки, напоминавшие алтайцам рога каменного козла, и заговорила нарочито звонко:

— Вот, в такую машину запрягают пару лошадей...

Слушатели смотрелись в зеркала лемехов, ощупывали острые зубья борон, блестящие диски сеялок. Борлай натнулся над конным колесом молотилки, ухватился за край, понатужился, дважды крякнул и покачал головой:

— Тяжелее камня.

Двое крутили барабан, Байрым совал палку в железную пасть.

— Ой, зубы, зубы! Какие зубы! — Гудел басом. — Дерево жуют.

— Эта машина тоже все сказывает? Да? — шутливо приставал Аргачи.

Часа два спустя они проходили мимо коновязей, где землю избили в пыль вороные, рыжие и гнедые лошади с подстриженными хвостами, вымытые и вычищенные так прилежно, что шелковистая шерсть блестела. Тонкие ноги лошадей были стройны, как ноги горных козлов, длинные шеи казались точеными, во лбах белели звезды. Юркий пожилой человек в желтой шубе беспокойно повертывался, рассказывая о первых днях коннозаводства высокому с продолговатым лицом и длинными черными усами собеседнику в сером пиджаке и белой фуражке с медными граблями и косами повыше лакированного козырька:

— Отец этого красавца родился в Англии. Чистокровный английский. Мне отдало его военное ведомство, как культурному хозяину. А вот сыновья алтайских кобыл и орловских жеребцов. В них есть арабская кровь...

Аргачи вытянулся на одной здоровой ноге, как гусь, и шепнул Чумару:

— Кровь каждой лошади знает не хуже, чем кровь своего сеока.

Черноусый в сопровождении Говорухина и самого хозяина обходил лошадей, ощупывая ловким взглядом шеи и головы, ноги и спины. Филипп Иванович слышал горячий полушепот:

— Как я и говорил вам, Евгений Васильевич, прекраснее этих лошадей не найти во всей Сибири: резвы, выносливы. Прелестный завод, конечно, пострадавший за годы сумятицы, боев.

Говорухин наклонил голову к уху черноусого, продолжал:

— У хозяина глубокое знание дела, неизмеримая любовь к лошадям. Необходимо поддержать.

— Мне бы опять с военным ведомством связь установить, — почтительно просил хозяин коней.

Светлый лоб Суртаева перерезала глубокая борозда. Каждое слово Сапога заставляло вздрогивать, крутые плечи ходили. Хотелось сейчас же броситься к нему, ударить разящим словом ненависти, а потом напомнить агрономам, что они заботятся о враге.

«Агрономы ли только заботятся? Не они одни отводили эти коновязи первейшему баю-феодалу».

Заметив, что взгляды алтайцев были прикованы к этим людям, а уши старательно ловили тихие слова, он опять заговорил, почему богат Тыдыков.

— Сколько у него коней?

На губах Чумара блеснула добродушная усмешка. Разве кто-нибудь мог точно сказать о табунах Сапога, коли сам хозяин не знал, сколько у него лошадей. Когда ему нужно было проверить все ли табуны в целости, он загонял их в ущелье «Медведь не пройдет». Целый день шли табуны в каменный мешок, точно грузные тучи по небу плыли, и конца им не было. Полное ущелье, каждый вершок земли занят — значит целы табуны.

— Скота у него, как звезд на небе, — сердито прокрипел Байрым и сплюнул.

— До войны, говорят, было больше ста табунов, — угрюмо молвил Аргачи.

— Бывало едешь по долине: «Чьи табуны?» — «Сапоговы табуны». Перевалишь хребет: «Чьи табуны?» — «Сапоговы табуны».

Докатился чей-то приглушенный шепот:

— Счастье в его аиле живет.

Суртаев гневно крикнул:

— Счастье, говоришь, живет? А у волка в логовице — тоже счастье?

Он перебрасывал острый взгляд с лица на лицо, продолжал горячо:

— Счастье — не сизый голубь, которого можно прикормить, а потом ему и силок на ногу. Его надо выковать. Не лично для себя, а для всех, кто трудом живет...

Агрономы обогнули коновязь и теперь медленно шли навстречу. Оттуда донеслось, словно шелест веток в ветряный день:

— Да, да, коневодческое товарищество... Иначе нельзя пока-что. В этом случае Крайземуправление поддержит, — обнадежил человек в белой фуражке, поглаживая свои черные кошачьи усы.

Пожимая его короткую руку, Сапог говорил звонко:

— Обязательно приезжайте ко мне. Я ученых людей люблю. У меня всегда экспедиции останавливаются. Мой старший сын поехал в город Омск учиться на агронома, а младшего думаю на врача учить. Сейчас он в Улале...

Говорухин взял черноусого под руку и, удаляясь, говорил с жаром:

— В пятнадцатом году он на армию пожертвовал прекрасный табун в сто голов. Император собственно ручно вручил ему золотые часы.

Перешел на тихий шепот, таявший за плечами:

— Это чудеснейший человек! Самородок! Он приглашает всех агрономов, особенно вас, Евгений Васильевич, к себе, пока на здешнюю квартиру, а потом и к нему в усадьбу. Попробуете араки — алтайского напитка. И не только попробуете, — у него душа широкая, меры не знает... А баранинка такая ароматная да жирная! Я нигде не встречал более вкусной баранины!

Спутник его закручивал рассыпавшиеся усы.

— Блондинка эта с ангельскими глазами придет?

— Нет, не нашего поля ягода. Да и что вы так обратили на нее внимание? Она мертва, как кочан мороженой капусты...

Сапог подошел к Филиппу Ивановичу и льстиво поздравился, посверкивая лукавыми глазами:

— Может, учитель, на рысаке прокатиться желает? У меня есть английское седло.

Суртаеву показалось, что у него хрустнули онемевшие челюсти.

— Отстань, кривоногий чорт, — крикнул он, блеснув колючими льдинками глаз, резко повернулся и, окруженный алтайцами, направился к маленькому дощатому павильону, напоминавшему балаганчик мелочного торговца, какого-нибудь Ли-Чи-Фана.

Балаганчик притулился к широкой задней стене магазина Центроспирта, над шаткой крышей его полоскалось красное полотнище, по которому небрежно были раскиданы слова:

«Только через об'единение крестьянства в коммуны — скорейший путь к социализму». «Да здравствуют коммуны!»

Суртаев мысленно выругался, шаг его стал тверже, он ожесточенно бил землю коваными каблуками.

«Что за политическая тупость! Загнали коммуну в такую дыру...».

Он оставил алтайцев на площади, а сам побежал на улицу, где стоял двухэтажный зеленый дом.

2

— Что вы делаете, товарищи? — крикнул Суртаев с порога. — Вы подрубаете дерево, которое надо ростить.

Копосов, опершись руками на закапанное чернилами сукно, оборвал разговор с заведующим аймачным земельным управлением и поднял удивленные глаза.

— Коммуны поместили в какой-то скворешне. Не оборудовали ничего... Ни лозунгов, ни плакатов о коммунах, — горячо продолжал Филипп Иванович, взма-

хивая руками, будто дрова колол, по лицу его прыгали мгновенно появлявшиеся и также быстро исчезавшие морщины.

— Не коммуны, а коммуну, — поправил его Копосов и выпрямился, как лошадь, сбросившая хомут. — Ты знаешь, что у нас во всем аймаке одна «Искра», да и та..

— На все четыре хромает, — сообщил заведующий айзу, спокойно свертывая папироску.

— Хромает? — переспросил Суртаев, повернувшись к нему. — Хромает, говоришь. А сколько раз ты лично был в коммуне?

— Да, я что... Хоть каждый день к ним езди — все-единго никакого толку. На многополье сговорить не можем, — оправдывался заведующий. — У нас, земельных работников, опора в деревне — культурник.

— Это у вас такая опора, а у партии и советской власти опора — батрачество, беднота, коммуны, — оборвал его Филипп Иванович, шлепнув ладонью по столу. — А культурники ваши — кулаки да бай. Сколько их на выставке?

Заведующий айзу, попыхивая табачным дымом, дернул плечами:

— Ни одного лишенца нет.

— Зря шумишь, Суртаев. Мы здесь тоже не без голов. Разбросить экспонаты коммуны по всем павильонам, это значило потопить их...

— Посмотрю, кому вы будете премии выдавать. Где у вас бедняк?

В ответ ему — недоумевающий жест и легкий укор:

— Тебе, сердешный, не нужно раз'яснять, как в наших условиях на сегодняшний день, когда мы советизацию закончили каких-то два года тому назад, трудно выявить бедноту.

Копосов махнул рукой, напоминая этим, что в кочевой части аймака нет селений, потом он сказал, что айлы бедняков разбросаны на огромном пространстве, иной раз за пять-шесть километров один от другого.

— А выдачей премий баям вы эти трудности усугубите.

— У тебя, сердешный, какой-то заскок в мозгах, —

усмехнулся Копосов и погрозил пальцем. — Ты готов каждого хозяйственного мужика записать в кулаки да в бай. Давно ли газеты предостерегали от этого? У меня память крепкая: раз прочитаю, как топором вырублю. Я тебе сейчас дословно процитирую: «Стоящая перед нами задача сводится к тому, чтобы усилить развитие всей массы крестьянских хозяйств, вовлекать накопления сельского хозяйства в русло государственного, общественного накопления, создать богатую советскую деревню».

— Вот именно, богатую деревню, — подхватил зашедшую айзу. — Мы должны поднять все сельское хозяйство аймака.

Филипп Иванович не спеша повернулся и тихонько пошел из комнаты, недоуменно мотая головой.

3

Заседание шло бурно. Споры начались, когда председатель выставочного комитета предложил выдать первую премию коммуне «Искра». Черноусый агроном торопливо сосал толстую папироску, выхватил ее изо рта недокуренной и скомкал на окне.

— А что вы, разрешите спросить, считаете основным — экспонаты или глаза и улыбки экспонентов?

— Говорите по существу, — буркнул председатель, барабаня карандашом по тонкому дну стакана.

— Извините, я вас спрашиваю по существу, — обиделся агроном и, нервно передернув плечами, встал. — Видимо, вы не хотите отвечать на вопросы прямо, тогда честнее об'явить об этом. Разрешите мне говорить?

Он напомнил о свободном соревновании общественного и частнокапиталистического начала, сказал, что выставка была устроена для поощрения передовых крестьян, которые ведут сельское хозяйство на культурных началах, что выдача премий за плохие экспонаты принесет непоправимый вред.

— Но у нас нет и не может быть ставки на кулака и бая, — горячо крикнул секретарь айкома комсомола.

— Молодой человек, говорите вы. Я вас буду слушать, не перебивая, — холодно сказал агроном, кошачьи усы его колыхались. — Понимаете ли вы, что такое кулак? Еще вопрос: есть ли он в Сибири? Здесь не было для него почвы, ибо не было помещичьих хозяйств. Тут взаимосвязь.

После короткой паузы он продолжал твердо:

— Основной долг агрономов — помочь всему крестьянству поднять сельское хозяйство.

— Создать богатую деревню, — визгливо напомнил заведующий айзу.

— Совершенно верно. Выставка — не комитет взаимопомощи.

Голос черноусого звенел уверенно, как хорошая басовая труба:

— Если вы считаете, что тому или иному гражданину, по каким-либо, нам неизвестным, соображениям нельзя выдать премию, так не нужно было приглашать его на выставку. Всякая выставка есть свободное соревнование культурных хозяев. Я, как представитель края, от имени агрономов, настаиваю на выдаче первой премии товарищу Тыдыкову.

Разноголосым шумом был захлестнут голос агронома. Первым крикнул пожилой крестьянин Суслов, которого за широкую серебристую бороду и блестящую лысину избрали в облисполком:

— Я подчеркиваю... как член исполкома и сам крестьянин.

— Нашел товарища: у него в одном табуне лошадей больше, чем у бедного тараканов в избе.

— Товарищ... Полтораста батраков держит.

— Его товарищи давно в могилевскую отправлены.

— И этого туда же следовало бы

Президент бросил карандаш, схватил линейку и стукнул по столу изо всей силы:

— Тише, вам говорят, товарищи. Высказывайтесь в порядке прений и внесения предложений.

Первым попросил слово Говорухин:

— Граждане! Корпорация агрономов считает себя оскорблённой и отказывается от дальнейшей работы по выставке и вообще в аймаке. Была создана комис-

сия экспертов-специалистов, у которых есть определенное мнение, зафиксированное в соответствующих актах, но с этой комиссией никто, видите ли, не желает считаться. Мы осуществляли вашу политику. Помогали крестьянам-культурникам производить перестройку сельского хозяйства на научных началах. Да, честно помогали, но если вы с нами не считаетесь, то мы вынуждены раскланяться.

Он кинул шляпу на голову, но в ожидании ответа сел.

Под потолком засияла, как новый самовар, широкая лысина Суслова:

— Разрешите мне высказаться, — прогудел он. — Я, как крестьянин и член исполкому, подчеркиваю... Премии культурникам. Первую — Сапогу Тыдыкову...

Сутулая блондинка подбежала к столу так стремительно, словно пол под ней покачнулся. Ей дали слово вне очереди. Она свертывала тетрадь в трубочку, глядела на порог, где никого не было, и говорила прерывающимся голосом обиженного ребенка:

— Я тоже чувствую себя оскорбленной. Мне дико слышать о какой-то корпорации. Дико... Никакой корпорации нет и при советской власти быть не может. Я тоже агроном и знаю это. Знаю... Ни с одним словом,енным здесь агрономами, я не согласна. Не чувством корпоративности надо руководствоваться, а чем-то другим... Чем-то другим...

— Классовым чутьем, — подсказал председатель.

Девушка оглянулась на него.

— Я согласна с вами: классовым чутьем... А от Сапога Тыдыкова, извините, мертвениной пахнет. Мертвениной... Он как был стервятником, так и остался.

И опять шум:

— Не заговаривайтесь. Он полноправный гражданин.

— Ответите за такие слова.

— Он коневодческое товарищество организует.

Перебивая один другого, просили слово. Список ораторов перекинулся на второй лист...

Во всю длину комнаты стояли столы...

Еще засветло вынесли в сени варшавскую кровать, отодвинули в угол суковатый фикус, сдернули чехлы с дешевеньких репродукций в золоченых рамках, висевших по обе стороны огромных икон. Хозяйка, сидя в шерстяное темнозеленое платье, вычистила лампадку и затеплила ее, зажгла две лампы под потолком. Вспомнила канувшие в вечность годы, когда вот также, накрыв столы, с приятным трепетом ждала гостей. Тогда она гадала — похвалят или не похвалят печенье, курники и кисели, какое варенье — малиновое, смородиновое или крыжовниковое — больше понравится. А гости бывали знатные. Крестьянский начальник с женой, урядник с женой, старшии приказчики бийских купцов Асанова и Хакина, отец Акакий, волостной старшина. Все купцы останавливались у них. Пировали по неделе. На тройках — гусем — летали в соседнее село за восемьдесят верст. А какие бега устраивали! На двадцать пять верст! Закладывали по пятьсот рублей. Партизаны нарушили это сладостное житье, увели коней, угнали коров. Обоих с мужем лишили голоса...

— Слава богу, черные денечки прошли, — легко вздохнула Полина Михайловна и, умиленно посмотрев на иконы, перекрестилась. — Сегодня у нас будут гости Сапога. А завтра Павел позовет. К нему теперь все советские начальники придут. Будет полное застолье.

Она с безграничным удовлетворением отметила, что второй год никто не напоминал им о былой мануфактурной торговле, будто все позабыли зеленую вывеску с черными буквами:

«Торговля П. Г. Гурина».

Павел Георгиевич вот уже полгода был членом правления кредитного товарищества и им не могли нахваливаться. В поле все лето не бывал, сама Полина Михайловна с работникамиправлялась.

«Скоро, бог даст, все будет по-старому, — сотовый

раз подумала об одном и том же. — Народ распыхается...».

Под образами возвышался громоздкий Суслов, расправлявший по широкой груди метлистую, словно гуариний хвост, жесткую бороду. Нетерпеливо тыкался широким красным носом в окно. Мелкий дождь уныло барабанил по стеклу. Ветер дул порывами. Казалось, на улице кто-то полоскал белье.

— Ну и народ... Где они пропадают до екой поры?.. — ворчал Суслов.

Сапог, одетый в чесучевую рубашку и черный пиджак, при малейшем шорохе выскакивал на крыльцо и всматривался в темноту.

— Ни одной души, — устало бунчал он, возвращаясь к столу. — Давай выпьем. Алтай любит гостей, которые пьют.

Суслов осушал чашку за чашкой, утирая усы кулаком, дважды жадно крякал и, закусив огурчиками, продолжал рассказ о заседании выставочного комитета:

— На бабу не походит, никакой, я вам скажу, видимости нет, так — простокваша жидкая, голосу высокого нет, а тоже выступила против. И какие слова начала сыпать мокрохвостка эта, ну, откуда что берется. Долго мы отстаивали тебя. А как пришел секретарь айкома Копосов с кочевым агитатором, с Суртаевым — все пропало. Стали они говорить, что ты вроде помешника был...

— Суртаев — змей — я его сызмальства знаю, — вставила свое слово Полина Михайловна.

За окном хлюпала грязь. Вошло сразу шестеро.

— Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте, — кланялся старик. — Алтай любит гостей. Ой, как любит!

Он зажмурился, словно кот на солнце, и потряс головой.

— Добрый вечер, Сапог Тыдыкович, — прозвенел Говорухин и до холодных мурашек скжал костлявую руку. — Благодари. Постояли мы за тебя. Запомни: постояли. Завтра похвальный лист получишь.

— А Копшолай?

— Тоже похвальный лист.

Сапог осуждающе покачал головой:

— Ошибку давал, Николай Валентинович. Ты знаешь мои табуны и копшолаевы знаешь. И о том не подумал, что один человек такой большой, а другой такой маленький. Ты знаешь, откуда мой корень идет? От знаменитых богатырей. Я тебе говорил об этом. От самого Сартакпая. Над Копшолаем я, как отец над сыном. Его считают воюющим баем, а меня благородным. Он в мой аил ползком заползает, а меня под руки водят...

— Не наша вина. Мы сделали все, что могли. А ты, друг, не унывай, — утешал Говорухин, а потом шепнул на ухо. — Старший агроном через крайзу проведет. Еще больше получишь. В двадцать седьмом году будет всесибирская выставка... Мы подготовимся заранее и подготовим всех, кого надо...

Сапог поспешил к гостям, садившимся за столы. На лавке стояло два десятка тажауров с аракой, на каждом тажауре был позолоченный рисунок и тавро Тыдыкова — гора и над ней подкова луны.

— Попробуем, насколько крепка на этот раз, — сказал Говорухин, чокаясь с черноусым. — Полезнее кумыса. Аппетит разжигает.

Пили из фарфоровых чашек.

К полночи столы отодвинули к стене. Пришел вихрастый гармонист. Двухрядка дико ревела. Под ногами хрипло стонали половицы. Суслов, по-бабы размахивая руками, так притопывал, что отвалились каблуки у новых сапог. В переднем углу, обнявшись, пели: «Вот вспыхнуло утро» и «Белой акации гроздья душистые». Говорухин лежал грудью на столе, уткнув нос в скатерть, и тихо барабанил непослушными пальцами. Мокрыми губами перебирал непокорные слова:

— Бе... б-бело-ой ак-акка... акации, чорт возьми...

Перевернулся стул и, натыкаясь на пляшущих, падая на колени и с трудом отираясь от пола, кричал:

— Акции... кто желает акции...

Черноусый и Сапог подхватили его и в обнимку вывалились в черемуховый сад.

— Ко мне домой завтра поедемте. Ко мне. Весь народ соберу. Праздник будет — реки песни запоют.

— Премного благодарен. Обязательно приедем, — обнадежил черноусый, ласково хлопая алтайца по спине.

— Твои гости, — вскрикнул Говорухин, освеженный сыростью холодной ночи. — Седла! Лошадей! В горы! В ушах звон! Легкие ноги коней не касаются земли. Эх!

Он взмахнул рукой, щелкнул пальцами.

— Обгоню тебя, Женька. На гору первым залечу. Долина отдыхает — голубая-голубая. А по ней плавут табуны, табуны, табуны. Их больше, чем облаков под счастливым небом.

Оторвавшись от них, он один побрел в темноту, покачиваясь и помахивая рукой, словно сумасшедший дирижер.

— Английцы! Орловцы! Стройные, как «Борей». «Борей»! «Борей»! Ох, — простонал, стукнувшись лбом о старую ветлу и падая. — Где мой любимец, где? Кто ездит на нем? Кто треплет...

Услышав всхлипывания, черноусый поспешил к нему.

— Брось, Николай. Иди, освежись нашатырным... — уговаривал друга и тянул за руку. — А «Бореи» у нас будут. Ты сам знаешь, за границей... Помогут, будь уверен.

В ответ ему неслось певучее и задумчивое:

— Жокеи в полосатом — белое с голубым... Белое с голубым, ха-ха...

Казалось, сейчас зарычит раненый человек и будет обреченно рвать на себе рубашку, но вместо этого умоляющий вопрос:

— Когда они будут? Когда свои жокеи?..

Рука судорожно сжала осыпавшиеся листья.

— Не будет их... не будет. Корня у нас нет, как у этих листьев.

Говорухин подбросил листья вверх и с болезненным надрывом продолжал:

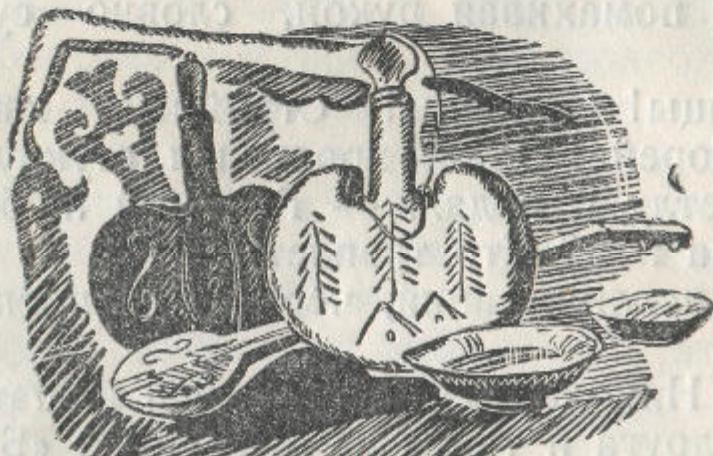
— Оборвало нас... И несет, несет в пропасть. Дикий чужой ветер...

Черноусый поднял его, прикрикнул:

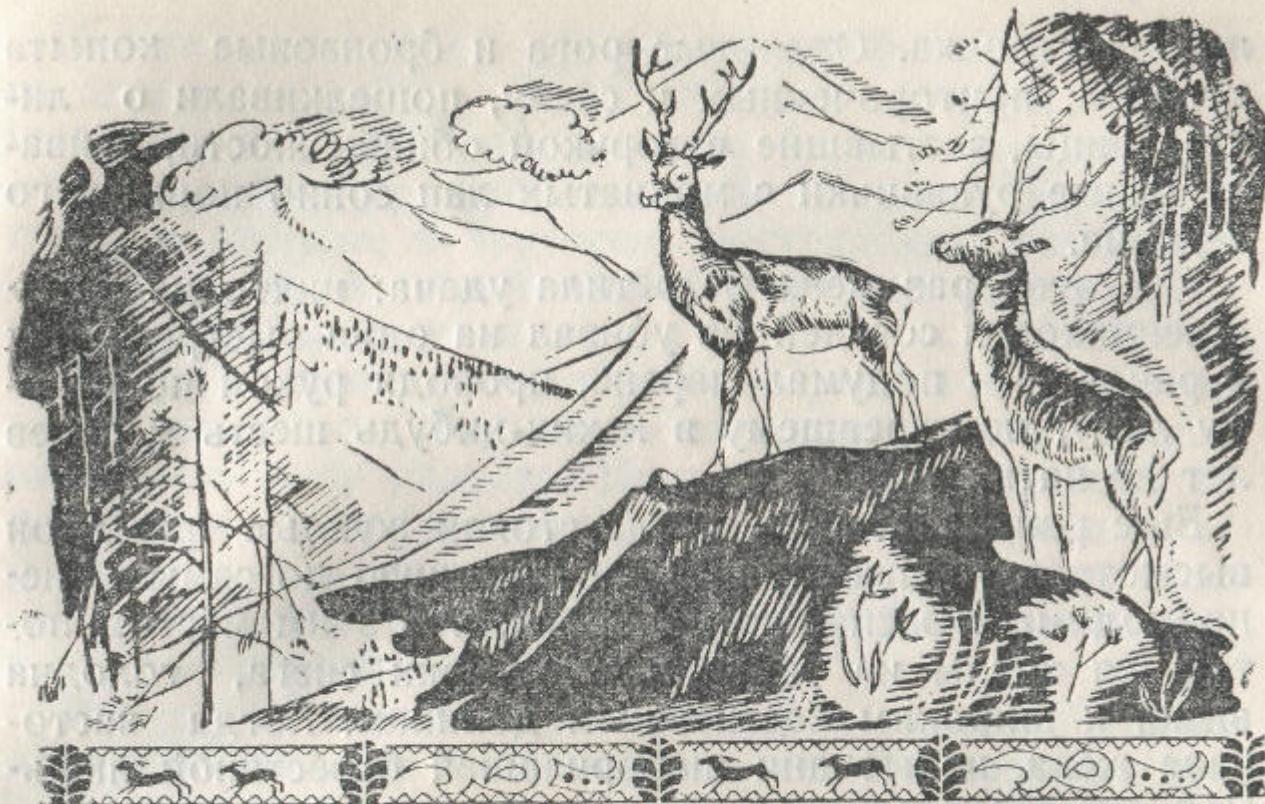
— Перестань. Разревелась институтка...

Распахнулись двери сеней, выбросили в сад широкий сноп света. Вывалился пошатывавшийся Суслов. На голове его чернел опрокинутый ковш. По волосам, щекам и бороде ручьями стекала мутная арака. Он, размахивая руками, горланил:

Заехал в деревню коней напоить,
Свою гульбою народ удивить...



Изображение на странице 111 из книги «Сказки о сказчиках» А. Н. Толстого. Иллюстрация А. А. Драгунова.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Пушистые пали снега. Всюду следы зверей — узор замысловатый. Мышка прошла — ровно косичку из снега сплела. Озорной заяц, как пьяный канцелярист, на полянках нашлепал печатей. Конь пробежал по снежному полю, будто шубу прострочил.

За лошадью Ярманки, возвращавшегося домой тряником через леса и каменные кряжи, тянулась беско-

нечная строчка. Ореховые рога и бронзовые копыта куранов, притороченных к седлу, пощелкивали о лиственницы, застывшие в горькой обнаженности, сбивали белые рукавички с мохнатых лап сонно поникшего кедрача.

«На этот раз меня встретила удача: никто из родственников и соседей не убивал на один выстрел двух куранов», — подумал парень, проводя рукой по серому лицу, постаревшему в каких-нибудь шесть месяцев лет на пять.

Еще ранней осенью, когда стояли жухлые травы, он высмотрел торную тропу, проложенную по самым непроходимым распадкам, и понял, что этим местом потянутся козлы из тайги, где глубоки снега, голодна зима, к широким бесснежным долинам. Когда застонала жена, целые дни шеборчавшая берестяной лулькой, он заседлал коня и махнул туда. С вечера спрятался за камень. Две ночи пролежал не шевелясь, пока на рассвете третьего дня не услышал легкого шороха и бойкого пощелкивания копыт.

— Кураны идут! — прошептал сухими губами и отрывисто крикнул:

— Кук!

В десяти шагах, настороженно озираясь и с храпом нюхая воздух, остановился лесной красавец, одетый в золотистую шубу, тонкие ноги были, как тугонатянутые струны, точеная шея круто взметнута, а легкая голова с черными ноздрями уставилась в небо.

«Не может понять, откуда крикнули, а узнает — только ноги мелькнут», — с трепетом подумал Ярманка, нажимая горячим пальцем спусковой крючок.

Опять шорох, четкое постукивание копыт, а потом хлесткий выстрел. Сизый дымок на мгновение закрыл даль.

— Неужели выстрел опоздал?

Легко переметнулся через высокий камень, волоча пустую винтовку. На тропе, жалко запрокинув голову и широко разбросив ноги, лежал седеющий куран, теряя пряный аромат лесов, а в двух шагах от него — такой же стройный прыгун некрасиво сел на светлоголубой снег; сразу же обмяк, словно подогретая восковая фигура, и устало прикурнул к старому кедру.

Парень, не понимая случившегося, бросался от одного зверя к другому — оба обожгли его руки угасающей теплотой, у обоих раны на боках на-вылет. Ярманка провел шершавой ладонью по своим пылающим губам и впервые в эту осень восторженно улыбнулся.

— Я сшил их одной пулей! Этот сам налетел...

По-хозяйски ощупал спины куранов — жирны ли, широко расставив ноги, поднял зверей за изящные рога — тяжелы ли. Торопливо смахнул с густых ресниц невольную росу радости. Никто в кочевые не знал такой удачи. Видно в самом деле родился он, как говорила мать, в счастливый день, в солнечное лето, в веселое мгновение, когда солнце поутру, обласкивая всех, взглянуло на мир.

Теперь, придерживая лошадь, он с горькой усмешкой шевелил вмиг побелевшими, как бы морозом Gronутыми, губами:

— Удача... счастье... Приеду, а в аиле: а-а, а-а... Беззубая баба, как сырья колодина...

Ему хотелось повернуть коня и скакать так, чтобы в ушах звенело, а куда скакать — безразлично. Есть же, поди, такая долина на земле, где жизнь весела и безмятежна, как солнечный день, вдали от людей, где нет родовых арканов, сплетенных неизвестно каким безумным стариком, и где можно жить не так, как велят седые обычай, а как сердцу хочется. Пусть стонут горы, колются леса, Ярманка, Токушев сын, все-таки умчится туда. Он беркутом упадет на анытпасов аил, вырвет Яманай, — и ветры в ушах запоют.

Он огибал один из лысых отрогов хребта. Легкий ветерок перебросил пышную кисть с затылка на лицо иshalovliivo перебирал шелковые ниточки.

— Ветры, ветры вольные... — печально промолвил Ярманка, — и вдруг тряхнул головой, полился певучий речитатив:

— Что вы, добрые ветры, тащитесь, как одряхлевшие коровы на трех ногах? Встряхнитесь молодцами и промчитесь по горам быстрее тонконогих куранов. Унесите, гневные ветры, стариков и по могильным местам разбросайте память о старине. Расскажите, ласковые ветры, молодой алтайке, которая девушкой бы-

ла чище луны и красивее солнца, что я последние дни живу в этой долине, уведите бедную из немилого аила...

А потом — песня, слышанная в юности от такого же разнесчастного парня:

Я не буду есть мясо,
Сваренное накануне.
Я не буду жить со старухой,
Оставленной братом.

Все громче и громче голос:

Не люблю я реку,
Засыпанную мелкими камнями.
Уйду от старой бабы,
Имеющей мелкий ум.

Широкие брови внезапно сошлись, образовав над переносьем тугой узел, глаза вмиг потемнели, провалившись, лицо изломали глубокие морщины скорби и недовольства собою, а голос из возвышенно-звонкого превратился в скрипучий.

— А может быть ей аил вонючего сурка показался милым?

Ярманка мял в руках ременный повод, сам себе отвечал:

— Говорят, что самое черствое сердце можно лаской растопить, как масло на огне.

Зубы его слиплись, точно морозом сковало их. На плотные бока спотыкавшейся лошади то-и-дело сыпались яростные удары плети.

Открылась долина Голубых Ветров. Окруженные снежными завалинами и покрытые ледяной броней, аилы напоминали болезненные волдыри. Дым вился молодыми облаками, лохматые тени, как медвежий лапы, гладили белую равнину.

Остроухая собака встретила хозяина радостным поизгиванием, подпрыгивала до седла, как бы хотела облапить. На шум выполз сам Токуш, закрывая голую грудь шубными лохмотьями.

— С полночи баба маётся, — глухо предупредил сын, взглянул на добычу и, ворочая мутными глазами, воскликнул:



— Глаз у тебя мой, верный!

Зажмурился, выдавливая слезинки из-под красных век, продолжал:

— Я, бывало, меньше двух куранов никогда не привозил. Белку бил только в глаз.

Услышав, что два красавца взяты одним выстрелом, старик удовлетворенно прошамкал:

— К счастью! Жена благополучно разродится.

Ярманке снова захотелось бежать, закрыв глаза.

Чаных с трепетом ждала рождения сына, не раз умиленно говорила соседкам:

— Дочь, как птица: вырастет и покинет материнское гнездо — улетит в чужой сеок. А мальчика кто не спросит: «какого сеюка?» — всегда услышит достойный ответ: «Мундус». Сын прокормит старуху-мать до самой смерти и в даль годов понесет память о семье.

Она не знала будет ли Ярманка любить сына, но была твердо уверена, что после этих родов он не бросит ее, — сына нужно воспитывать. Если он еще раз осмелился назвать ее беззубой старухой, то соседи постыдят его:

— Какая же она старуха, если родила тебе такого молодца.

Думая так, она воспитала в себе такую горячую любовь к будущему ребенку, какой не знала ранее.

Она с нетерпением думала о том дне, когда возьмет в руки крошечное детское тельце, услышит приятный запах мокрой постельки. Все лето старательно мыла овчинки для ребенка, терпеливо, по былинке собирала мягкую траву на подстилку. Сухой травы у ней было полное беремя — хватит надолго. С появлением ляльки она наполнится чудным запахом, понятным только матери. Не раз видела себя сидящей на кровати с ребенком на коленях. Вот она достает ему правый сосок, темный и набухший, как спелый орешек. Вот маслом натирает крошечное лицико, чтобы сын рос здоровым, сильным. Во время такого раздумья грудь ее вздымалась, а щеки на короткий миг расцветали поздним румянцем. Минуты кормления ребенка казались ей самыми упоительно-сладкими. Она ярко представляла себе, как сын будет размахивать рученками и весел

ло завершит. Мальчик будет налит здоровьем и это подтвердит, что молодость ее не идет на ущерб. Муж обрадуется сыну, и потечет тогда безмятежная жизнь.

Минувшей ночью, укладывая детей в яму, вырытую возле очага и похожую на могилу, закрывая их сеном и шубными лохмотьями, она мысленно утешала себя:

«Завтра вернется хозяин, а у меня на руках — мальчик. Я новорожденному, хотя шопотом, но спою:

«Пусть будут у тебя
Табуны коней,
Душа твоя
Будет непоколебима».

Вдруг ей как бы показалось, что по животу ее ударили горячей головешкой. Разлилась огненная боль. Чаных визгливо крикнула и повалилась на голую землю. Широко раскинув ноги, она кулаками сжимала тугой живот и стонала громко. От острой боли кружилась голова. Должно быть, злой ветер обрушился на жилье: посыпалась пыль с оболочки аила, костер взлетел, словно матерый глухарь, и пролился потухающими углями... Откуда-то из темноты шел глухой старущий голос:

— Дни тяжелые: луна умирает... Долго промучится, бедная женщина.

Что-то обжигающее полилось в рот. Чаных устало открыла глаза, на искусанных губах почувствовала запах старой араки, смешанный с запахом кожи.

Старухи за руки подняли ее к аркану, протянутому через аил.

— Вот так и ходи — полегчает. Ребеночек упадет прямо на чистую земельку. Матери наши так делали.

Чаных положила трясущуюся руку на аркан, поползла к двери. Крик ее все громче и отчаянней. Нижняя губа беспомощно отвисла, словно у измученной клячи, глаза ее были полузакрыты, расслабившее тело судорожно вздрогивало, подгибались ноги. Старухи едва удерживая ее, настойчиво приказывали:

— Потряхивайся посильнее...

«Приятная жизнь... вот она, — теплилось в сознании. — Сейчас все оборвется, как гнилой аркан».

Вспомнилась жуткая смерть знакомой роженицы.

Аил наполнился мертвым запахом земли диких мест, куда увозят покойников. Чаных визгливо закричала.

Вошли еще две старухи. Шубы их были потерты, украшения с грудей пооборваны, из-под засаленных шапок тощими ручьями стекали седые космы. Вслед за ними свекор втолкнул мужа роженицы.

Чаных, ухватившись руками за живот, повалилась на спину, стон стал глупше и облегченнее. Старухи суетливо склонились над ней. Послышался незнакомый, тонкий крик, показавшийся Ярманке нахальным, и сразу же беззубое бормотание:

— Столько было бы у тебя скотинок, сколько сейчас на тебе пылинок...

Младшего Токушева трепала дрожь, зубы мелко постукивали, выкатившиеся глаза вращались дико, на миг задерживаясь то на сутулых спинах старух, то на улыбающемся лице отца.

«Родился. Завтра надо барана резать. Придут гости, имя сына будут спрашивать. И потекут у них разговоры, как ненастные дни».

Вздпятки вывалился из жилища и бесшумно прикрыл легкую косую дверь.

Жалобно и терпко скрипел снег, кто-то спешил к аилу. Парень, огибая жилье, метнулся в противоположную сторону, но на третьем шагу столкнулся с человеком, одетым в расстегнутый полушубок, козлиные кисы и лисью шапку, задорно сдвинутую на затылок. Ярманка тихо вскрикнул, давая дорогу, но в тот же миг узнал Суртаева.

— Мне с тобой надо поговорить, — сказал Филипп Иванович, поймав парня за руку.

Алтаец, будто уличенный в воровстве, робко смотрел то на ноги, то на грудь приезжего, думал:

«Вот высокий начальник: он все знает. Надо присоветоваться с ним...».

И, тяжело вращая глазами, виновато-вялым голосом спросил:

— Бабу укraсть можно?

— Как так бабу укraсть? — сочувствующе осведомился Суртаев.

— Он у меня тоже украл... теперь я хочу назад взять.

Парень почувствовал на своем лице теплый и обласкивающий, точно материнский, взгляд, легкую руку на вздрогивавшем плече и уловил до странности мягкий голос, будто перед ним стояла добрая женщина, которая знала все его беды и решила своей бабьей нежностью залить чужую боль:

— А-а, Борлай мне говорил обо всем. Только ты, мой друг, не торопись. Сколько годков на земле толчешься? Двадцатый?.. Ну, вот, ты еще совсем зелен. Жениться, да второй раз, никогда не поздно. На тебя старики по глупости твоей и так деревянный хомут одели, а ты еще в чугунный лезешь: ой, плечи, милый, набьешь.

Взглянув в широко открытые глаза парня, Суртаев продолжал строгим голосом учителя:

— Мы решили тебя, брат, в школу взять. Пора алтайцам учиться. О семье не беспокойся, — Борлай с Байрымом сделают для нее все. Согласен?

Парень покорно мотнул головой и, подумав: «Всетаки я слетаю туда и вырву ее», сконфуженно уронил:

— Ие.

— Ум у тебя светлый, но на нем, как земля на золоте, пласти невежества... Тебе, мой друг, обязательно надо учиться, много учиться.

2

Братья Токушевы возвращались домой, когда на берегах Каракола еще шумели сухие травы, а долина Голубых Ветров уже была запорошена снегом, и на землю брякнулся крепкий вазимок.

— Глубокий снег падает, зима для скота здесь будет тяжелой, — опасался Борлай. — Долина лежит высоко.

Брат, не слушая его, про себя сказал:

— Белки нынче много, а мы проездели... Завтра же на промысел отправляться...

— Надо бы, — подхватил старший брат, — но... Суртаев обещал приехать...

Курившимся — жилых — аилов на берегу реки осталось меньше половины, зато такие же жилища появились возле самого леса, куда редко забегали снежные вихри. Стало-быть сородичи твердо решили зимовать в этой долине.

Борлай с улыбкой взглянул на брата и с умыслом сказал:

— Едешь домой таким же, каким был: даже коса из-под шапки торчит, как бурундучий хвост.

— А ты заново родился, — огрызнулся Байрым.

— Я свою косу отрезал, а у тебя смелости нехватило.

— Но я курмесов не боюсь и всех тряпичных карательщиков изрублю.

В ответ ему посыпался дразнящий смех:

— Посмотрю, что завтрашний день покажет... У кого язык болтается, как овечий хвост, тот мало делает.

— Ты, ты... Дудка ты гнилая, — всхлипнул средний брат. — Без косы красив стал, как мерин без чолки.

«Ну, загорелся! Теперь изрубит. Кровь у нас от одного отца, оба мы такие горячие», — подумал Борлай, понукая Пегуху.

Утишкин аил теперь был рядом со стойбищами Токушевых. Хозяин с топором в руках ходил вокруг суковатой сушкины, сваленной неподалеку. Не похоже было, чтобы он рубил дрова. Увидев всадников, он воткнул топор в бревно и пошел навстречу.

— Заждались вас, как летнего солнышка, — заговорил приветливо. — Я тут вашим женам помог перекочевать.

Когда Борлай расседлал лошадь, Утишка шепотом сообщил:

— Недавно твоего торбока нашли мертвым. Бабы говорили: «Волк задрал». А я думаю: не волчье дело...

Токушев горестно крякнул и скрипнул зубами, но промолчал...

Карамчи с сияющим лицом встретила мужа у порога, в руках ее была большая деревянная чашка с самой крепкой аракой, которую она приберегла с лета. Арака плескалась через край. Пальцы женщины были мокрыми, а глаза влажными от радости. Борлай, из ува-

жения к жене, к домашнему очагу, сдернул шапку, запрокинул голову и выплеснул жгучий напиток в жадный рот. Утер губы шубным рукавом, хлопнулся на землю и пригласил соседа сесть рядом, потом принял от жены вторую чашку араки и поднес ей.

Карамчи, беспрерывно улыбаясь, приподняла край берестяной ляльки, показывая закутанного в овчины и обмотанного веревочками ребенка, зазвенела радостно:

— Девчонка, как богатырь. Скоро на своих ногах пойдет.

Любовно ощупала зорким глазом сонное лицико дочери, Борлай с тихой улыбкой еще раз отметил:

«Вся в меня: брови такие же крутые, нос, щеки...».

Сосед просидел до поздна, рассказывал:

— Я сегодня лиственницу суковатую нашел, хорошую!..

Заметив недоумение в глазах собеседника, торопливо разъяснил:

— Собираюсь весной ячмень сеять и лиственницей буду землю царапать, чтобы мягкой ее сделать.

Неожиданно приподнявшись, он повернулся к Борлай всей грудью, предложил:

— Давай вместе сеять. У двоих силы больше. Осенью горы ячменя соберем. Все к нам придут, поклонятся, просить станут, а мы им: «хотим дадим, хотим — откажем». Подконец уступим: «Несите белку — ячменя получите».

Токушев чубуком трубки сосредоточенно чесал под носом, говорил невнятно:

— Так, наверно, нельзя делать...

— Все так делают

— Нет, я лучше сам за белкой в тайгу пойду.

— А где ячмень возьмешь? Без толкана как жить?

— К русским поеду, на базар...

Когда взгляд хозяина, бесцельно блуждавший по айлу, остановился на курмежеках, морщины на его лице стали глубже, темнее:

«Выбросить... А вдруг что-нибудь случится? Сам я ни злых, ни добрых духов не боюсь, а ребенок как? Самый маленький дух ему горло перервет».

— Коров накупим, овец! — увлекательно продолжал Утишка, жадно поблескивая бурыми глазами.

Токушев недовольно крутил отяжелевшей головой.

— Овца плодлива. От одной распложу. Надо самим для себя все делать, или вместе для всех, — это товариществом называется. Суртаев так учил.

— Ты будешь обо всех заботиться, а о тебе никто, ну и сдохнешь, как из'езженный конь, — посмеялся Утишка, сплевывая в золу.

— Все станут заботиться. Так говорил Великий Человек нового племени.

— Племена бывают старые, а не новые. Хотел бы речку сделать, да не сделаешь. Она сама течет, также и племя.

— Есть новое племя — партия. Кто запишется, тому книжку дают, билетом называется, — горячился Борлай и, царапая чубуком трубки под носом, напомнил:

— А давно ли ты Сапога обрезал, что никаких сеоков не признаешь, о своей семье заботишься и все тут? А я забочусь не только о своей. Не будь заботы о народе, я бы и в Караколе прожил...

— Да, о своей семье... И все так, — перебил сосед. — Медведица — зверь, а в чужое логовище корм не потащит, чужих детей кормить не будет.

— Не знал я, что со зверем беседу веду.

Утишка убежал, громко фыркнув, а Борлай, проводив его проникновенным взглядом, подумал:

«Видно расстроится желанная дружба с ним. Не в ту сторону он воротит, куда я».

Крепчал мороз. Борлай втащил в аил толстую сущину и сунул в огонь. В дымовом отверстии растаял иней. Падали крупные капли. На кровати нельзя было спать: холод гнал к огню. Токушев лег на шкуру, согнувшись по-собачьи, расстегнул шубу и поднял рубашку, чтобы погреть пеструю от бесчисленных ожогов грудь. Вскоре замерзла спина, и ему пришлось повернуться. По другую сторону очага лежала Карамчи. Ночью несколько раз плакала маленькая Чечек. Борлай встал и осмотрел яму, в которой стояла люлька. Сено, лежавшее поверх ребенка, заиндевело.

Утром Борлай топором рубил землю, чтобы углубить яму — дочери спать будет теплее. Потом он привез льду с реки, а после чая занялся литьем пуль. В жестянную ложку кинул кусочек свинца и сунул в огонь. Мягкий металл вмиг растаял, точно льдинка, легко лился в пулелейку, напоминая густое молоко. Неожиданно перед ним встала Муйна, в незастегнутом чегедеке и в шапке, сдвинутой на затылок, в выкатившихся глазах ее плескался ужас, мелко вздрагивавшая нижняя губа отвисла. Она долго не могла произнести ни одного слова, а только показывала на притолоку двери и правой рукой рубила по левой.

Борлай понял, что Байрым изрубил троих карательщиков домашнего благополучия, и вспомнил недавний спор. Средний брат раньше его выбросил из головы не только уважение к баям, но и веру в духов. Он не боится курмесов, которые, по словам стариков, точно совы по ночам, летают среди кочевников. Сейчас он придет проверять, насколько старший брат верен своему слову и насколько смела его рука и бесстрепетно сердце.

Карамчи, выронив чашку, стояла посередине аила. Сношенница бросилась к ней, жалобно захныкала:

— Злые духи навалятся на нас, болезни поселятся у нашего очага.

Борлай порывисто вскочил, подумав:

«Как бы не посмеялся Байрым надо мной, да не похвастался перед сородичами, что он первый, а не я...».

Двумя взмахами оборвал ветхие куклы, круто повернулся и воровски сунул в кожаный мешок с пожитками. Не заметил, как один из грязных курмежеков упал на угли. По всему жилью распространился удущливый смрад. Токушев выбежал, оставив двери открытыми.

Возле аила Байрыма на сером, загрязненном снегу дерзко пылал небольшой костер. Брат сыпал в огонь черные крошки старых тряпок, полуистлевшей кожи, продырявленного дерева, и бормотал что-то хвастливое.

Из ближайших жилищ, запинаясь, бежали встрево-

женные бабы, недоумевающие мужики, ковыляли обезумевшие старухи, высывали носы босые ребятишки.

За спиной Борлай горько плакали сношеницы.

Огонь на снегу был задорно весел, прожорлив до жадности. Кудреватый дым взвивался выше леса, крупные искры кружились над кочевьем.

3

Властвовал «старушечий месяц» — ноябрь: дни летели настолько короткие, что старухи едва успевали обуться, а солнце ходило так низко, что старики говорили: «Куран носит его на ветвистых рогах». Конники, еще накануне, скрытно предупрежденные Борлаем, слетелись к его айлу задолго до рассвета, когда в сонной долине скользнул дерзкий удар обухом по обломку казана, подвешенному к седлу, будто колокол. Шубенки на сородичах были заплатные, опущенные нежным инеем, шапченки измызганные, за сутулыми спинами чернели тяжелые ружья с сошками, в руках — железные обломки.

— Такой гром подымем, что даже горы проснутся, — сказал Байрым, окинув всадников бойким взглядом.

Сенюш посмотрел на него и понял, что приятель его нисколько не сомневается в успехе сегодняшней поездки, сказал многозначительно:

— Всех волков прогоним.

— Всех? — усумнился тот. — Даже тех, которые на двух ногах?

— Да, даже тех... когда придет пора, — в тон ему ответил старший Токушев, слегка кивнул головой на плечистого, крепко сбитого человека в черном полушибке, подпоясанном широким ремнем. Всем стало понятно, что так сказал этот человек, впервые и неожиданно появившийся в кочевье, заброшенном за снеговые хребты. Средний Токушев посмотрел на него. Из-под курчавой баражковой шапки упрямо вырывались на лоб густые пепельные волосы крупными кольцами, весело мерцающая папироска кидала слабые лу-

чи на крупный нос, глубокие глазные впадины с прозорливыми серыми глазами, на скованные задумчивостью челюсти. Этого человека знали тысячи, во всех долинах произносили его имя,—одни почтительно, с уважением, другие с проклятием. Про него не раз говорил Суртаев. Это он заботится о бедном алтайском народе, хочет машины дать, советует не кочевать, а осесть на хороших местах и построить избушки. Это он считается старшим в горах над всем новым племенем.

«Значит, он мне вроде отца родного», — подумал Байрым.

Они поехали вниз по долине, возле леса. Толкали один другого, хлестали плетьями чужих лошадей, забегали вперед и сдерживали коней, чтобы оказаться рядом с большим гостем и послушать, что он говорит, забывали о жестянках и железных обрубках, пока старший Токушев не напоминал:

— Разве так волков пугают?

Тогда сразу взлетал шум и звон, крепкоголосый рев далеко плыл по застывшему воздуху, разбиваясь о белые вершины.

Они проехали всю долину, не встретив ни одного волка.

— Здесь, в лесу, есть долина, как чаша, укромное место, там и расположимся, — по-алтайски начал Борлай, немножко зарумянившись, подогреваемый близостью высокого гостя с таким смелым и непреклонным взглядом, проникавшим в душу спутников, подумал:

«Однако видел он людей больше, чем в лесу деревьев. Мудрости в нем, как меду в сочном цветке».

Байрым настороженно молчал, прислушиваясь к безумолчному шелесту голосов.

— Сказывали: убьешь волка, отрежь уши и власть тебе выдаст пять рублей в награду...

— Пять? Сапог по два барана дает, а шкуру, самособой, в Госторг...

— Посыльного с новостью отправлял: пусть, говорит, все знают — по два барана за волка...

— Ночью сам приехал...

— Ну? У кого он, длиннозубый барсук?

— А так, кочует... У одного посидит, к другому идет.

Толкнул брата локтем:

— Сапог в нашем кочевье...

Не заметил на лице его удивления, точно Борлай давно ждал ночного приезда, поймал горячий полуночный пот:

— Мои слова — правда: в аиле с бедняками на собрании будешь говорить — длинные байские уши все слова поймают.

Байрым мысленно согласился с братом. Разве сказанное в аиле тайное слово удержится? Жена непременно украдкой шепнет надежной соседке, а у той тоже есть верная приятельница, — и прокатится слово по всему кочевью, леса пройдет, горы одолеет. Да и кто осмелится в аиле поднять хлесткий голос против богатея, коли сквозь тонкие стенки прорывается даже слабый шорох!? Потому и поехали в лес, как бы волков гонять...

На востоке, над горами, буйно поднялась пламенная роща, вскоре из нее вспугнутой птицей вылетело солнце, держась низко над хребтами; казалось, что на снежной овчине, укутавшей землю, загорелись капли крови, будто прошли тут раненые звери, блеснули разноцветные, острые птичьи и звериные глазки.

Привязанные на арканы лошади разгребали снег, добывая сухую траву. Озорно звякнув по обломку казана, Борлай безмятежно усмехнулся:

— Пусть знают волки, что мы не спим.

Все надсадно орали и ухали такими густыми голосами, что — казалось — в плотном морозном воздухе дрожали леса.

— Даже дохлого медведя из берлоги подымем...

— А волки попрежнему будут скот резать... те, которые в аилах, — перебил Байрым, рукавом смахнул снежную шапку с камня и сел на него.

Гость, окруженный кочевниками, опустился на соседнюю колодину, заговорил твердо, будто камнем по камню бил. Когда его сильный голос обрывался, Филипп Иванович, выгнув грудь, глядя куда-то поверх

голов, старался передать не только смысл сказанного светлоглазым человеком, но и силу слов его.

Докладчик начал с далекого прошлого, когда алтайцы платили дань Китаю и ясак русскому царю.

— С отдельных малых народностей Сибири брали по десять соболей с главы семьи. Да как брали... (Он выдернул из кармана записную книжку, развернул ее). Один исследователь Алтая писал так: «Когда из Петербурга являлось указание, что меха доставляются худшего качества, чиновники начинали переписку, как будто не зная причины этого, и еще более налегали на невинных и обобанных инородцев, прикрываясь строгими требованиями начальства. До последнего времени, при неурожае зверя, лучшие меха, как соболя, инородцы покупают у купцов, что увеличивает взнос».

Он захлопнул книжку.

— А как жило в то время русское крестьянство? День и ночь работали на помещиков.

Он рассказывал подробно, приводил яркие примеры.

— У вас до самого последнего времени такими помещиками были зайсаны...

— Шло время, изменялась жизнь, — продолжал он. — Появились купцы. В книгах тогда писали: «Сибирских инородцев в сущности далеко нельзя считать полными дикарями»... Говорили: хоть вы и не полные, а все-таки дикари. Митрополит Макарий, который в Усть-Кане в четвертом году благословлял кулаков на избиение алтайцев, а в пятом году в Томске благословлял буржуазию на избиение рабочих, так прямо и сказал: «Алтай богат — народ глуп». Тогда предлагали отобрать Алтай у «дикарей». Создавали невыносимые условия для алтайца-труженика. Тот же самый исследователь писал: «Купец покупал орех по 50-60 коп. за пудовку, при чем принимается пудовка торговца, рыночная же цена ореха бывает до... 2 р. 40 коп. Белка покупается за 3 коп., а цена ей 15-20 к. Зато все товары идут по высшей цене... кумач в 18 к. аршин продается по 35-40 к. При таких условиях инородец не в состоянии выплатить долга, тогда долг переводится по рыночной цене, которая стояла в Ирбите. Потом эта цена переводится на скот. Если

калмык¹ должен 3 руб., он платит 6 руб. и должен отдать быка по третьему году».

— Верно... Чин, чин... Верно...

— Так и было... — подтверждали алтайцы, кивая головами.

— Алтай-бедняк круглый год питался корнями диких растений, русские крестьяне-бедняки ели кору деревьев, лебеду, лист смородины...

Взгляд Борлай был прикован к гостю, вдруг завладевшему вниманием кочевников, которые слушали его с сыновней доверчивостью. Вот он, забрасывая алтайцев кипучими словами, вскакивает с колодины, покрасневшие от мороза пальцы сжимаются в кулак, и рука заносится высоко, будто для сокрушающего удара по сильному врагу, серые глаза наливаются жгучей ненавистью, и крупное лицо с угловатыми скулами светится бесконечным упорством. Хотя в его русской речи много непонятных слов, но перевод казался Борлаю досадным и ненужным, он думал, что безошибочно читает все мысли высокого начальника, внезапно ставшего близким человеком. А как он знает беспресветную жизнь пастуха, словно сам вырос в убогом бедняцком аиле.

— Мы свалили царя. Прогнали помещиков, фабрикантов. Отобрали власть у баев. Как сейчас живет русский крестьянин? (Он опять сравнил жизнь крестьянства и кочевых народностей Сибири). Мы с оружием в руках установили братство народов. У крестьянина — один враг, самый жестокий, самый дикий — кулак, у алтайца, пока что кочевника — тоже один враг, самый безжалостный, самый свирепый — бай...

Он повысил голос:

— Допустим, что весной горят леса. Не затушить их одному человеку. В данное время пожаром ненависти к баю охвачены сердца бедняков, — и никакими лживыми благодеяниями он не сможет залить огня. Сейчас воля наша и поле наше...

Воспользовавшись короткой паузой во время перевода, Борлай упомянул о Япе Мултукове.

¹ До революции алтайцев называли калмыками. Это, конечно, неправильно.

— Япа уже не член аймакиисполкома: под суд отдали его, классового врага, осмелившегося пролезть в советский аппарат, — гремел сильный голос. — Под руководством компартии, рабочие, беднейшее крестьянство и кочевники отобрали власть у зайсанов и баев. Теперь нам предстоит вместе с вами отобрать у них голос, выбить силу из байских рук. И мы это сделаем...

Оратор распростер руки, словно хотел обнять всех.

— Землей будут пользоваться только трудящиеся. Лучшие уроцища, самые кормные пастища — животноводческим товариществам.

Когда спросили: «Кто желает говорить?» — Байрым поднял медно-красное лицо. Взглянув на докладчика, он сбивчиво молвил по-алтайски:

— В одиночку аил не поставишь, сосед соседа кличет: «помоги». А жеребца хорошего кто заведет из нас? Давай товарищество!

Чадили увесистые трубки. Алтайцы угощали друг друга и, сжимая черемуховые чубуки, сосали дым прилежно, задумчиво прищурив и без того узкие глаза, смотрели в пухлый снег и роняли скучные слова:

— Вместе силу возьмем.

— Умный совет достоин скорого выполнения.

— Все кочевье сговорим в товарищество.

По-свойски подавали гостю дымившиеся трубки, тянулись в раскрытый деревянный портсигар за папиросами. Перекидываясь восторженными взглядами, бросали мягко:

— Якши!

Гость на секунду подносил трубку ко рту, потом возвращал ее с улыбкой, тряся головой, повторял:

— Якши!

Всем казалось, что сидят они, старые приятели, давнишние соседи в обжитом аиле, вокруг веселого костра, а хозяин жилья — этот говорливый и заботливый человек, приехавший из далекого города, чтобы помочь беднякам направить жизнь. Глаза его излучают теплоту и уверенность.

Смачно попыхивая и глядя на причудливые кольца дыма, Борлай пытался представить себе тот день, ко-

гда он вернется в кочевье с породистым жеребцом. Это будет вороной великан со звездой во лбу, с крепкими ногами, длинным дыханием и широким шагом. Может быть, в тот же день Борлай пригонит рослого, как скала, быка и белого барана с пудовым курдюком. Ведь и барана обещает товариществу этот редкий гость, высокий начальник. Вот тогда заживет беспечно кочевье долины Голубых Ветров. Тогда не только ни одна семья не откочует обратно на берега Каракола, но будут оттуда приезжать с просьбой: «Примите нас в товарищество». Кочевье станет самым сильным в Алтае. Незаметно скользнет в вечность радостный год, — и Легуха родит стройного жеребенка, непременно вороной масти с крупной звездой во лбу и в белых чулках на передних ногах. Пьяная ревность будет бродить в его становых жилах. Выгуляется конь лучше, чем хваленные кони Сапога. Один весенний ветер, разве, осмелится поспорить с ним ревностью. Пойдет от него статное да быстроногое потомство. И тогда начнут говорить в горах: «Ни у кого нет лошадей такой крови, как у Борлая Токушева».

На этом раздумье Борлай поймал себя:

«Однако, думы мои потекли не в ту сторону?» — И попытался оправдаться. — «Все шли по хорошо протоптанной и всем известной дороге. А сейчас новое племя торчит новую тропу. Надо хорошо знать, куда тропу топтать, а то ошибиться можно».

Вслух сказал:

— Я буду газеты читать, книги читать — все узнаю...

Не заметили, как промелькнул день, обратно в долину спускались в сумерки. Забыв о звоне, перекидывались словами о необычайном собрании, о товариществе.

На солнопеке стояли вековые лиственницы. Ветер оборвал с них осеннюю, огненную хвою и разбросал широко. Снег выглядел оранжевым.

— Смотрите, тут пробежали козлы, — горячо крикнул Байрым, и глаза его сразу загорелись. Он схватился за ружье.

— Волки утнали их, — степенно добавил старший брат. — Вот волчий след...

О козлином испуге говорили белые рывины — следы прыжков, расположенные на четыре метра один от другого.

Всадники ехали к невысокому холму, похожему на курган.

— Вон они, — прошептал Байрым, взмахнув рукой.

На голых камнях волки потеряли козлиный след. Они стояли на вершине холма, неподалеку друг от друга, приподнятые морды медленно обнюхивали воздух, проверяя, откуда пахнет козлом.

Волки выглядели нарядно-лиловыми и совсем не страшными.

— Только два? — спросил гость, нашупал кобуру, расстегнул пуговицу, горячие пальцы его коснулись стали, совсем не замечая, что она холодная, почишающая.

— Нет, вон третий идет, — отозвался Борлай, указывая подбородком на подножие холма.

Гость понюкнул коня и вскоре круто повернулся вправо, намереваясь подъехать из-за леса. Алтайцы, сдергивая винтовки, двинулись за ним, дивясь:

— Неужели из такого маленького ружья можно убить волка на вершине холма?

Всем хотелось посмотреть, как этот плечистый человек будет стрелять из нагана. Глаза загорались, наполняясь охотничьей страстью, раздутые ноздри дрожали.

Подождав третьего, волки уверенно двинулись к лесу и сразу же скрылись за камнями.

Борлай махнул рукой, чтобы конники огибли холм справа, и сам помчался впереди всех.

Услышав шум, волки выбежали на каменный гребень, и, оглядывая долину, выясняя, куда лучше махнуть, на секунду застыли. После тонкого визга первых пуль они прыгнули влево, уходя от ружейной трескотни. Передний споткнулся о что-то, припал, но сразу же поднялся и потянулся к лесу, чуточку отставая от остальных.

Алтайцы следили за человеком, приехавшим из города. Умеет ли он метко стрелять? Недалеко от леса рассвирепевший конь, на котором скакал он, почти на-

стиг зверя. Три торопливых, один за другим, выстрела.

— Маленькое ружье, а голос страшный, — отметил Байрым, и, опустив взгляд на снег, хлестнул лошадь плетью, бросив:

— Один ранен... красные капли... Все больше и больше...

«Теперь не вернется, пока не приторочит зверя к седлу», — подумал Борлай.

Волки, нырнув в лес и подымаясь на хребет, скрылись с глаз, снег потемнел, следов не было видно, одна красная цепочка из свежих капель крови выдавала путь зверей. Всадники миновали лес и остановились на невысоком перевале.

— Ранен на смерть: далеко не уйдет, — сказал гость, глядя в глубокую падь, куда убежали волки.

Байрым, всей грудью касаясь гривы лошади, скакал туда. Все остальные, проводив его взглядами, повернули назад.

— Окружить бы их в долине, в лес не пустить, — начал Сенюш.

— И не пустили бы, если бы заранее подготовились: одни туда, другие — сюда, — сказал Борлай. — Он тоже зверь хитрый.

— Много юни у вас скота порезали? — спросил гость и, выслушав жалобу, посоветовал: — Самое лучшее — весной их брать, целыми гнездами. Прямо с корнем рвать...

4

К стойбищам подъезжали с гулким звоном, громом, хриплым уханьем.

Аилы — непотухающие вулканы — курились бойче и приветливей. Мощные струи дыма теперь казались наряднее, веселее и как бы шуршали, будто тончайший шелк.

Раздосадованный Утишка, до упоения любивший шумную погоню за волками, встретил Борлая у коновязей и заговорил тоном приятеля, словно никакой размолвки между ними не было:

— Не ждал я, друг, что ты не позовешь меня. Не то я безлоша́дный, не то хилый. Беду надо сообща отгонять.

А в ответ ему нарочно громкое:

— Товарищество!.. Породистый жеребец... Все заговорят о нас. У нас будет сила! У нас, а не у баев. А сила камень ~~ю~~рушит.

Утишка недоверчиво уставился в горевшие глаза Токушева, развернул плечи, как бы бодро отряхиваясь, неторопливо переспросил:

— У товарищества будет породистый жеребец? Тогда и меня считай в товариществе. Я давно об этом думал.

Уронив взгляд на землю, он внезапно притих и, подумав о чем-то, угрюмо бросил:

— Сапог звал меня в свое товарищество, но я прогнал его: зубы у старого больно длинные, ходу никому не дает.

Украдкой взглянул на Борлай, а тот вспыхнул:

— В какое товарищество звал?

— У Сапога свое товарищество. Нам надо свое...

— Где он сейчас?

— Домой уехал, — отвечал Утишка и, хитро прищурив острые глаза, шепнул: — Таланкеленг к нему записался.

Борлай, стиснув зубы, длинным чубуком задумчиво почесал верхнюю губу.

У своего очага он долго шептался с гостем, который кидал на всех изумительно спокойный и поучащий взгляд, как будто он все предугадал заранее. После этого старший Токушев, позвав с собой Ярманку, отправился к Таланкеленгу.

В аиле стоял полумрак. Двухаршинные кругляши горели лениво, не потрескивали, а шипели, обволакивая теплый казан смрадным дымом. На женской половине копошилась расплывчатая и, казалось, косматая фигура. Присмотревшись, Борлай понял, что там хозяйка от огромной льдины откалывала твердые, как сахар, кусочки и, не оглядываясь, кидала в казан. Из-под шуб, с низкой кровати сыпался бесконечный храп, — то похожий на гневное рычание потревоженного зверя, то на заманчивую воркотню тетерева. На муж-

ской половине лежала трубка, засунутая в кисет из жесткой кожи, похожий на лопаточку. Усевшись не подалеку от огня, старший Токушев украдкой выдернул из-за голенища найденную когда-то трубку и взял хозяйственную.

«А-а! Ночь и та улетает, а тайна, как птица, сидит — сидит, да и вспорхнет: все тут и откроется», — мысленно произнес, тщательно осматривая трубки, и через плечо бросил брату шепотом:

— Собирай народ сюда.

Хозяйка, спрятавшись за рваную занавеску, тряслася мужа за плечо, сдергивала с него шубные лоскутья.

Борлай переменил трубки.

— Ай, сосед, худо делаешь, — пробубнил Таланкеленг, зевая и протирая глаза кулаками. — Почему не позвал меня волков гонять?

— Ты спал, как медведь в туманные морозы.

— Будить надо было. Я — твой друг. Друга забывать — это очень худо.

— А мы, друг, животноводческое товарищество делаем, — едва сдерживаясь, промолвил в тон хозяину и кинул в его заспанные глаза прощупывающий взгляд. — Ты пойдешь к нам? Жеребца бесплатно дадут...

Таланкеленг засунул руку под шубу и осторвленело чесал левый бок.

— Не знаю... думать надо.

— А Сапог у тебя не был? — холодно спросил Борлай, набивая трубку, брови его упали на глаза.

Вошли соседи, недоуменно осмотрев аил, усаживаясь на голую землю, о носки кисов выбивая пепел из трубок.

Вбежал Байрым, жалуясь:

— Два волка ранены и оба ушли далеко. Отемнал немного... Но завтра я их обязательно выслежу.

Хозяин смущенно сутился, добавляя дров в костер, бормотал не своим голосом:

— Большой Человек проходил мимо... В свое товарищество звал...

— И ты, конечно, записался?

Чувствуя на своем раскрасневшемся лице острый взгляд Борлая, Таланкеленг растерянно ответил:

— Нет еще... говорил только.

Вошли еще двое. Вспомнив заповеди гостеприимства, хозяин схватился за трубку, чтобы угостить соседей, которые неизвестно зачем пожаловали в такую позднюю пору.

— Не ври. Я знаю, что ты записался, — гневно рявкнул старший Токушев. — На твоей поганой голове выросли уши бая, а на туловище — байские руки. Кто каждое наше слово к Сапогу тащил? Ты. Кто аилы ломал? Ты.

— В гости пришел и ругаться начал... — обиженно пропищал хозяин.

— Я в гости к таким бессовестным людям не хожу. Ты — падаль. Ты — байский вонючий хвост. Мы тебе близ нашего кочевья проехать не дадим, а не то, что жить здесь.

Соседи неловко переглянулись.

Страясь сохранить спокойствие, хозяин взял головешку и стал прикуривать. Головешка описывала мелкие круги. Все думали, что он вот-вот обожжется. Запахло подпаленными усами.

— Я — брат ваш...

Борлай гневно перебил его:

— Ты — кровожадному волку брат. Из какой трубы, щенок, куришь?

Он выхватил трубку из зубов Таланжеленга, вторую достал из-за своего голенища, обе положил на руки, простертые к народу:

— Смотрите все... Одна его, а вторую я нашел у развороченных аилов, — помните? — тоже его.

Трубы полетели из рук в руки, их торопливо ощупывали, меряли и осматривали каждую царапину.

— Одними руками деланы, одним ножом резаны, — бросил Сенюш, сверкнув глазами, полными ненависти и презрения.

— И на ноже щербинка, — рявкнул Утишка, подвигаясь вперед широкой грудью.

Хозяин облизывал вытянувшиеся губы, смотрел в огонь, острые плечи его ходили, брови шевелились, точно лохматые гусеницы на былинке. Наконец, он низко опустил голову и, как бодливый баран, толкая

людей, бросился к стропилине, на которой висела винтовка.

— В гости пришли, а сами ругаться... Я... я покажу волка...

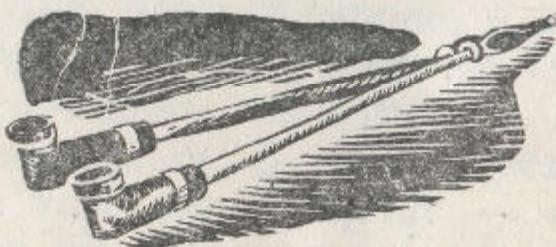
Он задыхался, хрипел.

Утишка с размаху опустил на его плечо тяжелую руку и толкнул его на землю, взревев:

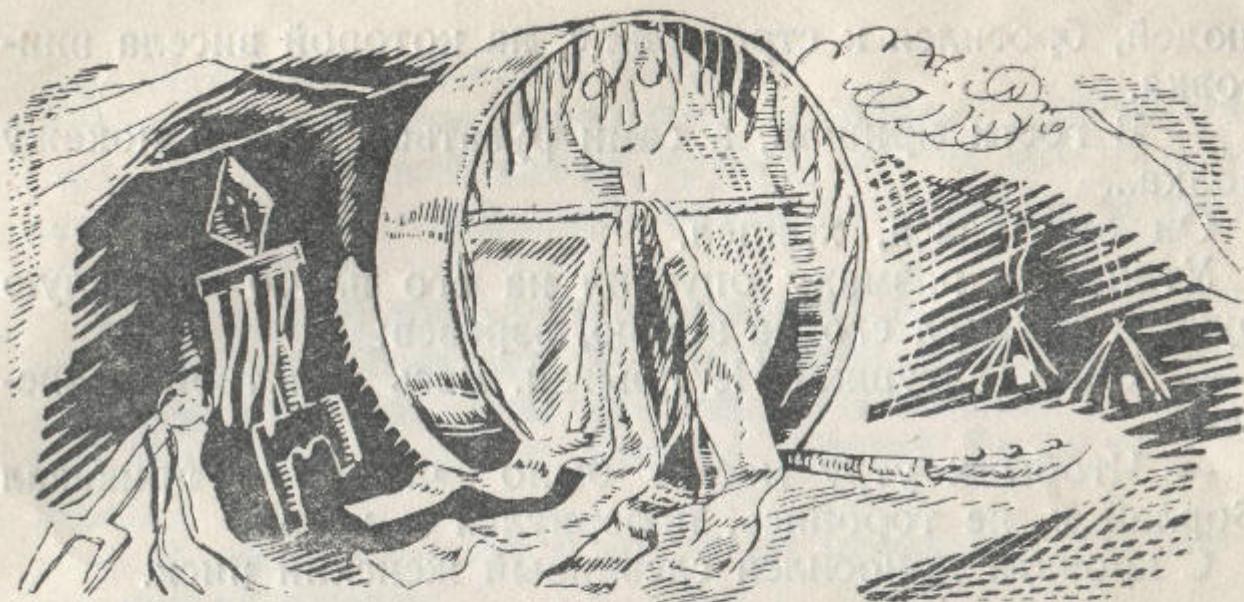
— Сиди, лягушка! Не прыгай. Весь аил твой разнесем.

— Чтобы к утру место было чисто, — приказал Борлай и, не торопясь, повернулся к двери.

С кровати доносился слезливый женский писк.



КАМДОЯ АЛЫТ



ФЕОНОЗОСКОМЕЗС

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Привязав лошаденок, завьюченных убогим домашним скарбом, Таланкеленг несмело толкнул плечом тепловые ворота. Он держался так настороженно, что при первой опасности готов был метнуться по-заячыи и скрыться в лесу. Тяжелые ворота растворились с трескучим скрипом. Помнится, с таким треском ломались кости и рвались сухожилия лошадей, которых живьем

раздирали в жертву богам. Голос хозяина, когда он узнает о случившемся в долине Голубых Ветров, будет таким же ожесточенно скрипучим.

Двор был чист, как тонкий лед на спокойном озере. Во всех направлениях по нему медленно проплывали работники. У толстых столбов, свернувшись, дремали лохматые псы. В первую минуту никто не заметил нежданного посетителя, боязливо озирающегося по сторонам.

Вдруг из-под сарая рассерженным хорьком выпрыгнул старик, он так трясся, что, казалось, его подергивали за сивую бороду. Размахивая кривым зубом от конных грабель, он харчал:

— Кто сломал? Сказывайте, зверье паршивое...

Двор вздрогнул. Шаркая козыми кисами и застызшими обутками, побежали работники всяк по своему делу, залаяли собаки, уставив морды в небо.

— Все без мяса останетесь, коли не скажете.

Таланкеленг, с'ежившись, попятился к воротам.

«Уйти бы незамеченным. В худое время попал: теперь у него рука тяжелая и сердце — обледеневший камень», — думал он, царапая ворота за своей спиной.

Острые глаза Сапога ухватили его.

— Ты куда ползешь? Что опять напакостил? — крикнул он, потом мотнул головой на белую юрту. — Пойдем.

Шагал широко, твердо и через плечо кидал Таланкеленгу, тащившемуся на почтительном расстоянии:

— От меня ни в какой норе не скроишься. Мой глаз все твои мыслишки распутает. Я сердца своего народа насквозь вижу...

Утепленная к зиме юрта до самого дымохода была обвита новыми кошмами, а изнутри обвешана коврами. Нога тонула в медвежьих шкурах.

«Последний раз перешагиваю порог Большого Человека», — подумал Таланкеленг, лицо его стало маленьким, морщинистым, на месте глаз — щелочки.

Хозяин ловким звериным броском повернулся к нему:

— Говори, гнилая башка.

— Я тут ни в чем не виноват... Он сам догадался. Я не виноват... трубку потерял... Не виноват... Он трубку нашел...

— Трубка, трубка... Сам ты — трубка осиновая.

— Я не виноват, — чуть слышно бормотал Таланкеленг, дрожали поднятые к посиневшему лицу руки, готовые закрыть глаза от удара.

— Собаку кормят, так от нее все-таки польза есть: двор стережет, на охоте зверя следит. А от тебя какая польза? Какая польза, спрашиваю?

Молодой хотел еще что-то молвить в свое оправдание, но старик крикнул с визгом:

— Ты хвоста собачьего не стоишь, а я тебя в товарищество свое записал, думал, что от тебя польза какая-нибудь немудрая будет. А ты все мои капканы сбиваешь.

Он взмахнул растопыренными руками, как медведь лапами.

Таланкеленг заикался, силясь вымолвить хотя бы одно слово.

— Борлай догадался, — продолжал Сапог, злобно передразнивая и потрясая кулаком. — Это хитрый зверь: его в простую ловушку не поймаешь. Я тебе говорил, с умом ставь, с жирной приманкой, чтобы у него ноздри рвало.

Искривленные губы дрожали, обнажая мертвенный осколок длинных зубов. От застывших глаз летел пронизывавший холод, будто от зияющих стволов заряженных ружей. Таланкеленг трепетно опустил взгляд и попятился к выходу.

— А я все-таки пообломаю рога этому козлу, — снова заорал старик, проносясь по юрте. — Я скручу его, как сыромнатый ремень. Будет лето, будет солнце, только не для Токушевых...

Метнув взгляд на алтайца, рявкнул:

— Чтоб нога твоя не бывала близ моих ворот.

Мимо него пронесся в глубь двора, — и оттуда донеслось:

— Коня! Коня давайте, сопливые бараны.

Таланкеленг бесшумно перевалился через порог и во весь дух побежал к воротам, часто наступая на по-

лы длинной шубенки, спотыкаясь и падая. Отвязал лошадей и разбитой походкой направился к лесу, в котором стоял его летний аил.

В эту минуту Таланкеленг походил на косолапого мальчишку, который первый раз неуверенно шагал по земле. И так ему было горько, так безотрадно!.. Будто отца родного и ласковую мать потерял и, вдруг, очутился один в незнакомом месте, а кругом лес шумит, горы стонут. Теперь нет у него добродетеля. И народ, заметив это, отвернется от него. Куда пойти?.. Казалось, еще шаг — и бездонная пропасть.

Вот и снег в лесу до пояса, а он все бредет и бредет, проламываясь, ничего не замечая. Все случившееся, как сон. Поскорей бы проснуться, чтобы снова почувствовать себя как бы другом главы сеока Мундус, Большого Человека — Сапога.

Все произшедшее с ним невероятно, но это все-таки не сон. Посиневшие губы его прошептали:

— В самом деле, что я такое? Ничто. Большой Человек правду сказал: на месте головы — трухлявая трубка.

2.

Нахлестывая коня длинной плетью с серебряной рукояткой, Сапог Тыдыков выехал за ворота. По лицу его все еще проплывали красные, синие и белые лопухи, но разговаривал он сам с собою уже спокойно.

— Есть такие лиственницы, которые всем ветрам доступны, многие столетия возвышаются они над землей и никакие ураганы не могут повалить их. И не смогут. Наоборот, с каждым годом они все крепче, смолистее и звонкостволовее. И меня не свалят. Не свалят.

Голова поникла в задумчивости. Зоркоглазый конь перешел на крупный шаг.

«Нынче год несчастливый... В два дня столько не приятных новостей. Беды сыплются на мою голову, как из разорванной сумины. Япу Мултукова арестова-

ли и увезли в город, хромой дурак — Аргачи, даже не побывав у меня, своего хозяина, уехал в какую-то школу... Учиться, видите ли, им, глупцам, надо. Борлай открыл дела этого безголового Таланкеленга... И, в завершение всего, высокий начальник из области приехал прямо к Токушевым, собрал бестабунных да бескоровных и с ними поехал в горы волков гонять... Знаю я — каких они волков гоняли там».

Хлопнул руками по бедрам:

«Какая-то непонятная сумятица. Один Говорухин мог бы растолковать в чем тут дело, но его не вовремя унесло в город. В один день я потерял и Аргачи, и Таланкеленга... Это равносильно потере пары лучших собак на медвежьей охоте. А зверь только еще подымается из берлоги...».

Взмахнув руками, Сапог прохрипел:

— Свалить меня хочет. Не свалит. А я свалю его. Свалю.

Конь покосился на седока и снова побежал резвой рысью.

— С'езжу к Копшолаю, к брату Мултуку и вместе... Вместе? А зачем они мне?

В раздумье натянул поводья.

— Я — глава сеока Мундус, а не Копшолай. Один свалю десяток таких, как Токушевы. В этих делах — чем меньше людей, тем спокойней.

Повернув назад, он вдруг остановил взгляд на маленьком аиле Анытпаса и удивился, как это раньше не додумал всего о роли этого человека.

— Он в моих руках, как плеть: кого хочу, того и бью. Он заменит и Аргачи, и Таланкеленга...

Под редкими усами всадника пламенела улыбка.

— Зачем я женил его?.. За Яманайкой потнался? Нет, Яманаек и без этого для меня достаточно.

И он, довольный самим собою, заулыбался.

— У Сапога глаз наметанный, сердца людей своих насквозь видит и мысли в головах их легко читает.

Вспомнив о болезни Анытпаса, он спокойно заключил:

— Во время болезни еще лучше... Только Шатыя позвать...

Круто повернул в сторону фиолетовой сопки, где жил шаман Шатый.

— Одного свалю — молва пойдет по всем горам: сердчишки затрепещут, как листья на осине. Да!..

Достал монгольскую трубку, постучал о серебряную луку седла.

3

Лошади паслись на горах, разгребая мягкий снег. Вместе с табунами кочевали пастухи, ночуя около костров. Иногда они уходили за тридцать километров от Каракольской долины. Разва четыре в месяц спускались за табаком, солью, чаем и толканом.

Теплый дождик в конце ноября захватил их вдали от Каракола. Всю ночь они вертелись около костра, подставляя то один, то другой бок, но к утру рваные шубы их были мокры до последней шерстинки. Перед рассветом с ледяных вершин свалился ветер и разметал серые тучи. Над горами повисло бледное, как лед, небо, запорошенное звездами. Вскоре снег отрубел и потрескивал под ногами, словно, хрупкое стекло. Над землей поднялся белый туман, деревья оделись снежной корой. Шубы на пастухах застыли. Костер не спасал от дрожки. Пока правый бок, повернутый к огню, оттаивал, левый снова леденел. Острые иглы ветра прокалывали шубы и вонзались в тело.

Через два дня Анытпаса привезли домой на жердях, притороченных к седлам. Глаза больного были закрыты, на корявых щеках выступил болезненный румянец, на рассеченных морозом губах засохла кровь.

Увидев больного мужа, Яманай понурилась, осунувшееся лицо еще больше побледнело, заострившиеся плечи подергивались, широкий и длиннополый чегедек казался небрежно наброшенным на два острых кола, когда-то стройная фигура ее теперь напоминала волчье пугало. Она исхудала и высохла, будто пережила годы тяжелых лишений, бессонных ночей. Обругав себя за малодушие, она подумала:

«Убежать бы тогда, в первые дни после свадьбы, когда Анытпас, соблюдая обычай, не подходил ко мне. Теперь жила бы в новом аиле, на тихом месте, с Ярманкой... Он бы козлов промышлял...».

Она так бы и сделала, если бы в сердце не возникло сомнение в преданности парня. Она пыталась утешить себя:

— Он приезжал за мной во время тоя...

Но в ту же минуту она, уронив голову, завыла:

— Может быть, тогда был не он, а кто-нибудь другой. Не приехал ни летом, ни осенью, значит я ему не нужна. Пожалел ту старуху и решил жить с ней, пока не похоронит ее.

Шумно вздохнув, женщина прошептала:

— Он останется в моем сердце навсегда.

Лицо ее налилось ярким румянцем, в глазах на одно мгновение вспыхнули огоньки.

Анытпаса уложили на кровать, откинув занавеску. Желтая, сухая рука его царапала прудь, будто он хотел вырвать мучительную боль. Дыхание у него было редкое и тяжелое, с глухим хрипом, словно у загнанного зверя.

Взглянув на него издалека, Яманай подумала с трепетным предчувствием:

«Не выживет. У него нет родственников, которые после его смерти потащили бы меня к себе, я останусь свободной, уйду к отцу. Хотя редко, украдкой буду встречаться с моим розовощеким...».

Вечером больной открыл помутившиеся глаза, медленно обшарил аил тупым взглядом. Потом он умоляющее остановился на равнодушном лице жены и протянул трясущуюся руку, прохрипев:

— Воды...

Яманай до боли в висках стиснула зубы, остро почувствовав, что не сможет посмотреть в упрашающие глаза человека, смерти которого она только что желала. Непонятная сила подняла ее с земли и поставила у кровати больного. Поднося мужу чашку холодной воды, она украдкой взглянула на необычайно толстые губы с глубокими трещинами и отметила, что у него неприятно большой рот и острый лоб.

Больной выронил чашку, — вода потекла в очаг, — с горечью вымолвил:

— Покамлать бы...

Он смутно помнил слова матери, слышанные в детстве:

— Потребуется Эрлику, злому богу, слуга или лошадь, вот и начнет он человека мучить: болезни всякие насыпает, пока не сомнет облюбованного. Но Эрлика можно обмануть: покамлать и взамен больного человека отдать ему белого коня, который не знал ни седла, ни узды.

Хорошо бы покамлать теперь, но где взять такого коня, чем заплатить каму? На горячем лбу больного собрались тонкие складки. К концу второго дня, когда Анытпас почувствовал, что крепчает огонь, разливающийся по всему телу, он, задыхаясь, попросил:

— Сходи к Большому Человеку, поговори с ним... Он добрый, сердцем мягкий...

Яманай, не дослушав мужа, вышла из аила, постояла на лужайке, глядя на белые горбы гор, за которыми, как говорили ей, лежала неведомая для нее долина Голубых Ветров, и, вернувшись, неприязненно бросила:

— Его нет дома.

Теперь Яманай спала по-девичьи — на голой земле, возле огонька, но сон ее был тревожен. При самом тихом стоне больного она вскакивала и, поднося ему чашку теплой воды, мысленно произносила:

— Человек ведь все-таки...

Ранним утром в аил вошел Сапог, а за ним Шатый со слугами — беззубыми, дряхлыми стариками, с трясущимися сухими мордочками, ввалившимися глазами. Яманай вскочила и, поняв повелительный взгляд старика, ушла из жилища. Анытпас приподнял голову, намереваясь сесть. Лицо засветилось, будто солнечный луч упал на него. Он с глубокой благодарностью, бескрайней преданностью и повиновением смотрел то на хозяина, то на Шатыя, веря, что от них зависит его выздоровление.

Сапог сел возле кровати и заговорил заискивающе, мягко, словно болезнь пастуха тронула его:

— Сильно ломает тебя, мой послушный сын?

Анытпас бессильно уронил голову на войлочную подушку, облизал сухие губы, широко открыл рот, а сказать ничего не мог, только ладонью потер грудь и тихо простонал.

— Мне сказали, что ты три года не камлал — доброго бога прогневал, а злого растравил.

Тыдыков добавил дров в угасающий костер, заговорил по-отечески, строго:

— Эрлику камлать надо, дружок, обязательно. Возьмет он тебя к себе в слуги, коли не умилостиши. Слышишь?

Больной широко открыл рот и долго мычал, силясь что-то вымолвить.

— Коня для жертвоприношения, говоришь, нет? — заботливо спросил хозяин, поблескивая лисьими глазами.

Анытпас резко кивнул головой, будто у него вдруг переломилась шея, и опять что-то промычал.

— О добром человеке душа моя стонет, сердце болит, когда вижу единоплеменника в несчастье, — продолжал Сапог, приложив руку к своей груди. — Коня дам. Сам Шатый будет камлать тебе. Хотя и тяжело зимой к Эрлику опускаться, но старик согласится. Я сам попрошу его...

Веки больного сомкнулись, на щеки скользнули мелкие слезинки надежды и благодарности.

Хозяин закончил, строго погрозив пальцем:

— Только ты не будь таким бесстыжим, как Аргачи и Борлай... Знай, что у покорного человека табун в пятьдесят коней будет.

В открытые двери посмотрел на Яманай, задерживая взгляд на ее груди.

Женщина вздрогнула и, поняв его, ссупулилась, закрыла грудь руками.

Сапог встал, повернулся с сознанием своего величия и пошел с высоко приподнятой головой, как будто исполнил важный долг.

Старики одели на Шатыя пудовую шубу, к которой были пришиты колокольчики, железные обломки, разноцветные ленточки, ремешки и крылья фи-

лина. Потом они долго грели над костром размалеванный кровью бубен, чтобы сильнее гукал и хохотал злывистей.

4

Шатый принял из рук старого прислужника разогретый бубен и, постучав в него над огнем, дико запел:

Каменный очаг не покачнется,
Огонь будет жарким...

Потом он встал в воинственную позу, вскинул бубен выше головы и потряс им.

Облачноглазый Бура-хан!
Би-кижи, имеющий ледяные ноги!
Бай-Бура, имеющий облачные глаза!
Златогранный мой Ак-Яик!
Трехрогая черная скала — Алтай мой!

После этого юн обратился за помощью к давно умершему предку, самому знаменитому каму.

На высоте вечности зимующий!
Прозванный Синей Ясностью!
Признанный небесным!
Омывающийся в Алтын-Коле,
Мой прадед Чочуш!
Помоги мне.

Убогий аил в глазах больного заколыхался, словно полы широкой шубы на юголтелом ветру, и подымался все выше и выше. Где-то зловеще ухали филины, да тревожно колобродили бубны.

Возле кровати приземистый человек орал, как бык на коровьей крови, то приседал, то высоко подпрыгивал и размахивал руками, стало-быть дрался с кем-то сильным и ловким. Пухлые щеки его вздрагивали, будто пузыри, под слезоточивыми глазами, заключенными в красные стручки воспаленных век, висели свинцовые мешки дряблой кожи.

«На коуром гусе полетел кам к Эрлику, — подумал больной. — У гуся лошадиные уши, в ушах золотые

серьги, а в хвосте стрела. Летит он быстрее молнии. Вот сейчас откроются золотые ворота горы Уженю и Шатый улетит под землю...».

Стая глазастых филинов, — все ближе и ближе. Солнца не видно. Темным-темно. Только иногда злобно сверкнет огненный глаз пернатого великана с лошадиными ушами. С бубна сыплются искры.

Ездишь ты на темно-мухортом коне.

Спиши на постели из черных бобров...

«Это он восхваляет Эрлика. Сейчас начнет упрашивать».

Шаман крутился волчком, ухал, словно пугал кого-то...

С новой силой захлопала крыльями стая филинов. Зрачки больного тихо закатились куда-то под лоб, веки сомкнулись. Земля вздрогнула, словно испуганная лошадь. Разорвав серую кошму тумана, поднялась, блестя голубыми льдами, гора. Какая же это вершина? Никогда не видел такой. Может быть это та самая небесная гора, на которой живет добрый бог Ульген? Фиолетовые шубы, шелестя тонким шелком, легли на белые камни. И вдруг из-под них поднялась голова хозяина.

— Я — твой отец родной. Во мне кровь самого Мундуса. Я болею за тебя и помогу тебе, только ты не будь неблагодарным, — упрашивала она.

Издалека, громыхая сокрушающими вершинами, катился гром. Взлетали огненные бубны и таяли в воздухе. И опять откуда-то налетели огромные, как сопки, морды филинов, послышалось потрясающее ухание и тот же бычий голос:

— У Эрлика сдох лучший конь. Бог взамен этого коня сначала облюбовал Борлай, но потом ты больше поглянулся ему. Не знаю, упрошу ли. Шибко тяжело. Наверно, возьмет тебя сердитый Эрлик.

Больной с отчаянием открыл глаза. Ему показалось, что старые лиственницы склонились над айлом и шепчут сотнями голосов:

— Эрлик с'ест. Эрлик с'ест.

Он силился уверить себя, что это ветер шелестел



лохматыми вершинами кедрачей, то острый шепот
попрежнему до боли щекотал уши:

— С'ест. С'ест.

Анытпас замахал руками, обороняясь от жадных
филинов, повернулся на бок; падая с кровати, хри-
пел:

— Нет, нет...

Старички подхватили его и кинули на постель. И
тотчас же снова показалась стая филинов. С треском
взвилось бледное пламя и на один миг закрыло полу-
вину неба. Запахло жженым пером. Анытпас знает,
что это горят перья большеглазых филинов. Так им
и надо, не будут ухать.

Все исчезло, когда опять полился знакомый голос,
утешая:

— Шибко сердитый Эрлик сегодня: так стучал ло-
шадиными копытами, что железный аил его задро-
жал. Черный остров два раза в Черное озеро погру-
жался. Гнев Эрлика сыпался на меня потоками искр.
Ты наверно в это время слышал грозу? От ресниц
моих не осталось ни одного волоска. Из обожженных
глаз моих лились густые, словно кровь, слезы.

Кам вздохнул облегченно, слизнул пену с губ:

— Еле умолил. Согласился Эрлик взять вместо гебя
другого... отступника от старины... изменника сеоку
Мундус... поганого Борлай.

В голове сразу стало ясно, ясно. Большой слегка при-
поднялся. В глазах затеплилась надежда на выздо-
ровление, жажда жизни.

Шатый согнул руки так, что казалось держал неви-
димое ружье:

— Пук и только. Не будет изменника.

Наклонился к больному, обнадеживающе посмотрел
в глаза.

— Никогда не будешь хворать.

Тогда Анытпас впервые почувствовал с особенной
остротой, как ему хочется жить. Теперь у него и аил
свой, и жена есть, еще немного и свои кони будут.
Большой Человек так добр, так заботлив...

— Не хочу умирать. Сделаю все, — устало мял пла-
менные слова вздувшимися губами.

Старички подбежали к шаману, неся ему тажаур с водкой и большие куски горячей конины.

5

Ночью глухо стонали горы.

Яманай металась по освещенной комнате — то закрывала глаза, то затыкала уши. Ей казалось, что за дверями злобно выла голодная волчья стая, а по закрытым ставням кто-то с огромной силищой бил камнями. Звери разъяренно царапали пол, зубами рвали щепы от дверей. Сейчас они ворвутся сюда, а у неё нет ничего кроме тупого ножа. Затрешат кости, кровь польется лесным ручейком. Над потолком беспрерывный звон и хруст, словно кто-то каменный толчется на крыше и скоро провалится в комнату.

Женщина вздрагивала и крепко сжимала руками челюсти, чтобы не стучали зубы. Много гроз видела она. Однажды черная туча застала ее на вершине горы, скалы дробились от грома, огненные бичи исхлестали все небо, но и тогда ей, притулившейся под суковатым кедром, не было так страшно, как теперь. Наверное, пламенные потоки заливают небо, бьют в высокие деревья, раскалывая на щепы, и вот-вот удариет в крышу двухэтажного дома. Такая гроза среди зимы, значит она немилостивая, и вряд ли Яманай выйдет живой из этой клетки, в которую нивесть за что заперли ее. Никогда она не увидит круглолицого парня, не почувствует на своих щеках его горячего дыхания. Если бы попрежнему жила в аиле, то распахнула бы двери и посмотрела, что происходит в долине, а отсюда не выглянешь: в сенях темнота, да и лестницу, кажется, разметал ветер-быстроход.

Глаза ее были широко открыты, зрачки расширены, в щеках — ни кровинки, посиневшие губы подергивались.

Иногда она бросалась к больному, вытянувшемуся на железной кровати, хотела спросить, за что их перевели в теплый дом, где немудрено задохнуться, но Анытпас лежал без движения, закрыл глаза, и только на груди его тихонько приподымалась шуба.

— В самом деле, почему вдруг такая милость? — вслух спрашивала себя, чтобы отвлечься от мучительных дум о последней грозе. — До камлания полгода ни одного куска мяса не видела, а теперь хозяин каждый день присыпает по бараньей лопатке. Почему он вдруг стал таким щедрым?

Каждый раз, принимая мясо из рук старой алтайки, гнусавившей: «У Большого Человека о вас день и ночь заботы, болезнь твоего мужа сердце его тревожит», Яманай чувствовала, что у ней дух захватывало от непонятного страха. Казалось, шагни она еще раз, — и бездонная река проглотит ее.

«Говорят: кто сначала подарит, тот после обдерет», — думала она, содрогаясь. Неприятная робость так овладела ею, что она не могла вымолвить ни одного слова против Большого Человека.

Она прикурнула в уголке, подложив обе руки под голову, стиснула зубы и крепко закрыла глаза, стараясь уверить себя, что ни о чем не будет думать, но в голове разгоралось:

— Почему такая милость?

Стремительно текли обжигающие думы:

«Мать говорила, что есть такие волки, которые овечьим голосом поют, подманят ягненка — и свернут ему шею».

Женщина закрыла лицо рукавом, закусила нижнюю губу.

Громовые раскаты все сильнее и сильнее. Теперь бы в аил убежать: там и одной не так страшно, как здесь. Казалось, горы поднялись и валятся на дом.

Вдруг — чьи-то шаги. Яманай проворно вскочила и прижалась в угол, отвернувшись. Сейчас волчья стая разорвет смельчака.

Мерно постукивая обмерзшими кисами, вошла старая алтайка с вытекшим правым глазом и тощими серыми космами, торчавшими вокруг засаленной шапки, сшитой из продыряженной овчины. В тихом шепелявом говоре ее слышалось лукавство:

— Пойдем со мной, краса голубых долин. Большой Человек тебя зовет.

Старуха принесла с собой свежий запах снега и

пьяных ветров, всегда ощущаемый в аилах во время шумных буранов. Яманай почувствовала в душе минутное спокойствие и смело двинулась за старухой, размышляя:

«Он — голова сеока Мундус и всем нам — отец родной, потому и заботливый».

Перешагнув порог, она, боязливо озираясь, смиренно начала:

— В аил нас, назад. Здесьшибко стра...

Она не договорила. К ней приближалась расплывающаяся масляная рожа Сапога, с жадной усмешкой на сырых губах, с противно трясущейся бороденкой и осовевшими глазами. Он, сгорбившись, шел с распростертыми руками, готовыми схватить в любую секунду. Полы расстегнутой шубы волочились.

Яманай увидела его дряблый живот, обросший черной шерстью, и еле перевела дух, в груди ее оборвалось что-то тяжелое, сердце похолодело, руки опустились, будто перебитые.

«Он как бы отцом родным считается... Ему нельзя с женщинами своего сеока», — пронеслось в ее сознании.

Старуха, ехидно ухмыльнувшись черной пастью, погасила лампу и юркнула в сени.

В темноте еще сильнее застучали разбитые ставни, задребезжали стекла, словно злые птицы бились о них, норовя проникнуть в комнату, в трубе тонко заголосила волчья стая. Яманай стояла не шелохнувшись, как окаменелая. Цепкие когти схватили ее за грудь, затрещал новый плис чегедека, треснули костяные пуговицы, посыпались бусы и серебряные монеты.

«Старуха всем расскажет», — подумала Яманай. — «Один дурак Анытпас не услышит об этом и не поймет тайных насмешек надо мной, несчастной, беззащитной. А Яманка непременно услышит и постарается никогда не встретиться со мной. Я буду безутешно искать его».

Она в душе горько посмеялась над собой. Если бы не малодушие, которое иногда овладевало ею, она еще из отцовского аила убежала бы к Токушеву и

теперь жила бы с любимым и любящим. В такие минуты она с трепетом шептала: «Ярманка одного сеока со мной». А этот беззубый старик тогда ей казался самой справедливостью.

— Я из сеока Мундус... нельзя, тебе нельзя меня... — в отчаянии крикнула она, отталкивая тяжело дышавшего старика.

Мысленно убеждала себя:

«Надо быть смелой... глаза выцарапать... Сейчас же убежать и все рассказать Ярманке».

Железные руки, обхватив ее, до боли стиснули грудь. Старик, сопя, яростно подминал ее под себя..

Яманай вдруг показалось, что где-то рухнул потолок и лохматый зверь, топтавшийся на крыше, камнем навалился на нее. Ноги скользнули по крашеному полу. Пронзительный крик оборвался...

За стенами дома крепчал ветер, буйствовали невиданные снежные смерчи.

6

В марте солнечные дни, как веселая гусиная стая, пролетели над горами.

— Солнце повернулось на лето! — говорили кочевники. — День прибыл на веревку, которой треножат лошадей.

В прозрачном воздухе растворился еле уловимый, бодрящий аромат березовых почек и хвои задумчивых кедрачей. Реки на быстринах взрывали ледяную броню, над поляньями, весело посвистывая, проносились бойкие зимородки. Все говорило о том, что ушел последний морозец и скоро разгульная весна спустится в долину.

Отцы семейств подумывали о перекочевке и ездили осматривать свои летние становья — все ли там в порядке. Анытпас в первый солнечный день перебрался из хозяйского дома в свой аил и был этому нескованно рад: тут уютнее, воздух свежее и знаешь, что куда положить и где взять. Он поправлялся удивительно быстро. На восьмой день после того, как встал на

ноги, на щеках его появился румянец, тело потеряло мертвую желтизну и стало слегка розоветь.

— На хорошем корму даже беззубый конь выгуляется, — завистливо ворчали пастухи, кивая на него.

А Яманай попрежнему сохла. Даже легкий ветерок пошатывал ее. На лице, всегда печальном, кожа повисла складками, будто у дряхлой старухи, брови возвышались над глубоко запавшими глазами. Никто не видел ни улыбки, ни блеска когда-то веселых глаз. Бесследно пропала былая разговорчивость. Она по целым дням не выходила из жилища и на вопросы надоедливых соседок отвечала каким-нибудь пустым словом. Они уходили рассерженные, из аила в аил тащили:

— Тоска по бесстыдному парню сердце ее давит. До весны баба не дотянет.

— Собирается к Ярманке бежать, а он на нее теперь и глядеть не хочет: к русским уехал и живет там.

Она сутки напролет неподвижно просиживала у костра, понурившись, задумчиво бормотала, словно хотела запомнить ускользавшие из памяти слова:

— Сеок... Нет никаких сеоков. И все люди, как медведи.

Забывала рубить дрова, кипятить чай, варить мясо, присланное Сапогом..

Муж не раз тихонько подкрадывался к ней, схватывал за плечи, встряхивал и шаловливо орал что-нибудь невнятное, но она не улыбалась, чего он хотел, и не вскрикивала, а тяжело подымалась и, как бы не замечая его, повертывалась к стенке, в отчаянии запрокидывала голову и закрывала глаза, глотая слезы. Тогда он по-бараньи топал ногой и кричал тромко, будто на табун непослушных кобылиц:

— Куда потянулась? Чай где? Мясо где? Огонь потух...

Она покорно подымала трясущуюся руку к полочкам и кидала к очагу деревянную чашку, сырое мясо, кожаный мешок с толканом.

Анытпас даже спрашивал себя: «Какой у нее голос?» Он слегка ударял ее кулаком по костлявой спине, но она не ойкала и не стонала, напоминая исхуда-

лую лошадь, которую сколько ни бей, она даже и хвостом не махнет, а только посмотрит с укором и тихо смежит свинцовые веки. Он садился против жены, стараясь заглянуть в ее мутные глаза:

— У тебя язык к зубам прикипел, что ли?

Яманай кидала на него усталый взгляд, поспешно опускала распухшие веки и отворачивалась.

Ночью Анытпас пытался обнять ее неподвижное тело. Она брезгливо отвертывалась от него, застывшим пластом падала с кровати на землю и так оставалась у очага до самого утра. Лежа тут, она вспоминала радостные дни короткой девичьей жизни. Когда-то она с восхищением думала о своем уютном аиле в будущем, о своем неугасающем очаге, теплой постели, о ласках мужа, а теперь согласилась бы всю жизнь провалиться на голой земле, без своего угла, без места в жилье, проходила бы в рваной шубенке и дырявых сапогах, согласилась бы есть одни корни кандыка с сырой водой, только бы вернуть то время, когда, забывая все, с приятным трепетом ждала лунную ночь, прислушиваясь к каждому звуку комыса.

Однажды она вышла рубить дрова возле жилья и, потеряв силу, сунулась лицом в снег. Анытпас уволок ее в аил, уложил на кровать и, заседлав коня, отправился к Шатыю.

Он встретил знаменитого жама возле реки. Старик, сопровождаемый прислужниками, спешил куда-то совершать камлание. Слушая путаный рассказ перепугавшегося алтайца, шаман косо посматривал на него и поплевывал между лошадиных ушей.

— Камлать к тебе не поеду, пока не выполнишь волю богов, — сказал холодно, высокомерно и погрозил кивком головы. — Вчера я снова летал в подземное царство. Эрлик рассердился, выслушать меня не хотел. «Если, — говорит, — Анытпас не отправит ко мне Борлая, то я возьму в слуги эту красавицу Яманай, а потом и мужа ее».

Шатый хлестнул коня плетью и помчался вверх по долине.

Анытпас проводил сильного жама тупым взглядом. Легкий ветер вдруг показался ему острым, пронизы-

вающим до костей. Зубы безудержно стучали. Чтобы согреться, он вывалился из седла и побежал рядом с лошадью.

— Я все сделаю, как велят боги, — без конца повторял дрожащим голосом. — У меня хватит силы на это. Я сумею... Сегодня же обдумаю все.

Вечером к нему зашел Сапог. Анытпас приветливо вскочил и самодовольно улыбнулся, подумав:

«Большой Человек ни к кому в гости не ходит, только в мой аил: любит меня и заботится обо мне».

Зарычал на жену, которая неподвижно сидела у полупотухшего костра.

— Само солнце в наш аил спустилось, а ты, подлая баба, сидишь... Осовела, что ли? Дров добавь, чай вскипяти...

Яманай сонно отвернулась от мужа и, не замечая гостя, продолжала кротким шеборшащим голосом:

— Все люди, как медведи... Нет никаких сеоков...

Сапог снисходительно махнул на нее рукой:

— С больных спрос мал.

Хозяин аила, благоговея перед высоким гостем, смиренно разостлал козлиную шкуру.

Гость важно опустился на подстилку, закурил и после того, как обменялся с хозяином жилья трубками, точно равный с равным, льстиво начал:

— Хорошему человеку всегда счастье летит навстречу. Прошлой ночью я сон видел, будто твоя старая винтовка неметко ёдет. Почему ты раньше не сказал мне об этом? Постеснялся? Зря. Я тебе давно бы принес хорошую.

Через плечо сурово бросил к двери:

— Давай...

Услужливо переломившись, в аил шумно запрыгнул Ногон, старичок с трясущейся челюстью, как бы безустанно шепчущий что-то страшное. Положив перед хозяином ружье и набор рожков и кожаных мешочеков, он так же быстро удалился, придержав дверь, чтобы не хлопнула.

— Вот дарю тебе, — возвышенно заговорил Сапог. — Эта винтовка не простая. Сильный кам Большой поселил в нее духа смерти. Мой отец подарил эту

винтовку твоему отцу за то, что тот был заботливым пастухом и послушным человеком. Твой отец убил из нее сорок шесть медведей, семнадцать маралов и три лоси. А перед смертью подарил ее мне. Ты будешь теперь с первого выстрела насмерть валить... Вот тебе припас, — порох сильный, пули...

Принимая тяжелое ружье, Анытпас залясал зубами, не мог сдержать крупной дрожи.

Сапог, сердито двигая бровями, в упор смотрел в глаза трясущегося пастуха, сыпал намеренно гневные слова, будто собаку растравлял перед охотой на берлогенного зверя:

— Я думал, что ты мужик. Тебе мальчишкой солливым стыдно быть. Твой отец считался храбрым.

Пастуху казалось, что эти оскорбительные слова катились через голову, словно проходящий каменный поток. Ресницы его вдруг стали мокрыми от соленых слез.

— Ты заплач, бесстыжий... — продолжал старик. — У баб некоторых рука устойчивее, чем у тебя, дохлый щенок.

Вспомнив недавнее бормотание жены, Анытпас подбодрил себя:

«Это она про Борлая говорила. Все Токушевы — медведи».

Он сказал Сапогу об этой догадке и тот едва слышно вымолвил:

— Да, человек против своей крови, против своего сеока не пойдет. Один зверь так может.

«Говорят, что медведя убить — хорошее дело сделать», — подумал пастух, приходя к твердому решению.

Он ласково погладил шестигранное горло винтовки и бодрым голосом обнадежил Сапога:

— Я на промысле был... Двух медведей зашиб, знаю...

Старик враз повеселел и начал поучать пастуха:

— Всегда ешь горячее сердце, почки и печень зверя: глаз будет острым, рука каменной, а здоровье крепче железа.

Собираясь уходить, он льстиво добавил:

— На меня не сердись. Я о тебе забочусь. Люблю тебя сильнее, чем своего родного сына Чаптыгана. Я тебе за хорошую работу, может быть, целый табун отдам.

Пастух почтительно проводил хозяина за дверь.

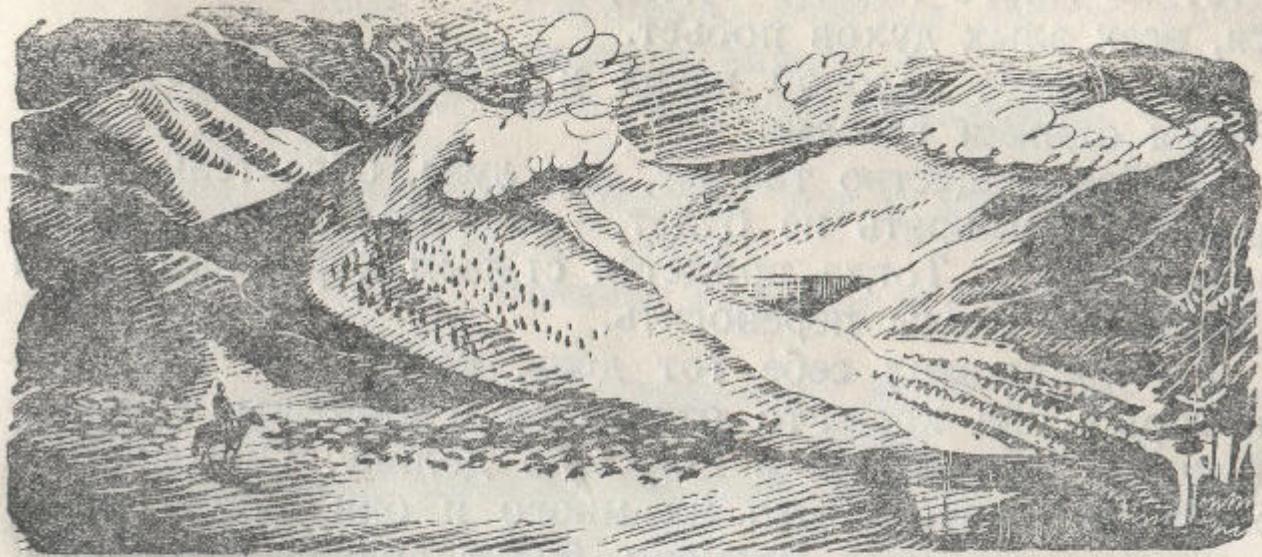
— Никому не говори, что я тебе винтовку подарил, а то другим пастухам завидно будет, — шепнул Сапог, потрепав Анытпаса по плечу. — Понял? Смотри, не забудь. Всем говори, что винтовку тебе отец оставил..

Вернувшись в аил, пастух немедленно стал собираться к от'езду на горы. Он перевернул измызганное седло, перебирая дрожащими пальцами узлы перетертых ремней, почувствовал непонятную жгучую жажду и хватил узлы зубами.

— Завтра же поеду... У меня крепкая рука... Я никого не боюсь... Я все сделаю, — говорил сам себе строго, точно мальчишка, не решавшийся в ночную темноту выглянуть из аила.

Зубы его часто ляскали. Уголки трепещущих губ опускались.





ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Тихое утро с чисто вымытым небом и пламенеющими вершинами гор застало Борлая недалеко от места семилетней стоянки. Пегуха, бежавшая впереди, покосилась на заброшенный аил и, укорачивая шаг, вопросительно оглянулась на хозяина.

— Рано нам с тобой кочевать сюда, рано, милая, — заговорил он. — Маленькая луна мало ходит, выра-

стет — много ходить будет, никого тогда не побоится, всех злых духов побьет.

Он мотнул головой вверх и обнадеживающе улыбнулся одними глазами.

— Товарищество так же, как луна, обязательно вырастет, а умирать не будет, таким большим да сильным станет... Тогда придется старым коршунам свои гнезда на скалы переносить.

Он представил себе тот день, когда все алтайцы, которых бай когда-то оттеснили в каменные ущелья, птицами низринутся в широкую долину. Они восторжествуют, потому что их много и они, поняв слова нового и великого племени, будут дружны и сильны. Это будет не спокойная перекочевка, а грозное наступление.

— Это придет скоро: вожаки нового племени не ошибаются, — вслух подумал он. — Все идет так, как они говорят. Слово их крепче стали и дороже золота. Многие не верили, что нам дадут жеребца, а я говорил, что получу. И получил. Бесплатно дали.

Под ним был гнедой четырехлетний жеребец с крепкими ногами и длинной шеей. Конь имел острый слух и, пугаясь лесных шорохов, четыре раза сбрасывал седока, а сам за все шестьдесят километров не уронил ни одной капли пота. С детства знакомые Борлаю скалы и долины промелькнули незаметно. Это была самая короткая ночь. Казалось, заря с зарей обнимались на пушистых снегах подоблачных вершин. И от света до света на горах кураны трубили победу весны, по-новому, взбадривающе звенели реки и звезды, казалось, роняли на землю живительную росу и наливали человека нескончаемой силой.

Проезжая мимо одной из отар, он увидел пастуха в шапке из козьих лап. Крикнул задиристо:

— Эй, байский хвост! Почем нанялся овец пасти?

Таланкеленг повернулся, напоминая собаку, которая при каждом окрике поджимает хвост.

— Долго не принимал меня Большой Человек, но смилиствился, — пробормотал он заученную фразу, много раз повторенную при встречах со знакомыми.

— Сколько он тебе платит?

— А не знаю, — смущенно ответил пастух, глядя на небо. — Прокорм дает и ладно.

— Но он сказал тебе: «спросят начальники — говори: сто рублей»?

— Нет, — смущенно ответил тот и подумал: «Кто ему рассказал об этом».

Борлай, удаляясь, покачал головой и с глубоким сожалением вымолвил:

— Эх, Таланкеленг, Таланкеленг. Мог бы ты стать братом добрых людей, в новое племя приняли бы тебя, а ты стал байской собакой. Как тебе прикажут, так и лаешь.

Пастух хотел бросить вслед ему громкие слова: «Одну лошадь зимой с'ел, — семью чем-то кормить надо было, — другую волки задрали, коров хозяин назад взял — как жить?». Но, удержавшись, сердито фыркнул и отвернулся.

Борлай оглянулся на долину, мысленно спрашивая:

«Что ты будешь делать, Таланкеленг, когда товарищество спустится сюда полным хозяином долины? Наши стада будут пастись здесь. Наш ячмень взметнет колючие колосья. Да, да, и ячмень будет... Посеем сами».

Много этот щуплый человек принес зла — аилы разбрасывал, чужих торбоков резал, может быть он рвал шеи коням Сенюша Курбаева, но Борлай, проверяя себя, нашел, что злоба к Таланкеленгу потухла, наоборот, пастух пробудил в нем жалость. Ведь и сам Борлай мог быть таким, если бы не упорство его, да не эти бурные годы, которые заставили на многое взглянуть починому. Ему тоже говорили в юности, что слово Сапога священно, что бы зйсан ни сказал — надо выполнять, как свое желание.

Токушеву хотелось вернуться, постыдить Таланкеленга, проговорить с ним может быть целый день, как иногда делал Суртаев, и добиться искреннего раскаяния, но он знал, что дома его давно ждут с породистым жеребцом. К тому же, он в ста шагах от себя увидел знакомую женщину, которая, устало покачиваясь, подымалась по тропе.

«Неужели это она?! — подумал Борлай, потира-

пливая коня ременным поводом. — Она, однако. Наверно брата моего искать побежала?»

Яманай, очнувшись от тягостного раздумья, настороженно оглянулась на всадника и, узнав его, равнодушно опустила голову, словно решила, что теперь для нее безразлично — будут ли сородичи хвалить ее или поносить и клясть.

— Ой, как отощала, бедная, — пожалел Борлай. — Девкой была, как из речных камней сложенная, а теперь — сухое дерево. Кости да кожа...

Он поровнялся с молодой алтайкой и заговорил так просто, будто не впервые встретил ее после того, как она стала замужней, а возобновил прерванную задушевную беседу. Она не уклонилась от разговора и не застыдилась, а отвечала, как старшему в своей семье, и даже спросила куда он ездил и походит ли долина Голубых Ветров на Каракольскую. Услышав, что она идет копать каньык, Борлай кивнул головой на фиолетовые лепестки поникших цветов, улыбнулся так, что для него, дескать, все понятно, и мягко заметил:

— Поздно копать: каньык отцветает.

— Там еще не расцвел, — возразила она и указала в горы. — Вот копарулька.

— А что делает Анытпас?

Женщина растерянно взглянула на добрею лицо мужчины и, помявшись, отвечала с неожиданно прорвавшейся неприязнью:

— С ума сходит... Овец в долину выгонит, а сам по лиственницам стреляет.

Голос Яманай показался Борлаю самым приятным из всех женских голосов, которые он когда-либо слышал, щеки ее постепенно розовели, как распускающийся пион. Понятно почему Ярманка так вздыхал по ней.

— Я собираюсь к вам в долину... тои у вас будут?

Алтайка заговорила взволнованно, выдавая этим свое намерение расспросить спутника о его младшем брате.

— Не слышно о тоях...

— У вас, помнится, еще один брат есть не жена-

тый? — торопливо спросила она, облизывая сохнущие губы.

— Нет. Нас только трое.

Яманай замолчала, растерянно перебирая бусы на груди.

— К нам скоро народ будет собираться. Не на той, а на ученье, — проговорил Борлай, нарушая неловкое молчание.

Из-за столпившихся лиственниц вывернулись на тропу всадники. Впереди — Сапог с Шатыем, а за ними — старики-прислужники.

Яманай юркнула в лес.

«Смелость у неё еще молодая», — подумал Токушев с сожалением.

Он ехал, вскинув голову, не сворачивая с тропы, пренебрежительно смотрел на Сапога. Кони их остановились, обнюхивая друг друга. Гнедой угрожающе взвизгнул и начал бить копытом землю.

— Чего остановился? Отворачивай.

— Большому Человеку дорога должна быть чистой, — кричали старые прислужники.

Токушев нахмурился, как бы заявляя, что не желает с ними разговаривать.

Лицо Тыдыкова позеленело, руки задрожали. Минуту он молчал. Потом посмотрел в ту сторону, куда убежала Яманай, и, ухмыльнувшись, нахально поклонился.

— Желаю всяческих успехов мудрому человеку. Бабочка эта вроде молодой кобылицы: мягкая, гладенькая и по зубам не бьет.

— Сдохни, собака! — рявкнул Борлай и озлобленно сплюнул.

Гнедой укусил лошадь Сапога. Она, вырвав поводья из рук хозяина, бросилась в сторону от тропы. Токушев взмахнул плетью, понукая своего коня. Старики враз посторонились. Они сжимали сухие кулаки и засыпали проклятиями ненавистного им человека. Он ехал, косо посматривая на них, готовый, в случае опасности, в любую секунду смять всех седых противников. Он был уверен, что у него хватит силы расправиться со всеми.

— Не ругайте знаменитого человека, — скрипел Сапог, ощеряясь. — Дайте ему дорогу. Пусть он всех баб в сеоке перепоганит. У него вкус хороший, начал с Яманай, с молоденькой...

— Замолчи, старый кобель, — крикнул Токушев. — Мы тебе эти слова припомним.

Больше всего он оскорбился за Яманай. В этот день она предстала перед ним, как самая чистая и сильная женщина, подкупила своей смелостью непринужденного разговора. Ему захотелось снова увидеть ее и утешить теплым словом.

«Теперь все должно катиться по-иному», — подумал он, когда снова погрузился в лесную тишину. — На поступки людей нам надо смотреть с другой вершины, чем смотрели раньше. И Ярманка не виноват, и Яманай не виновата. Суртаев говорил правильно, что старые арканы, которыми был связан род, изломали им душу, смяли сердца».

На склоне холма, на сырой жерди висела шкура сивой лошади. Свежие капли крови горели на солнце. Заметив жертву, Борлай дернулся плечами.

— Опять коня задрали... Видно правду говорят, что Шатый в год больше трехсот лошадей раздирает.

На лужайке он остановился и громко позвал Яманай. Еще и еще раз.

Лес молчал. Тихо улыбались горы.

2

Накануне возвращения Борлая Утишка Бакчибаев привез какого-то малознаменитого шамана, захудалого старионка с подбитым глазом, и на холме посреди долины принес двухлетнего жеребенка в жертву богам.

На следующее утро все обитатели ближайших становий собрались к тому черному ключку земли, который был изрыт лиственничным суком. Любопытные взоры ребят и завистливые взгляды отцов и матерей семейств запечатлевали в памяти каждое движение Утишки. Вот он развязал мешок, долго пересыпал с ладони на ладонь зерна, будто жалея их и не надеясь,

что земля возвратит брошенное в ее плодородное чрево. Попробовал ячмень на зуб и стал соорудочено рассыпать, как деревенские ребята рассыпают подкормку голубям, чтобы заманить сизокрылых под короб и накрыть.

Многие думали об осени. Они как бы видели, что к аилу Утишки тянулись завьюченные лошади, во всех сумах — ячмень, ячмень...

— Много он тут соберет?

— Богатее всех нас будет...

— Я слышала сам говорил: «Обрасту достатком, как медведь салом».

Четырнадцатилетний сын Содонова Тохна крикнул, припрыгивая:

— Едет!.. Едет, едет!.. Смотрите, едет Большой Человек на жеребце.

Все повернулись, отыскивая Борлую глазами. Так толпой и двинулись навстречу. Ребятишки бежали, припрыгивая. Мужчины перебрасывались словами:

— Правду говорил тот начальник, что власть за бедных.

— Хорошая жизнь начнется в нашем кочевые!

— Не пойдем Сапога умаливать, без него обойдемся.

Только на половине пути кто-то пожалел:

— Не досмотрели... что будет дальше Утишка делать.

— Досмотришь. Он десять дней ячмень прорассыпает, — успокоил Сенюш Бурбаев, бежавший впереди других.

— Мало пользы досматривать: там для одного Утишки, а тут для всех, — твердо сказал кряжистый и лохматый Содонов, казалось, собравший на себя все лесные имхи.

Борлую не допустили до своего аила. Толкаясь, осматривали жеребца со всех сторон, косы в гриве плели, легонько гладили. Токушев не успевал отвечать на вопросы. Всех удивляло, что жеребца отдали бесплатно и «на-вссе», только обязали записывать приплод от него.

— А жеребят потом не отберут? — усумнился Бабинас Содонов.

Сенюш повис на поводу, раскрывая рот Гнедого.

— Молодой. Пятый год, — сообщил он. — Карапить надо. Как бы ему горло не перервали...

— Скорее мы перервем кому следует, — прорычал Байрым, пощелкивая зубами о треснувший чубук.

— Поочередно караулить, с винтовками, — предложил старший Токушев.

— Я первый. Сегодня... Всю ночь глаз не сомкну, — засуетился Сенюш.

Тохна щебетал, забегая то с одной, то с другой стороны:

— Большой Человек... А Большой Человек... Оншибко лягается?

Содонов оттащил сына за рукав.

— Лягнет, так от тебя одни сопли останутся...

Сам остановился против Борлай, предложил трубку. Потом размеренно, будто зная, что не откажут, попросил:

— Принимай меня в свой табун. Я тоже напористый: надейся на меня, как на самого себя.

Токушев, слушая Содонова, подозвал Тохну и добродушно спросил:

— Разве я ростом выше всех?

— Нет, — ответил малыш, окинув взглядом толпу.

— Почему же ты меня зовешь большим? Отец так велел?

— Ие.

— Не зови так, а то мне стыдно. Больших людей здесь нет. Большие люди там, — махнул на запад, — в главном городе... А я такой же, как твой отец.

Встал рядом с Содоновым.

Тохна, думая, что с ним шутят, недоверчиво тряхнул головой.

— А ты почему раньше не записывался? — спросил Борлай своего соседа.

Твердый голос вырвался из-под клочьев лесного мха и придавил все голоса:

— Я думал: разговоры одни, а толку никакого не получится... Будешь ты ездить по курсам разным, а на нас плюнешь. Теперь вижу, что ты по-настоящему взялся...

После Утишки Содонов считался самым состоятель-

ным середняком в кочевье: у него было десятка полтора коров, одиннадцать лошадей, баранов столько, что каждую осень шили новые шубы. Борлай знал, что многие алтайцы посматривали на этого волосатого человека и прислушивались к нему, мысленно выражал надежду:

«Утишка у нас, да этот запишется, тогда все в то-варищество войдут», — и степенно ответил:

— Я думаю, что примем. Ты приходи на собрание...

— Я не последний человек, от своего слова не бегаю, — тем же голосом продолжал Содонов.

В аиле Борлая ждала жена. Она вытрясла последнюю муку, полученную от Госторга за пушину, замесила крутое тесто, выкатала из него толстые лепешки — терек — и пекла их в горячей золе. На мужской половине был собран завтрак: в березовом кофытце — сметана, в чашке перепревшая во время выгонки араки пена чегеня — знак глубокого уважения. Усевшись к огню, старший Токушев ощутил слабое желание сказать жене то, что много раз думал: «Каждая ты у меня заботливая, милая хлопотунья», — но доброе желание тотчас же сменилось чувством неловкости, будто слова эти действительно были произнесены: с детства привык не говорить о своих чувствах и думах.

Покачиваясь сытым утенком, приковыляла дочка, одетая в серую рубашку и белую барашковую шапочку. Отец посадил ее к себе на колени, ласково похлопал по широкой спинке и угостил кусочком хлеба, обмакнутым в сметану. И опять у него появилось желание похвалить Карамчи:

«У соседок дети до пяти лет бегают нагими, а у нее, любящей и беспокойной матери, маленькая Чечек одета».

— Она имя свое научилась выговаривать, — радостно сообщила Карамчи.

— Да ну?! Тебя как звать?

— Чечек, — уверенно пролепетала девочка.

Борлай в открытые двери указал на цветущий луг:

— Вон там чечек, много чечек.

— Нет, там трава. Я — Чечек, — обидчиво настаивала дочь.

Рассматривая ее светлое личико и сравнивая с лицом матери, он подумал:

«Если бы сын... Лет через десять он пошел бы со мной на охоту. Я сделал бы его первым стрелком...»

Жена села против него, раскурила трубку и тихонько протянула через огонь. Девочка шаловливо вырвала ее у матери и ткнула в рот очнувшемуся от раздумья отцу.

— Гони от себя грусть: я видела сон будто у меня родился сын, — звенел приятный голос Карамчи.

3.

К вечеру надвинулась туча, отягощенная черными сгустками крови. Где-то за горой глухо, но уже грозно ворчал гром. Старого Токуша не было дома, и Чаных развела большой костер — все повеселее.

Она подогревала недопитый днем чай, когда искусственно забухала собака. К жилью подходил кто-то чужой. Остроухий никогда не лаял так на людей своего кочевья. Женщина замерла, прислушиваясь. Ей показалось, что она ясно слышала чье-то тяжелое дыхание. Острые когти царапали дверь. Не медведь ли пожаловал? Чаных взглянула на незаряженное ружье, медленно перевела взгляд на топор и остановилась на костре, схватив самую большую головешку.

Дверь бесшумно приподнялась и чей-то глубоко провалившийся глаз стрельнул на мужскую половину ищущим взглядом.

«Смотрит, есть ли винтовка», — подумала Чаных, выронила головешку и, вздрогивая, потянулась к ружью.

Дверь захлопнулась, но минуту спустя снова шевельнулась и опять тот же глаз, устремленный на женскую половину.

Теперь Чаных отметила, что взгляд совсем не воровский, а мучительно-тосклиwyй, ищащий утешения. Очевидно лютое несчастье настигло человека и сделало лицо его мертвенно-бледным, а сердце наполнило боязнью. Возможно, это настолько обессиливший человек, что не может войти без посторонней помощи.

Она хотела сама впустить его, но в это время стукнула дерзко откинутая дверь, и на хозяйку налетела неожиданно осмелевшая женщина. Из-под шапки ее выбились давно не чесаные космы, исполосованная собакой пола чегедека волочилась, как хвост.

Узнав посетительницу, Чаных стиснула зубы, выпрямилась и взбросила скрюченные руки к груди, готовая навалиться на плюгавую бесстыдницу, как она теперь звала Яманай. Они долго стояли, не шевелясь, только резали одна другую ненавистными взглядами, да дышали все тяжелей и тяжелей. Ощупывая глазами нежданную гостью и мысленно раздевая ее до нага, хозяйка успокаивала себя:

«Ни стати, ни красоты. На гнилой гриб походит. Да теперь мой муж на нее и одним глазом не взглянет».

Она круто повернулась, насмешливо захохотав, важно прошлась по аилу и цыкнула на ребят:

— Спите, остроглазые. Об отце соскучились? У него по вас тоже сердце изныло. Домой торопится.

Отстегнула лульку и, подбрасывая ребенка, подошла к Яманай:

— Посмотри, какой у меня цветочек от молодого мужа: ширококостый, полный, ручки в суставах, как ремешками перевязаны.

У Яманай болезненно подергивались губы. Она отворачивалась от ребенка, прятала глаза и надолго закрывала их вспухшими веками. А в голове — острое, режущее:

«Врал, что меня любит. Теперь понятно, почему не приехал и не увез... У него ребенок, жена... А я болтаюсь, как оторванная от земли осинка, уцепившаяся слабым корешком... Все клюют меня, все колют...»

— Я еще не такого молодца рожу ему! — продолжала Чаных.

Хохочущий гром разлился над долиной. Зеленое пламя молний заглянуло в аил. Для Яманай таким же громом был победный хохот сквернословящей старухи, хваставшейся умением услаждать мужа.

«Бежать... Бежать», — повторяла Яманай, но не могла шевельнуться. Ноги ее подогнулись и она устало притулилась к высокому порогу.

Хозяйка торжествующе налила чаю и поставила перед ней.

— Ты — редкая гостья, будем чай пить. Мне муж наказывал: «Любимая жена моя, всякого человека, зашедшего к тебе, угощай чаем, за чаем даже сердца злыдней становятся добрыми»

Яманай, не слушая ее, бормотала вполголоса:

— Такая участь наша. Перед всеми унижайся. С языком своим не лезь, когда мужчины разговаривают, делай, что им нравится, а они будут тебя мять, плевать тебе в душу, обманывать. Везде обман, обман... Холодно мне... Сердце леденеет...

Слезы сыпались, как дождевые капли. Она не слышала нещадно надвинувшегося ливня и бесконечных громовых раскатов.

В дымовое отверстие врывался дождь. Костер притих, будто прислушивался к грому. Чаных показалось, что рассыпаются близкие горы, и на их месте поднимаются новые вершины без единого черного пятнышка. Она вдруг сникла, прислушиваясь к болезненной жалобе соперницы. Многое она могла повторить, говоря о себе. В молодости мать пела ей, что она будет счастливой и любимой. И она все ждала этого, надеялась на лучшие дни. Теперь ей нечего ждать, если молодой муж еще в прошлом году в глаза называл трухлявой колодиной и редко спал на кровати.

«Как обвинять его? Он молод, — подумала она. — Виновато время, безжалостное время, так рано состарившее меня».

От неистового удара грома задрожал аил. Чаных пала на землю. По морщинистым щекам ее текли ручьи.

— Ушел мой ясный сокол, Адар, и унес радостные дни, — пискляво тянула она. — Не видела я ни одного спокойного денька...

Яманай взглянула на нее и в тот же миг встала, настойчиво заглушила шевельнувшуюся в сердце жалость. Толкнув двери, перевалилась через порог.

Ребенок трепыхался, задыхаясь от рева. Мать тяжело поднялась, обвела аил тусклым взглядом, потом приоткрыла дверь и посмотрела в темноту.

Гроза бушевала в долине. Пламенные бичи с треском спускались чуть не до самых аилов.

Когда пролилось на землю яркое пламя, она увидела черное пятно, увлекаемое ветром, захлестываемое дождем. В груди разлилась теплота.

— Вернуть бы ее. Гроза захлещет хилую, или вода бросится с гор и в реку смоет. Хотя и худая жизнь, а всякому жить хочется...

Сердце тревожно екнуло.

— Она так исхудала, что мой муж взглянет на нее и сразу отвернется. Навсегда забудет подлую, — утешала себя. — У него мужское сердце, черствое, жалости нет...

Ливень приударил. Лились огненные водопады. Нигде не было видно ничего, похожего на человека.

4

На следующий день вернулся Ярманка. С женой он даже не поздоровался, а сразу взялся за устройство на мужской половине маленькой кровати.

«Передние зубы ронять начала, скоро совсем сдохнет», — отметил он.

Чаных подумала:

«А не встретил ли мой муж Яманай на тропе? Может быть он сговорился с ней?.. Потому и отделяется...»

Она надоедливо брюзжала, а он будто не замечал ее. К люльке даже не подошел и отталкивающе косился на ребенка. Детей Адара, увивавшихся около него, то жалостливо гладил, то нарочито ласково похлопывал по спинам. Ему хотелось потушить в себе самообвинение в том, что обрекает их на сиротство.

«Маленький может скоро умереть. Вот тебе и кровная связь», — успокаивал себя.

В аиле появились книжки, бумага, толстый чурбан, заменявший стол. Не проходило дня, чтобы Ярманку не посещал кто-нибудь из приятелей. Они часами сидели возле парня, внимательно слушая его. Веселые улыбки их говорили:

«Теперь у нас в кочевье есть человек, который все может прочитать и что захочет, то и напишет!»

— Кончал учиться?

— Ну, еще много. Осенью опять поеду.

Все отмечали, что он пополнел, стал степеннее, лицо его посветлело.

По вечерам Чаных приставала к нему с одним и тем же:

— Опять на свою лежанку? То ли тебе на кровати твердо?

— Вместе спать вредно, — отвечал он и неприязненно отмахивался. — Занавеска у тебя очень липкая. от грязи и дымом пахнет.

— Первый год со мной жил не вредно было, а теперь вредно. За молодыми гоняешься.

Он молчал. Чаных начинала хныкать, а под конец слезно ревела и умолкала лишь тогда, когда подымался сам Токуш. Старик скорее приказывал, чем утешал:

— Ты не плачь. Слезы — дурная роса, от них лицо сохнет, как трава от едких капель.

Блестя костлявой грудью цвета красной меди, он поворачивался к сыну, грозил трубкой и строго бубнил:

— Не дури. Адар бабу тебе оставил, держи ее как следует.

— Теперь свобода. Нельзя чужих баб навязывать. Я учителя спрашивал, — дерзко отвечал сын, покидая аил.

Утрами его видели на реке. Он старательно мыл руки и плескал воду на лицо. Молодежь спешила к нему, посмеиваясь:

— Перестараешься: всю красоту смоешь.

— Хорош, как лягушка... она тоже каждое утро может.

Он, улыбаясь вместе с ними, доказывал:

— В школе говорили: «Мыться не будешь — осенью не примем». А учиться мне очень хочется. Учиться будешь — все увидишь, там и этам... Как жили люди в то время, когда вот эти деревья еще не родились... Все узнаешь. Все, все...

Умывшись, он встрихивался по-гусиному:

— Эх, хорошо!

Однажды Борлай как бы не намеренно проговорился

младшему брату о своей встрече с Яманай. Ярманка, сдерживаясь, предостерег чуточку изменившимся голосом:

— Сапог увидел — ухо держи открытым. Сразу бей острыми словами. Бей скорее, пока он не ударил тебя.

Старший Токушев обрадованно усмехнулся:

— О-о, и у тебя чутье появилось! Это хорошо!

Не удержавшись, парень спросил:

— За кандыком, говоришь, ходила? В нашу сторону?

И лицо его стало багровым.

5

Ярманка Токушев, этот низкорослый и круглоголовый парень, похожий на принесенную из-под облачных высот и обточенную дикими водами гальку, принадлежал к числу тех молодых людей новой эпохи, которых не держали ни зимние выюги, ни весеннее половодье, которые сразу, хотя не без боли, не без тоски по полевым просторам, цветистым лугам и волнистому таежному разливу с бодрящими ароматами трав, вырвали свои корни из земли и двинулись в большие села, в города, за новым словом, за знаниями. Он, едва ли не первым из всех учеников, вступил в комсомол. Даже не заметил, как отвык от кислой алтайской кухни. Легко одолев начатки грамоты, так пристрастился к чтению, что вечерами друзья оттаскивали его от книги, смеясь:

«Будет тебе, а то глаза сделаются кошачими, светлыми... только слепыми».

Зима, проведенная в селе, в теплом и светлом доме, заставила его по-иному взглянуть на аил. Нужно было иметь большое усилие воли, чтобы провести в аиле даже короткую летнюю ночь: пыль щекотала в носу, дым выдавливал слезы из глаз. Через несколько дней веки у него покраснели, утолщились, глаза стали слезливее. С восходом солнца он уходил из аила иозвращался только к ужину. Разговаривая с приятелями, тряся себя за ресницы:

— Почему глаза покраснели? Я же плакал, не горевал... Дым царапает их, словно когтями.

Им овладевало такое оживление, что ребятам казалось — сейчас он покатится по лугу, потом вскочит, закружится дико, бесконечно долго.

— Кам из тебя хороший получился бы, — шутливо заметили однажды. — Начинай камлать...

— Камлать? Комсомол шаманов прогонять будет, — они наши враги. Зачем коней раздирать? Какая польза? Никакой.

Возвращаясь к истоку разговора, он напирал:

— Жизнь шла все в эту сторону, ниже, ниже, как река. Теперь переворачивать все начали... Хорошо! Пусть жизнь бежит все выше, выше, как орел летит...

Хватал кого-нибудь из ребят за опояску и впивался в лицо пламенным взглядом:

— Слушай! В комсомол пойдешь? Комсомол говорит: надо учиться книжки читать, избушки делать...

Он был рад, что такие беседы вырывали из головы узел надоедливых и больных вопросов о Яманай.

Когда приехал Чумар, Ярманка встретил его, помог развязнуть коня, об'емистые сумы уволок в аил старшего брата.

— Тяжелые какие. Доски привез? Писать начнешь? А уголь есть? — трещал безумолку. — Я тебе сделаю хороший уголь, много-много...

— Не надо. Карандашами писать будут, — степенно ответил Чумар. — Я в аймаке был: позвали меня туда. Спросили начальники: «Как ты людей учишь?» Я рассказал, вот как и вот как учу,шибко трудно, карандашней нет, книжек нет... Мне дали всего. Вот!

Он развязал переметные сумы.

— Поезжай теперь в долину Голубых Ветров, — сказали начальники, — учи бедняков скорее, а мы будем тебе за это деньги платить.

Младший Токушев помогал разгружать сумы.

— Сколько человек учить начнешь? Много? Двадцать человек? Больше?

Ярманка перепрыгнул через порог, побежал по долине.

До вечера он побывал во многих аилах, вбивая в головы кочевников одно и то же:

— Ночь лежала на Алтайских горах, темная, мохнатая. Ничего не было видно. Злой человек прибежит, глаза выколет... Все неграмотные... Учиться будешь — светать начнет едва заметно, а потом распыляется заря, солнышко выглядит, светлый день полетит... Все видно... Все знать будешь. Тогда никто не подкрадется и глаз не выколет...

Тохна Содонов засобирался с ним. Отец проворчал.

— Пора кобыл доить... Лови жеребят, привязывай...

— Я скоро прибегу... — уронил Тохна, сделав вид, что не слышал слов отца, прыгнул из аила вслед за младшим Токушевым.

Колыхались шелковые кисти, — Ярманка и Тохна бежали по долине.

— Всех ребят, которые в комсомол записались, соберем?

— Всех. Кто учиться не хочет — худой комсомолец.

— Спать не лягу, учиться буду...

На следующее утро на берег реки собрался народ. Тех, кто пожелал учиться грамоте, Чумар усадил в кружок, роздал им тетради, показал как держать карандаш. Черную доску повесил на лиственницу.

Вокруг каждого ученика — пестрый букет шапок. Любопытствующие сородичи через плечи друг друга заглядывали в тетради, развернутые на коленях учеников.

— Смотри какие палки пишет!

— А что такая палочка скажет?

Ярманка надрывался:

— Не кричите, товарищи. Не мешайте учителю. Отойдите вон туда.

Он показывал на женщин, расположившихся неподалеку. Они мяли овчины, шили обувь, сучили нитки из жил дикой косули и изредка посматривали на доску.

По утрам Ярманка раньше всех прибегал на берег и там дожидался Чумара.

— Сегодня какую букву покажешь?

Когда учитель жаловался, что ученики долго не приходят, Ярманка срывался с места и бежал от аила к аилу, пронзительным криком подымая все кочевые:

— Солнце встало, учитель встал — учиться иди...

Люди шли, смеясь:

— Опять шальной горло дерет, будто его медведь сцепал.

После занятий Ярманка снимал доску и уносил к себе в аил, подбирал мел. Он видел, как приходили к Чумару пожилые алтайцы за советами. В глазах парня этот человек рос, с каждым днем казался мудрее, недаром у него такие вдумчивые, проницательные и добрые глаза. Ярманка сам не раз порывался спросить у него совета, но всегда упрекал себя:

— Я не маленький — сам знаю, как поступить... Он строго скажет: нельзя обычай нарушать.

Однажды, провожая Чумара до аила, парень нечаянно уронил давно обдуманный вопрос:

— Ты партийный?

Видя, что учитель качнул головой, обрадовался:
«Скажет, что можно...».

Слова о Яманай вырвались, казалось, помимо воли.

Учитель остановился и успокаивающе посмотрел в стыдливо прятавшиеся глаза юноши, умное лицо его оставалось таким же заботливым о всех, в тихом голосе не было ни осуждения, ни упрека. Ярманка удивился тому, что среди чужих людей оказался такой близкий человек, понявший его и отнесшийся так соучастливо.

— Ничего в том плохого нет, что она тоже из сеока Мундус, — сказал Камзаев, слова его лились плавно, тепло. — Старые сеоки — байская узда, которую богачи одевали на бедняков. Мы наплюем на сеоки. Богатый алтаец из рода Мундус тебе не брат. Все бедняки всех сеоков — братья.

Учитель тяжело вздохнул:

— Такое время было в нашу молодость, что человека обычай ломали, как буря сосну. Мне вот также хотелось жениться на одной... из нашего сеока, но... в то время таких смельчаков прутьями драли...

Он наклонился к парню, облил его задушевным шопотом:

— Не торопись. Ты еще молод. Яманай обжилась там, может и привыкла... Не приноси в аил бедняка лишнее несчастье. Ты учись знай, учись и учись... А



потом увидишь как тебе лучше жизнь свою обосновать.

Ярманка сказал, что он не раз приходил к такому решению, но оно всегда вытеснялось воспоминаниями о лунной ночи.

— Ничего, у тебя много лунных ночей впереди, — мягко сказал Чумар, уходя к айлу, укутанному фиолетовыми мехами тихого вечера.

6

Нарочито прокашлявшись, Борлай легко отодрал свое тело от земли, взглянул сверху вниз на кочевников, которые, казалось, вросли в лужайку, и заговорил с резким напором. Соседи отметили, что он старался походить на Суртаева. Ему, в самом деле, хотелось говорить так же долго, гладко и вразумительно, как умел говорить Филипп Иванович, но язык его одеревянел, а слова куда-то провалились. Бросив десяток коротких фраз, он чесал чубуком верхнюю губу и думал, что бы еще сказать. И было это тяжелей, чем валить сутунки в лесу: пот залил все морщинки на его лице.

— Вот он каждый день ходит ко мне и просит жеребца на неделю: я, говорит, свой табун отделяю от общего.

Борлай кивнул на Утишку.

Тот нетерпеливо крикнул:

— В большом табуне мои кобылы могут не огуляться. Пусть жеребец десять дней живет у одного, потом у другого...

— Ишь ты, какой умный! — крикнул Содонов. — Дадут мне жеребца на десять дней, а он в эту пору ни одной кобыле не нужен. Тогда как?

— А в общем табуне не огуляется тоже пользы мало, — бурчал Утишка.

— Не мне и не тебе его отдали, а всем вообще, которые в товариществе, — старался втолковать Борлай. — Забот тебе о жеребце меньше, а пользы больше.

— Правильно. Так и пиши, — сказал Сенюш, мет-

нув короткий взгляд на Чумара и, повертываясь на другой бок. — Добрые птицы всегда летают стаями, а в одиночку — только птицы разбойники.

— Начнем друг о друге заботиться — всем будет хорошо, — сказал Борлай, с удовлетворением отмечая, что люди новых становищ живут дружнее, чем раньше. Рассыпались мрачные предположения. И не так часто, как в прошлом году, слышались грустные вздохи. Казалось, что нынче и небо чище, и воздух прозрачнее. В людях, надеющихся друг на друга, просыпалась смелость и сила.

К аилам приближались всадники. Впереди них ехал Тюхтень.

«Однако, назад сюда кочевать хотят?» — подумал Борлай.

Старик медленно подошел к нему и дружески предложил трубку.

Они сели. Тихо, по-семейному перекидывались словами:

— Старая береза вверх не растет, новых веток у ней все меньше и меньше.

Чуткое ухо могло уловить в шершавом голосе старика самоосуждение. Приняв от Борлая трубку, он продолжал:

— Так и я... Остарел, чтобы говорить мудрые слова. Худо сделал, что в прошлом году отсюда откочевал, и людей, у которых ум короткий и сердце баранье, за собой увел. Принимай назад. Их тоже принимай...

Глазами показал на своих спутников.

Острые взгляды старожилов недоверчиво ощупывали старика.

— Здесь же злой дух... медведь аилы ломает.

— Принимай, говорю, — настаивал Тюхтень. — У медведя того две ноги, он у Сапога овец пасет.

— Еще в прошлом году тебе говорили об этом...

— У меня тогда ум совсем помутился. Принимай, Борлай.

— Пусть ставят аилы, — крикнул Сенюш.

— Место маленькое, тесно будет, — тревожно возразил Утишка, теребя самый пышный кустик бороды.

Борлай тряхнул головой с такой смелостью, какой не знал до того дня, голос его стал гуще:

— Проживем. Дружному народу не будет тесно. Да и не на век наша стоянка здесь. В Каракол спустимся, в самую долину, на хорошее место.

Повернув голову, уронил к ногам старика громогласное:

— Кочуй к нам, Тюхтень, кочуй скорее!.. Силы будут больше!



КАРАКОЛ

Каракол — величественный въезд в долину Каракол к югу от Алматы. Каждый год в мае здесь отмечается праздник Каракола, посвященный легендарному основателю города — кочевому хану Тюхтению.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

— Еду я домой, сама луна золотолицая провожает меня. Ишь, норовит обогнать, да в лицо заглянуть. А дома меня встретит жена, красотой своей поспорит со взрослой луной.

Конь, одним глазом посматривая на утомленное лицо хозяина, с резвой рыси незаметно перешел на мерный шаг.

— А если она опять хворает?

Лицо Анытпаса вдруг стало серым, на лбу завязались узелки.

— Я не выполнил волю богов... Злой Эрлик возьмет ее, а потом и меня...

Всю зиму Анытпас вертелся около толстых лиственниц, облеплял кору снегом, изображая широколобого человека, прятался в лесу и медленно подымал ружье, нацеливаясь в грудь. Без конца повторял, что роковым выстрелом удовлетворит желание всесильного и жадного Эрлика, но в дрожащих руках его стыла кровь, и пуля свистела, распарывая снег далеко от лиственницы. В голове возрастал шум, обострялась боль. Он так крепко зажмуривался, что потом, открыв глаза, на месте лиственницы на мгновение вставал перед ним живой человек, умолявший о пощаде. Губы Анытпаса с дрожью шептали: «Все-таки он — Мундус, а я вырос у Мундусов...». Иногда он видел себя на месте этого человека, поспешно отвертываясь и убегал к лошади.

Раза три встречался с Шатыем. Стариk проезжал мимо, не проронив ни слова, только косо посматривал на него. В леденящем взгляде его Анытпас видел укор, обреченье.

Весной, когда стригли жеребят, пастух свил из лучшего волоса тонкий и длинный аркан, решив:

«Из-за камня петлю наброшу и погоню коня во всю мочь...».

Вспомнил, что по ту сторону хребта вот так же расправились с одним алтайцем, который поднял голос против богатых и записался в какое-то новое племя. Это было ночью. Алтайца арканом выдернули из седла, протащили по земле шагов сто, пока не вырвали руку...

— Я не так... Я умею кидать мертвые петли. Баранов арканил...

Растаяли снега, прошли буйные воды. Открылся путь через хребет. Анытпас стал посматривать за тропой. Когда Борлай возвращался из села, Анытпас с другой стороны обогнал его, прячась за разлапистые лиственницы. Украдкой посматривал на тропинку, извивавшуюся неподалеку, и тотчас же прятал затравленный

взгляд: ему казалось, что оттуда чьи-то огненные глаза метали в него пронзительные стрелы, что вот сейчас раздастся властный окрик: «Положь аркан!» Правая рука, сжимавшая моток, вздрогивала, словно мимо проносилась лошадь, которую необходимо было поймать, и беспомощно опускалась. Анытпас ни на что не мог посмотреть в упор, чувствуя, что даже молчаливые камни глядели на него укоризненно, и лесная трава осуждала его намерения. Он уже хотел повернуть коня и ускакать подальше от тропы, но в это время деревья ожили и зашептали шершавым голосом Шатыя:

— Выполни волю Эрлика... Сегодня лучше, чем когда-либо...

«Может быть это горный дух советует мне?» — подумал пастух. Трепетно озираясь, он остановился за скалой, которая возвышалась над тропинкой.

— Здесь меня не видно...

Коленки бились о бока заседланной лошади, зубы почакивали. Руки долго не могли закрепить конец аркана, обмотанного вокруг седла и стремян, а ведь он сотни раз умело закреплял его, когда ловил в табунах лошадей, не знавших узды. Петля всегда с первого раза захлестывала лошадиную шею. Он не помнит случая, когда бы промахнулся.

— И сейчас не промахнусь... хотя сердце стучит, и руки одеревянили. Я выше брошу аркан, петля во-время развернется и упадет прямо...

Чуткое эхо повторяло шепот. Казалось, кто-то подслушивал. Отглянувшись, Анытпас уронил:

— Здесь плохое место... С тропы видно меня. — И погнал коня на гору.

Смелый топот настигал его. Все ясней и ясней слышалось цоканье копыт.

Оставив лошадь в лесу, он спрятался в расщелине, поверх камней была только голова да правая рука. Сидел неподвижно, сдерживая дыхание и силясь остановить дрожь.

Темнота вдруг сгустилась и придавила его. Не шелохнуться, не подняться. А топот все ближе и ближе. За спиной прыснула лошадь. Казалось, горы вздрогнули от неожиданного звука. Зашевелились камни, буд-

то хотели вытолкнуть Анытпаса на тропу. Глухо ухая, пролетел филин, шелест крыльев, как шопот...

— Чует мою неудачу.

Анытпас подумал о том, что человек, умирая, превращается в духа, который приносит людям зло. Борлай умрет возле его ног. Как спасется Анытпас от злого духа покойника?

— Лучше сделать это днем и при народе. Ножом в грудь... — Слова его шуршали, точно сухой лист. — Пусть много будет людей, но никто не защитит Борлая, отступника...

Слабая усмешка над нелепыми мыслями и малодушем скривила побелевшие губы.

— Я на него — аркан, а Эрлик в это время ему седло на спину. Уж он его погоняет! — Слова походили на детский лепет и нисколько не ободряли.

Шептали камни, шептали травы:

— Вот он, Анытпас, здесь... Спрятался с арканом. Вот он...

Вместе с топотом лилась неотразимая сила, отдирала от камней и, наконец, властно кинула к коню. Долго не мог развязать поводья, рванул зубами. Выехал на тропинку и помчался вниз. Филин хохотом провожал его.

Навстречу шагом ехал всадник, но Анытпасу показалось, что тот надвигается на него с быстрой оголтелой выюги, и он издали почувствовал его глаза, впившиеся в темноту.

— Якши, Анытпас! — приветливо крикнул Борлай. — Новости есть?

— Якши болзын! — рявкнул дрогнувшим голосом, проносясь мимо и даже не заметил, что вместо «здравствуй» сказал — «до свиданья».

Скакал, не оглядываясь, чувствуя, что взгляд Борлая пулей летит за ним. Не оттого ли жжет затылок, точно огнем?

Каждая пихточка повторила слова Токушева:
«Ошалел парень!»

Вспомнив все это, Анытпас облегченно вздохнул:

— Придет такой день, что я все сделаю. И Ульгенъ пошлет мне обещанных лошадей. Не буду я вертеться около чужого аила, как бездомная собака.

Закрывая глаза, он видел солнечную долину с войлочной юртой, цветистые луга со стадами и табунами. Все это принадлежит ему, Анытпасу Чичанову.

Приподнялся на стременах, хлеснул лошадь плетью.

— Что это?! Из моего аила не струится дым? Нежели Яманай хворает?

Лицо его сморщилось, позеленело.

В аил влетел с шумом, остановился у порога. Пусто. Разворочена холодная постель. Погасшие головешки уставились из очага кабаньими мордами.

— Где она? Ушла за жандыком? — спрашивал он, перерывая золу. — Огонь сегодня погас.

Ему было стыдно перед самим собою.

— Какой же я хозяин? Жалел ее, не был, так вот... Он плонул на головешки.

— Правду говорят: «Жену не бить, хозяином не быть».

Скрипнув зубами, упал на кровать. Где-то глубоко-глубоко тлели думы:

«И жизнь такая же пустая, как мой аил».

Долго лежал без движения. Вздрогнул от легкого прикосновения заботливой руки, открыл глаза, — перед ним стоял сам Сапог и, соболезнующе улыбаясь, сообщал:

— Соседкам сказала, что за жандыком пошла, а сама...

— Куда? — перебил Анытпас и сразу же сник, вспомнив, что нельзя прерывать речь Большого Человека.

— Туда, на хребет.

Старик не показал, что обижен не во время вырвавшимся словом пастуха, продолжал:

— Мы с Шатыем возвращались с камланья и встретили ее. Она шла с Борлаем и мило так разговаривала.

Анытпас враз вытянулся, глаза округлились и задрожала нижняя губа.

— С Борлаем? Мне говорили, что она раньше с Ярманкой...

— Они братья... не скрятся из-за нее, — говорил Сапог, растягивая слова, и сочувствующе покачал головой.

Пареньмял свои руки, думая вслух:

— Токушевы мне не братья. В них кипит не добрая кровь Мундуса, а поганая, дурная, как у бешеной собаки.

— Одна такая собака может весь народ наш перекусить. Тогда всем конец, — в тон ему продолжал Сапог, сделав лицо прискорбным.

— Дурных собак убивают? Убивают, — бормотал Анытпас. Будто сонный, прошел мимо Сапога, открыл дверь — и прямо к коню.

2

Измученный конь покрылся пеной, на нем не было ни одной сухой шерстинки. Анытпас без отдыха сновал по лесу, посматривая за тропой.

— Теперь у меня палец не дрогнет, — говорил уверенно громко. — Бабу воровать вздумал, собака... Я за бабу всем Токушевым головы пообрываю.

Он рвал мягкие кисти кедровых веток и с отвращением бросал.

— Вот так...

На исходе второго дня он заметил на холме что-то похожее на камень, который то задерживался возле пней, то с новой силой бросался вниз. Направил гуда коня. Еще издали разглядел, что это — невысокая женщина, одетая в грязные лохмотья. Она часто спотыкалась и катилась кубарем, пока не встречалася пень, или куст красной смородины.

— Это она, — сердито выдохнул пастух и вмиг побагровел.

От нового чегедека остались одни ленточки. Лохмотья изорванной шубы волочились по земле. Обнаженная голова, казалось, вросла в плечи. Косы ее были взлохмачены. Подошвы сапог протерлись, и голенища болтались на ногах, как береста на полусгнивших пнях. Было ясно, что если она еще раз упадет, то не встанет.

— Куда ползешь? — прорычал Анытпас, осаживая коня.

Яманай с трудом подняла окруженные кровоподте-

ками глаза и, узнав мужа, повалилась за куст, будто ветер подломил хилое дерево. На лице ее — кровяные коросты, на руках и ногах — многочисленные ссадины.

В грозовую ночь она сбилась с тропы и вышла на незнакомую вершину. Там она хотела пересечь неширокую россыпь, но камень пополз вниз, увлекая ее. Она катилась по острякам, и мелкий щебень засыпал ее. Она уже простилась с жизнью, но на ее счастье каменный поток вскоре остановился. Затем она попала в неожиданно вывернувшуюся из-за скал реку. Вода ждала ее с камня на камень, легко переворачивала и на крутом повороте брезгливо выбросила на пологий берег... В таежной чащебе сухие сучья хватали ее за лохмотья, пороли дряхлую обувь...

— Какой зверь тебя рвал? Сказывай! — рявкнул Анытпас, падая на нее коршуном.

Яманай молчала. Кольнула мужа коротким взглядом, полным отвращения к нему.

Он осыпал ее, свернувшуюся клубком,ударами, пинками и щипками.

— К чужим мужикам бегать... А? Мужа бросать... А?
За тебя сколько заплачено... А?

Она прятала от него лицо, закусила большой палец, чтобы не проронить ни звука.

— А-а, морду воротишь, — рычал Анытпас. — Я тебе нос раскровеню...

Он дышал часто и тяжело. Остановившись, чтобы вытереть пот с лица, он увидел перед собою неподвижное тело жены, испуганным зайцем прыгнул в сторону и приник к мрачному камню. Полными ужаса глазами уставился на нее, смутно чувствуя возраставшую жалость, которая струилась, как вода из родника, постепенно заливая все тело, вот и грудь переполнена, больно щекотало в горле, из глаз сыпались мелкие капли.

Ему было жаль не столько Яманай, сколько себя. Где он возьмет вторую жену? Чем заплатит за нее? Не будет же Сапог женить еще раз. Холостая и голодная жизнь пастуха — вечный удел его.

Он обрадовался, когда Яманай, напоминая ежа, слегка приподняла голову, чуточку приоткрыла опухшие

глаза и украдкой посмотрела во все стороны. Не видя мужа, она смело вскочила и побежала под гору, сверкая голыми пятками.

Ему хотелось догнать ее, утешить, приласкать, но неожиданно проснувшееся раздумье удержало его:

«Увидит мою жалость — не будет уважать меня, хозяина», — подумал он и сразу же решил:

— Не поеду сегодня домой. Потом приласкаю...

В лиловые сумерки Таланкеленг, возвращаясь с отарой на ночовку, увидел среди луга женщину, захлебывавшуюся слезами, и помог ей добраться до убого-го жилья возле овечьего загона.

3

Их было пятеро. Впереди ехал Суртаев в измятой и облупившейся кожаной тужурке и такой же фуражке и Людмила Владиславовна в черном пальто, широких шароварах из темносинего сатина и клетчатой кепи, вокруг них увивался Аргачи, безумолчно трещавший и то-и-дело показывавший где чай аил и кто куда кочует на зиму, за ними следовали — председатель сельсовета — светлобородый, широкоплечий, с бледным лицом, избитым оспой, в красной рубахе с широким расшищим воротом, и секретарь айкома комсомола Тозыяков, крутоплечий парень с бесстрашным профилем, умными глазами и щетинистыми, давно нестриженными волосами. Позади них цепочкой тянулись лошади с громоздкими выюками.

— Юрту поставить да чай вскипятить не успеете, а я во все аилы слетаю, — сказал Аргачи, отделяясь от группы.

— Облететь аилы — этого мало. С каждым алтайцем надо поговорить да под шубу к нему залезть и сокровенные думы выведать, — настойчиво посоветовал Филипп Иванович.

Тозыяков поехал следом, сказав:

— Я с ним. Вдвоем легче...

Сапог выехал навстречу каравану, лицо у него было торжественное, осанка важная. Наконец-то, едут землемеры, отрежут землю для его товарищества, оstellят,

раскаленными печатями все столбы припечатают, тогда никакие Токушевы ему не страшны, никто не осмелился переступить грани. Он знает, что по Земельному кодексу землю делят на десять лет. Еще осенью он заплатил деньги за землеустройство, всю весну ждал землемеров. И вот они едут. В большой комнате для них накрыт стол...

Думая о встрече, он отметил:

— Инструмента сколько везут! Пять вьюков!

Ему казалось, что всадники спешат, жаждут встречи с ним. Лошади, чуя сытный корм и отдых, рвутся вперед.

Когда увидел, что на кожаной фуражке переднего всадника нет никакого значка, остановился.

— Кто это такой? Суртаев?! Опять куда-то пополз?

Лицо Сапога вытянулось, руки упали на серебренную луку седла. Пересиливая себя, смиряя клокотавший гнев, он льстиво поздоровался и спросил:

— Какая экспедиция едет, мудрые люди? Геологи? Камни собирать? Золото искать? Или ботаники?

— Геологи, — ответил Суртаев, сдерживаясь. — Новые пласты подымать...

— Заезжай ко мне, Филипп Иванович, отдохнешь, — предложил Сапог. — А я думал, что землемеры едут. Когда порядок будет? Осенью деньги уплатил сполна, говорили, что скоро пошлют...

— Зачем тебе землемеры?

— Землю товариществу отвести.

Заглянул в холодные глаза Суртаева.

— Какая земля товариществам полагается?

— Лучшая. Но у вас может быть не все бумаги оформлены? Мы по товариществам ездим...

— Бумаги у меня все в порядке. Посмотри пожалосто, Филипп Иванович, помоги. Я в долг не останусь.

Суртаев промолчал, еле подавляя возмущение, и подумал:

«Раньше времени нельзя неприязни обнаруживать, а то он пошлет своих людей по айлам, какую-нибудь страшную небылицу пустит. Как-то масса отнесется к нам? Нелегкая задача...»

Сапог поехал рядом с ним, осторожно нагнулся и

шопотом спросил, показав глазами на Людмилу Владиславовну:

— Баба твоя? Я могу для вас отдельную комнату, перину...

— Нет. Она девушка.

— Девушка?! Хи-хи-хи. С собой возишь, и девушка...

Людмила Владиславовна остановила своего коня. Сапог оглянулся на нее, потом вслух сказал:

— Тут есть алтайкимягче, красивее...

— Я это без вас знаю, — оборвал Суртаев.

Они проезжали мимо усадьбы. Сапог ухватился за рукав тужурки и потянул к воротам.

— Заезжай, Филипп Иванович. У меня все учёные люди останавливаются. Агроном Говорухин, Николай Валентинович, три раза гостил. Томские профессора много раз приезжали, сказки записывали...

— Нет, — отрезал тот. — Надо свою юрту ставить. Там, на бережке расположимся. А устав товарищества и списки принесите, я посмотрю, все ли оформлено.

Сапог сделал обиженное лицо, необычайно мягким голосом спросил:

— Гнушаешься мной, грязным алтайцем? Или ты сердишься? А я не такой: у меня память только на добрые слова, худые я не помню, — все старое забыл. Приезжай.

На следующий день он пришел в войлочную юрту, над которой застыл красный флагок, и, рассматривая плакаты, нарочито зевал, как бы между прочим, бросил равнодушный вопрос:

— Зачем, мудрый человек, Филипп Иванович, своих людей по аилам послал?

— Народ собирать сюда. Картинки буду показывать.

— А-а, волшебный аппарат? Богато ты живешь. Добрый человек всегда богат. Бедняками живут только лодыри.

Сапог степенно сел на кошму, не спеша закурил.

— А когда, скажи пожалосте, в Новосибирске будет сельскохозяйственная выставка? — спросил он. — Говорили, что скоро будет, а ничего не слышно. Не могу дождаться.

— А тебя это очень интересует?

— Очень. Я — культурник. Мне желательно, чтобы краевые специалисты посмотрели, правильно ли я хо-зяйство веду.

— Кажется, выставка отложена на неопределенное время...

— Ну?

На лице Сапога мелькнул минутный испуг, он поду-мал:

«Неужели политике какой поворот вышел?»

Достал бережно свернутые бумаги, которые хранил на своей кровати, под периной, вместе с деньгами, и подал Суртаеву, глядя прямо в глаза. Тот бегло про-смотрел устав и небрежно засунул в свой карман. Са-пог вытянулся, готовый вскочить на ноги, и так на минуту застыл.

— Народ соберется, буду этот устав читать, — с удовлетворением бросил Филипп Иванович, переходя на тон человека, предчувствующего жаркие схватки и крепко уверяющего в свою победу. В ту минуту он по-думал:

«Для начала и то хорошо, что документы из'ял».

— Зачем читать? — тревожно спросил Сапог и под-нялся, подозрительно рассматривая Суртаева, вдруг ставшего жестким.

— Может еще кто пожелает товарищество организовать.

— Нет здесь таких. У них в головах вместо ума — толкан. Отдай устав... Когда потребуется, я принесу.

— Не нужно носить его туда да обратно. Завтра утром позовите сюда всех членов вашего товарище-ства.

— Зачем понадобились?

— Проверить. Может их нет совсем.

— Сапог никогда не лжет.

Уходя, он погрозил пальцем:

— А кто Сапога обманет, тому счастья не будет.

Вечером он еще раз пришел в войлочную юрту, но не застал никого, кроме ямщиков.

— Все уехали к алтайцам, — сообщили ему.

Ночь была для Сапога беспокойная, как в военные

годы. Казалось, вокруг жилья ходил кто-то настолько тяжелый, что земля гнулась от его шагов, и от легко-го движения его ручищи колыхалась толстая кошма на белой юрте, — сейчас великан поднимет ковры над входом в жилье и крикнет:

— Поворот... Поворот...

— Почему Говорухин не пишет? — тревожно шептал Сапог. — Неужто в самом деле?..

4

Утром Сапог вышел из усадьбы, чтобы полюбоваться солнцем, низвергвшим золотые струи тепла, и внезапно остановился, всполошенно протирая глаза и всматриваясь в сизую даль. Каракольская ли это долина, где в течение многих столетий жили покорные Мундусы, Майманы и Модоры, над которыми еще недавно заслуживал он? Из всех ущелий мчались всадники, было похоже, что какая-то неведомая силища приподняла каменные мешки и вытряхнула людей в долину. Скаакали они так напористо, как скачут ярые охотники, настигая зверя. Центром, притягивавшим их, была юрта того бритоголового и остроглазого русского, который стал алтайцам-беднякам как бы кровным родственником. С хребта спускался отряд. Догадываясь, что впереди всех едет старший Токушев, Сапог почувствовал остroe желание ворваться в аил Анытпаса и плетьью исхлестать непослушного парня.

— Лошадей за его бабу отдал, той ему устроил, а польза какая? — скрипел, сдерживая дрожь.

Первый раз собирается столько народа, созванного не им, Сапогом Тыдыковым, а кем-то непрошенно вломившимся в тихую жизнь долины. Он попытался успокоить себя:

— Народ знает меня, помнит... Сердце не зуб, его не вырвешь, и иным, железным, например, не заменишь. У алтайцев сердце трепетное... Они не посмеют против меня...

Вернулся домой, чтобы переодеться. В руках его шелестела шелковая шуба.

— Выйду к ним и все вспомнят, что это — зайсан-ская одежда, только бляхи нет... Языки у них примерзнут...

Первое собрание было таким многолюдным. Возбужденное настроение алтайцев обещало успех. Сам Филипп Иванович был не только удивлен, но и поражен шумным негодованием. Еще вчера, об'езжая аилы, он сомневался в успешном исходе смелого замысла. Думал, что на многолюдном собрании не побороть байских защитников. Крепкую надежду он возлагал только на Аргачи. Хромца все знали с пеленок. Хозяин много раз помыкал им, дураком называл, а теперь все поняли, что парня с такой головой, научившегося грамоте и живущего без байского благодетельства, надо уважать, что он может сказать весьма полезное и вывести на дорогу лучшей жизни.

Филипп Иванович говорил о классовой борьбе, о колхозах. Борлай, впервые председательствовавший на большом собрании, живо передал все проказы Таланкеленга, подробно изложил историю с трубкой. Виновник сидел недалеко от стола предизиума, не смев поднять глаз. Когда уничтожающие взгляды вонзились в него, и посыпались острые вопросы, он крикнул с мольбой, как человек, которого ужаснули внезапно открывшиеся последствия всех его поступков:

— Я слепым был... делал, что Сапог велел.

Суртаев посмотрел в сторону усадьбы.

— Вон он сам идет. Сейчас мы с ним поговорим...

Встало только шесть человек, остальные не шехолнулись.

— Где члены вашего товарищества? — строго спросил Филипп Иванович.

Сапог указал на четырех алтайцев.

— А-а, так и ты член товарищества? — Суртаев склонился над Таланкеленгом. — Давай-ко рассказывай, что ты в «товариществе» делаешь.

— Пастух... овец пасу, — растерянно отвечал тот.

— Чьих? — выспрашивал Суртаев, вонзив взгляд в его переносицу.

Таланкеленг показал глазами на Сапога.

— А сколько у тебя скота? Нисколько? Так, так: Член товарищества...

Опросив всех четырех, таких же бедняков, Суртаев заговорил громовым голосом:

— Вот видите, я не ошибся. Бай слепил лжетоварищество, чтобы нагло обмануть советскую власть и, по-прежнему, бес совестно ездить на вас.

— Ездил, а теперь пусть пешком ходит, — рявкнул Аргачи.

Удивленные, но доверчивые взгляды уставились на него.

— Если бы не я, ты бы еще вот таким издох, щенок сопливый, — прохрипел Сапог.

— Молчи. Тебе слова не давали, — остановил его раскрасневшийся Борлай.

По-собачьи повернувшись к нему, Сапог остался с недоуменно открытым ртом.

«Какое слово? Мне принадлежало большое слово, которое облетало все айлы Каракольской долины. Мне», — подумал он.

— Если бы не советская власть, то я всю жизнь прожил бы у тебя на собачьем положении, — в тон Тыдыкову ответил парень.

Глаза алтайцев говорили:

— Ты все знаешь, лупи его.

Чувствуя на себе ожесточенные взгляды, Сапог кидал в пространство шепот:

— Какая дурная собака укусила их? Еще в прошлом году они брали у меня коров на подержание...

Алтайцы вскочили на ноги, сгрудились к столу. Послышался визгливый голос, угрожающий:

— Не трогайте Большого Человека... Худо будет...

— Ничего не будет. Председатель здесь... Товарищи из аймака, из области...

— Сапог помогал нам... коров давал...

— И за это по пять шкур с нас снимал.

— Правильно. Заткните им глотки.

— Не давайте байским защитникам говорить...

И опять обрывки речей Суртаева и Тозыякова, шум, крики, нарастающая гневная волна...

Многоголосое собрание грохотало до вечера. Впер-

вые говорили так много и горячо. Казалось, открылись родники ненависти, и немые приобрели дар речи.

Когда Борлай об'явил:

— Слово имеет агроном...

Сапог вздохнул вольготнее, но после первых же посороочьему торопливых и трескучих слов Людмилы Владиславовны помрачнел пуще прежнего.

— Какой это агроном... Вот Николай Валентинович Говорухин действительно агроном, а это стрекотуха, — едва слышно ворчал он.

— Заткните глотку бая шапкой, — грозно посоветовал Борлай.

Людмила Владиславовна, поблескивая зажегшимися глазами, звенела:

— На основании постановления аймачных организаций, предлагается немедленно ликвидировать байское товарищество...

— А потом будем создавать свои, бедняцко-середняцкие товарищества, — дополнил Суртаев.

Топая ногами, как лошадь, отбивающаяся от бронзовых паутов и серых слепней, Сапог закипел:

— Ликвидировать?.. Ты плевка моего не стоишь... Сорока бесхвостая...

— Прогнать его отсюда...

— Землю разделить...

— Мы назад сюда прикочуем, на хорошие места...

— Он, товарищи, скоро будет голоса лишен. Тогда со всех собраний гоните его, как покастлившую собаку, — твердо говорил Суртаев.

Он выхватил устав, свернулся трубочкой и снизу поджег, крича:

— Вот и конец байской затеи.

Редкая бороденка Сапога тряслась, маленькие глазки округлились, выкатились, обнажая белки с сеткой красных жилок. Он прыгнул к Филиппу Ивановичу, на мереаваясь выхватить пылающую бумагу, но чьи-то тяжелые руки мертвой хваткой упали на его плечи. Затрещала шуба. Кто-то предложил рвать шелк — на шапки годится. От зайсанской шубы остались бы одни клочья, если бы Суртаев не остановил хлестким окриком.

Шумная разноголосица напоминала сокрушающий рев вод, которые веками копились на горах и теперь неожиданно проломили каменную стену.

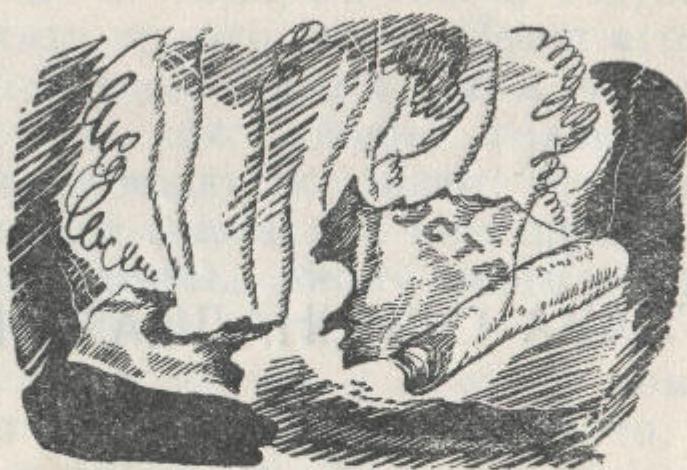
Сапог с поникшей головой брел к своей усадьбе. Ему все еще казалось, что произошла прискорбная ошибка, что через минуту люди разберутся во всем, вернут его и будут просить прощения за свою грубость. Ведь он помнит этих людей голопузыми мальчишками. Они всегда безропотно подчинялись ему, старались угодить во всем. И вдруг такая буря...

— Неужели они по доброй воле говорили все это?

Он вспомнил, что в газетах начали писать о расслоении деревни.

— Никакого расслоения... — успокаивал себя. — Их просто подкупили, подпоили... Я в область поеду жаловаться, в Москву...

За его спиной ветер рассеивал бумажный пепел.





ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Борлай вернулся в долину Голубых Ветров в тот день, когда впервые приехала туда красная юрта. Издали увидев народ, столпившийся у входа, он понял, что Суртаев о чем-то рассказывал алтайцам или знакомил их с замысловатой машинкой, вроде будильника. Он подумал о том, как, оставив лошадь нерасседланной, побежит туда, прорвется сквозь толпу и пока-

жет учителю маленькую книжечку, которая лежит на груди, против сердца, — и все кочевые поймет, что теперь Борлай Токушев действительно человек нового племени, большого-пребольшого, рассыпанного по всей земле и бесчисленного, как звезды на небе, самого молодого племени и самого сильного.

Сердце внезапно встрепенулось. Ему хотелось заглянуть в грядущую минуту. Думалось: все будут смотреть на такую крошечную, но несказанно дорогую книжечку, а он в это время на искривленных губах Байрыма увидит горькую усмешку, в глазах прочитает разящий вопрос: «Настоящий человек нового племени, а в мешке у тебя что лежит?» Лицо Борлая в этот миг напоминало раскаленный до красна чугунный обломок.

Вот так же смущился он, когда расписывался в получении партбилета. Казалось, над головой повисло жестокое:

«Ты почему обманул брата и обманываешь партию?»

Все тело его в один миг покрылось горячим потом. Не помня себя, он вышел в сени, скатился с крутой лестницы и пал на коня. За селом, очнувшись от раздумья, нарочито громко запел. Песни его были смелы и блестали новизной. Он пел о том, что есть на земле люди со светлой, как солнце, головой, бесконечно сильные: они все видят, все знают. Это они стали звать бедняков в новое племя, и к ним пришли русские, алтайцы, казаки, татары... Много-много народу пришло к ним. И все эти люди — братья.

Вечером, сидя у костра и думая о доме, он второй раз внезапно вспотел. Щеки покалывало. Хотелось закрыть глаза и упасть, чтобы молчаливые пихты не видели горевшего лица. Нарочито уверенно кидал в гулкую темноту:

— Приеду, созву все кочевые и сожгу курмежеков на костре...

А потом — холодным тоном постороннего:

— Стыд опалит тебя, Борлай, и больше ты так не сделаешь.

Теперь у него не было ни малейшего сомнения в том, что хребтовые и долинные духи выдуманы тру-

ливыми людьми, которые ползали перед такими баями, как Сапог.

«Не умилостивишь бая — не сдобровать», — вспомнил он давнишние советы отца и подумал:

«Живой бай владел землей, подыхал — духом делался и тоже владел долинами, хребтами, лесами».

Прошел год с тех пор, как Борлай, отправляясь в путь через сугровые хребты, не стал брать с собою на вершину горы камень или ветку — подарок хребтовому, второй год никто не охранял вход в его аил, а ни одного несчастья не случилось.

«Правду говорил Суртаев во время курсов, что никаких духов нет — ни злых, ни добрых. Все идет само собою. Земля кругом идет, вода кругом идет с земли на воздух, все двигается».

Он вслух повторил с упреком:

— А у меня в мешке лежат курмежеки, караульщики. Байрым свои давно спалил, а я в мешок засунул...

В первые дни Борлай почему-то забыл про дряхлых иолов, сорванных с притолоки и спрятанных в мешок. Вспомнил только зимой и так-то ему стало неприятно. Хотел унести в лес, но подумал, что Байрым знает об обмане, придет и спросит: «Куда перепрятал?» Чем дольше курмежеки лежали в мешке, тем тяжелее было думать о них, а не то что извлекать и перепрятывать. Не раз порывался при всем народе сжечь их на костре, но при этом всегда спрашивал себя:

— Что скажу, если услышу: «Почему раньше не спалил?»

Чувствовал, что не об'яснить цепкую власть вчерашнего, как не может об'яснить себе, откуда минувшей ночью взялся лось с серебряными рогами, пронесший его по хребту, вокруг которого в сиявших ветках виднелись звезды, точно кедровые шишки...

— Когда-нибудь добьюсь, что все мне будет понятно... В книгах обо всем прочитаю...

К своему аилу он под'ехал, когда мужчины и женщины, обгоняя друг друга, двинулись к загонам, где каждое утро и вечер алтайки доили коров. Он поспешил присоединиться к ним. Впереди шла та белокурая девушка, которая на выставке показывала им плуги и

бороны, жатки и молотилки. Она несла блестящую палку, которой обмеряла коров.

— Надо жить на одном месте, — говорила она. — Дворы построить, коровы окажутся в тепле, и вы круглый год будете с молоком.

— Как на одном месте жить? — испуганно спросила Муйна Байрымова.

Алтайки враз заговорили:

— Шибко грязно будет кругом...

— Коровы всю траву вытопчут и с голода подохнут.

— Кочевая жизнь — наша родная...

Борлай подошел к Филиппу Ивановичу, помогавшему обмерять коров.

— Ну, получил партбилет? — спросил тот.

— Получил! Вот!

Старший Токушев взмахнул книжками, щеки его расцвели.

— Этот мне, этот Байрыму, а этот — Сенюшу.

— Теперь ты настоящий партиец! — сказал Суртаев, слегка потрепав его по плечу. — Поздравляю!

Весь вечер Борлай тенью ходил за ним. Беседа в красной юрте прошла мимо его внимания, даже проекционный фонарь не заинтересовал его. Филипп Иванович несколько раз поймал на себе спрашивавший взгляд кочевника и догадался:

«Что-то серьезное мужику в голову запало?»

Поздно ночью он вышел из юрты и позвал его с собой. Они молча прошли по лугу, засыпанному лунным светом, будто первым снегом. Наконец, Борлай, быстро потея, спросил:

— Человек записался в партию, билет получил, а сам обманул... Что ему будет?..

— Смотря по тому, какой обман... Ты, друг мой, расскажи мне все, — тебе будет легче.

— Партию обманул. Байрыма обманул, брата родного, — говорил торопливо, голос его дрожал, на лбу собирались узлы страдальческих складок.

Внимательно выслушав алтайца, Суртаев равнодушно спросил его:

— У тебя были нарыва на теле?

Токушев, ожидавший железных слов, обвинения, растерянно посмотрел на учителя, мотнул головой.

— Помнишь, что гной из нарыва выходит не сразу? Так же и тут. Ты говоришь, что давно не веришь ни в богов, ни в духов, тебе уже не больно, а гной прошлого еще не весь вышел...

— Больно... Добрый человек не обманывает, — перебил Борлай.

Всю ночь он рубил дрова. На рассвете запалил высокий костер. Вскоре собрались к нему удивленные люди всех становищ, а он долго не мог поднять полуприкрытых глаз ни на брата, ни на людей. Лицо его было каменным, только широкие ноздри шевелились. У ног его лежали курмежеки.

Суртаев сыпал звонкие слова:

— Представьте себе, что человек идет по густому пихтачу. Ночь. Темнота. Седые мхи падают ему на голову, на плечи, цепкий хмель хватает за ноги и долго волочится за ним. Человек выходит в долину. Солнце легко так играет. Цветы — в полном цвете. Идет он все быстрее и быстрее. Ему кажется — никто не узнает, что он ночью шел по лесу, он и сам забыл привычки, приобретенные в непролазной чаще, а на голове его все еще лежат серые мхи, и за ногами волочится хмель...

Он повернулся к виновнику раннего сборища:

— Таков Борлай. Он вышел из трущобы, отряхивает с себя пыль прошлого. Он делает это с чистым сердцем. Так ведь?

— Верно, верно, — едва слышно подтвердил старший Токушев, качнув головой.

За его спиной — глухие голоса:

— Нехватило смелости сразу сжечь...

— Рука не поднялась... Обманул...

— Он сам себя хотел обмануть...

Борлай схватил липкие тряпки, поднял их высоко над головой и крикнул так громко, что сразу сорвал голос:

— Смотрите все... Никаких духов, никаких Эрликов...



Словно отяжелевшую и противную ношу, кинул тряпки в огонь и залился облегченным смехом.

Вокруг него разохались бабы, сосед соседу высказывал мрачные предположения, и над всем этим гомоном победно плыл дребезжащий голос Тюхтена:

— Малый ребенок таким сказкам не поверит... Есть духи...

— Где же они? Покажи, хотя бы одного, — посмеялся старший Токушев.

— А там, в лесу, кам-агач... — Напомнил стариk, важно мотнув головой в сторону Каракольской долины. — И тут в лесу где-нибудь живет...

Все знали, что на пологом склоне горы, рядом с Каракольской долиной, стояла темнокрасная лиственница в три обхвата — кам-агач. Около нее догнивал бубен знаменитого шамана Чочуша. Когда-то тело кама в полном облачении было положено на широкой кровати, срубленной из лучшего леса. Ногами труп упирался в толстую лиственницу. Над ним была протянута веревочка с длинными разноцветными ленточками. В ногах его стоял бубен. С тех пор у могилы шамана был только один человек, заблудившийся в лесу. Он рассказал, что кости кама растасчены волками, кровать сгнила и только бубен уцелел. На другой день Шатый с'ездил на могилу своего предка и после того сказал народу, что душа Чочуша превратилась в горного духа и поселилась в зеленом гнезде из сучьев, на вершине кам-агач. В Каракольской долине говорили: «Потому лиственница эта такая красная, что дух Чочуша, хозяин долины, поливает ее человеческой кровью. А о Шатые с тех пор стали говорить: «В него вошла сила самого сильного кама — Чочуша».

Вспомнив все это, Борлай задорно вскинул голову и настойчиво предложил:

— Поедем, срубим ту лиственницу и посмотрим, какой-такой дух.

Торопливый шепот побежал по толпе. Кто-то говорил, что рассердятся духи и низвергнут в долину каменные потоки.

Подергивая плечами, Байрым пробрался к костру. На простертых руках его, как на блюде, лежали новень-

кие курмежеки. Лицо его горело. Было ясно, что он не сегодня узнал о новых караульщиках, которых тайком смастерила жена и над дверями склонила от посторонних глаз.

— Баба сделала, а мне не сказала... Сейчас нашел, — пробормотал он, не умея скрыть замешательства, и выплюснул тряпки в огонь, как выплескивают недопитый чай.

— Не ври. Я тебе партийный билет привез, а ты мне врешь, — обрушился на него Борлай и вдруг почувствовал облегчение, словно среди зимы вышел из дымного аила и увидел летнее солнышко, колышущиеся травы.

Едва успев приподнять дверь, Утишка укоризненно забухал:

— Почему опять не сказал мне, что поехали Сапога бить? Я бы вам помог.

Борлай, бережно отложив газету, измусоленную дыр, неумело оправдывался:

— Некогда было... торопился.

— Рядом живу и некогда... Ты отворачиваешься от меня, а я тебя считаю своим другом.

Теребя бороду, Утишка выжидательно посмотрел в лицо соседа.

«Почему же я не сказал ему? Филипп Иванович просто говорил: «Пусть приедут все члены товарищества». Я всех позвал, а этот как-то из моей памяти вывернулся, — думал Борлай. Проверяя свое отношение к Утишке, он не находил неприязни или недоверия, наоборот, даже одобрительно отзывался о нем, как о человеке, идущем вперед без оглядки, без дрожи в коленках, но почему-то Бакчибаев не раз ускользал из памяти, будто лишний и не заслуживавший внимания человек.

Почексывая верхнюю губу обглоданным чубуком, Токушев поспешно пробормотал:

— Вспомнил... Мне кто-то сказал, что ты уехал за дровами...

Сидя у огня, Утишка все чаще косился на Борлай и глухо бурчал:

— Отворачиваешься от друзей. Худо делаешь. А я без тебя помогал твоей бабе аил переставлять, сушины ей привозил, чтобы твой очаг был жарким.

Карамчи уколола его презрительным взглядом и, дернув плечами, ушла. Украдкой взглянув на нее и видя ее неудовольствие, Утишка живо повернулся к Борлаю и заговорил с таким жаром, будто осуществилось то, чего он так страстно желал:

— Даже небо сразу посветлело, когда у Сапога крылья пообрзали. Я бы ему все маховые перья выдергал, тогда нам еще вольготнее стало бы.

Токушев испытующе посмотрел на него и, видя неподдельную радость, решил:

«Стойкий мужик. Поближе к себе подвину его».

Утишка продолжал с возраставшей силой:

— Не только размахнуться, крыльев поднять нам не давал. Филининными глазами высматривал, как бы кто не оперился.

Он просидел до темна, без умолку разговаривая:

— Места козлиные хорошие знаю. Осенью покажу тебе. Промышляй.

— А ты сам разве не поедешь на промысел?

— Нет. У меня ячмень. Мне и мясо, и шкуры принесут. Кисы готовые тоже принесут.

Борлай вспомнил полузабытый разговор, спросил жестко:

— Кто принесет?

— Все принесут... у кого толкана нет. И у тебя его нет.

— Нет и не надо... так проживу. А ты все еще дурные мысли из головы не выкинул?

— Какие дурные? Я трудился, ячмень сеял, я и про меняю... А шкурки в Госторг сдам. Так я денег больше получу, чем от своего промысла...

— Ты что же хочешь Сапогом стать? Баэм?

Утишка захохотал:

— Ну, сказал! Свою семью прокормить бы...

Борлай погрозил ему и многозначительно сказал:

— Смотри, не той тропой пойдешь — в пропасть бухнешься.

— У меня глаза неплохие, — говорил Утишка, мягко улыбаясь. Каждый хочет жить богаче. И ты сам хочешь этого. А начальники говорили, что это можно. Ты нам прошлый раз в газетке читал...

— Так-то оно так... — продолжал Борлай, ударяя кулаком по своей ноге. — Но все-таки бай — наши враги...

Выпроводив Утишку, он подумал:

«Надо почаше с ним разговаривать, а то он повернет, куда не следует».

3

Редко бывало у Карамчи такое радужное лицо, как в тот миг, когда она шумно влетела в аил, напоминая легкий вихрь. Муж бросил на нее холодный взгляд и снова повернулся к Суртаеву, жадно хватая слова.

— В одиночку у вас ничего не выйдет — не под силу, а вместе, товариществом, вы могли бы большую полоску всковырять. Плуг вам дадим. Человека найду, который научит...

Заметив женщину, взволнованно порывавшуюся сообщить что-то радостное, Филипп Иванович сразу замолчал.

— Тот, который тебе младший брат, видел, что Пегуха ожеребилась, — выпалила Карамчи, бухнувшись в пыль, сияя не тающей радостью.

— Ну?! Где?

Борлай по-детски легко вскочил и дернул за собой шубу.

— Там, в лесу... Сказывают: жеребенок шустрый...

— Кто говорил? — ловко уцепился за слово Суртаев.

— Брат его.

— А как звать брата?

— Не знаю, — тихо уронила она, концом трубки рисовала елочки на золе.

— Нет, ты знаешь. Скажи, — настаивал Филипп Иванович, улыбаясь.

— Ты сам знаешь...

— Скажи, скажи, — прикрикнул Борлай, поняв Суртая. Подумал:

«В партию баб принимают, говорят: «Что мужчина, что женщина — одна цена». В Алтае только мужики баб по-имени называли, а теперь, однако, бабам можно своих мужей и родственников по-имени звать. Теперь — все равны».

И, приподымая дверь, еще строже бросил:

— Говори скорее...

Лицо Карамчи вдруг сделалось скучным, язык заплелся:

— В деревню ездить, товар покупать, когда много народа... так его имя будет.

Суртав отрицательно тряс головой и добродушно улыбался. Борлай строго сказал:

— Прямо говори:

Испуганно глядя то на мрачнеющее лицо мужа, то в смеющиеся глаза гостя, Карамчи трусливо сжималась, будто над ней был занесен чугунный кулак. Поняв, что иначе ей не избавиться от настойчивых криков мужа, она едва слышно прошептала холодными губами:

— Ярманка.

— Как? Я не слышал.

Филипп Иванович приставил ладонь к уху.

— Ярманка, — недовольно крикнула она, укоризненно посмотрев в его глаза, точно сказать хотела:

«Я тебя всем соседкам расхвалила, а ты меня мучишь. За что?»

Он остановил Борлая, уже перешагнувшего порог, спросил неотвязчиво:

— А его как звать?

При всей своей незлобивости, Карамчи огрызнулась:

— Не привязывайся... Я забыла.

— Этого ты от нее пока-что не добьешься, — уверенно сказал Борлай, когда Суртав вышел вслед за ним. — Не хочет меня унизить, оскорбить. Старухи напевали: «Добрая жена не смеет мужа и старших в

семье и в сеоке называть по имени». Карамчи привыкла с малых лет верить старухам.

— Это выдумали мужчины, чтобы унизить женщину, — начал Суртаев поучительно, громко. — А чегедеки на алтаек одевали, как отметку, что это уже не свободные девушки, а купленные невольницы, жены то есть. Коммунисты должны поставить своих жен на равную с собой ногу. Обязательно...

Борлай заговорил уверенно:

— Все сделают... Мужиков будут по-имени звать, чегедеки снимут, только тышибко не торопись. Солнце и то сразу не показывается, сначала усы выставит, потом уши, а после того и глаза откроются — день начнется.

— Правильно, дружище!

Суртаев хлопнул алтайца по крутому плечу, предложил ему папироску.

— Чегедек носить — плохо, — продолжал Токушев, собирая морщины на лбу. — Плечи давят, летом жарко, дрова рубить — мешает, бегом бежать — длинные полы ноги заплетают... Сами сбросят чегедеки. Но первая женщина, которая согласится снять чегедек, должна быть очень смелой и с острым языком, чтобы могла на насмешки соседок ответить зло, как огнем обжечь.

Прикуривая, с сожалением подумал:

«Карамчи робкая. Каждая баба начнет ее хлестать словами, если она первая сбросит чегедек».

Пегуха старательно облизывала темный комочек, скрытый высокой травой. Лицо Борлая, ускорявшего шаг, засветилось. Жеребенок вскочил, неумело выкинув вперед тонкие, как палочки, ноги. Мать успокаивающе заржала, прижала уши и, пугая человека, протянула голову с раскрытым ртом. Прикрикнув на нее, Борлай поймал жеребенка за скользкий зад, сунул его под мать, тихо гудел:

— Расти, малыш, скорее. В хороший день родился ты, в легкий.

Погладил дрожавшую спинку.

— Замерз? Ну, ничего, солнышко ласковое, оно тебя не забудет.

Он находил жеребенка крупным, какого не ждал от Пегухи. Уходя, обмолвился:

— Вырастешь, землю перевертывать будем, сеять...

Эх, если бы имел он хоть пяток таких жеребят. Бездумно смотрел бы на зиму.

Чечек встретила отца у аила.

— Есть жеребеночек?

— Есть, есть, — ответил Борлай, забавно мотая головой.

Молча взглянул на жену. Она без слов поняла его и поспешила утешить:

— Зимой, наверно, сына рожу...

Муж улыбнулся ей одними глазами,—хотел молвить строго, но сорвавшийся голос прозвучал увещевающе:

— Чегедек сбрось, тогда сына понесешь...

Она испуганно повернулась к нему, словно в аил ввалился медведь.

— Да, так Суртаев сказал, — подтвердил Борлай.

— Слушайся его во всем, так живо подохнешь.

Она испугалась своего неожиданно строптивого голоса, закрыла вспыхнувшее лицо руками, напоминая себе, что жена всегда должна относиться к мужу с уважением и все желания его выполнять безропотно. Пальцы ее вдруг стали мокрыми, к запястьям потекли ручейки. Она всхлипывала:

— Хочешь, чтобы все смеялись надо мной...

Жалея ее, Борлай тихо продолжал, будто не наставлял, а советовал:

— Из чегедека сошьешь себе платье, мне штаны...
Хорошо?

Потом, снова повысив голос, он приказал:

— Кто бы не пришел к нам — не вставай. Все взрослые люди одинаковы: нет среди них ни больших, ни маленьких... ты поняла о чем я говорю?..

Размазав слезы по щекам, она посмотрела на мужа недоумевающе, казалось, хотела выяснить — не лишился ли он ума.

— Да, да, — тем же тоном продолжал Борлай. — Новое племя по своей дороге идет, все делает по-новому.

Лето было наредкость теплое, солнечное. До сентября, когда день убывает на целый аркан, и жухнет хвоя на высоких лиственницах, не было инея. Колосистый ячмень вымахал на жирной земле чуть не в рост человека, ощетинился и стал быстро желтеть. В это время его прихватил первый заморозок. Зерно было щуплое, блеклое. Утишка целыми днями ходил по аилам, нахваливая:

— Не очень ядрен, но вкусен. Мало осталось, весь разобрали.

Когда его начинали упрашивать, он как бы нехотя соглашался:

— Ладно, тебе одному отпущу. Себе меньше оставлю, а тебе отпушу. Давай барана.

Насыпая ячменя в ведро, говорил:

— Паси и моего барана, я после возьму. — А сам думал:

«Так надежнее, сколько бы у него волк ни задрал — мой баран будет цел».

К Борлаю зашел с упреком:

— Почему, дружок, не приходишь ко мне? Ячмень для тебя отсыпан.

— У меня нет барана, чтобы ячмень у тебя покупать.

— Не надо с тебя барана. Дружку так ячменя дам...

— Так дашь? А с других за пригоршни зерна — барана берешь.

— Сами дают, — обидчиво возразил Утишка.

— Так только купцы делали. Потому их, собак, и прогнали... Они тоже квакали: «Паси моего теленка»...

— Я соберу своих баранов, — торопливо перебил гость.

— За такие дела из товарищества прогоним, — гремел Борлай.

Через два дня Бакчибаев снова пришел к нему.

— Слышал я, что весной землемер приедет?

— Приедет, — добродушно ответил Токушев, решив: «Буду чаще разговаривать с ним — на нашу дорогу повернет».

— В Каракольскую долину время кочевать нам: на-

до там землю просить, — настойчиво продолжал сосед, думая:

«Здесь в дождливое да холодное лето ячмень не вызреет. Там теплее: ячмень уродится лучше».

— Весной перекочуем. Землю товарищество там получит.

— Всем сообща?

Испугавшись, что неожиданно громкий и поспешный вопрос вызовет у Борлай подозрение об истинных намерениях, Утишка поторопился перевести разговор:

— Пора на промысел. Скоро кураны из тайги пойдут.

— Я поеду с братом. Ты хотел указать нам хорошее место, — напомнил Токушев.

5

Свинцовые тучи день и ночь плыли над головами, волоча по земле мокрые хвосты. Исчезли гордые вершины, хмурые туманы пали на густые хвойные леса. Огненный осенний пух лиственниц побледнел, словно угли в костре, на который плеснули воды, и начал медленно осыпаться. Люди выходили из жилищ только за водой да за топливом. К скоту, гулявшему на буйных яркозеленых отавах, ездили один раз в сутки.

В первый же солнечный день все перекочевали на зимние стойбища, в аилы, разбросанные в нижнем конце долины, куда летом не пускали ни лошадей, ни коров — берегли траву к зиме. Спешно готовились к выходу на осенний промысел. Борлай с'ездил в Агаш и там выменял на кедровые орехи два пуда ячменя. Для Карамчи настала самая горячая пора. Днем она шила мужу зимнюю обувь, мала козьи шкуры, починяла шубу, а ночью, разложив в аиле большой костер, готовила толкан. Она торопилась — не хотела, чтобы муж из-за нее откладывал свой от'езд на промысел. В первую ночь поджаривала ячмень в казане, во вторую — толкла огромным пестом в деревянной ступе, чтобы сбить шелуху с зерен, а в третью ночь она разостлала возле очага овчинку, положила на нее зеленый камень,

сама встала на коленки и таким же камнем начала растирать ячмень. До рассвета сутулая тень ее колыхалась на занавеске у кровати.

Борлай лил пули. В аиле запах поджаренного ячменя смешивался с запахом плавившегося свинца.

Охотник верил в удачный промысел.

«Нынче на белку урожай хороший... и козлов много. На пушнину достанем муки, всю зиму будем есть терпек», — думал он.

Вспомнив Утишку, шопотом сказал:

— Без него достал ячменя... Когда вернусь с промысла — еще достану...





ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Узкой щелью разорван Лиственничный хребет, на север, и на юг от нее текут реки, а в середине ан-коль¹. ных чашах осоки лежит цепочка озер — Булан. В нем Крутые склоны покрыты густым хвойным лесом, где хотятся лоси тропы, обрывающиеся у озера. Снизу роший для лосей водопой и хорошее кормище. Идет туда охотничья тропа.

Под копытами лошадей скрипел свежий снег. Но всадники не слышали скрипа. Глаза их то распутывали сложный узор звериных следов, то ощупывали близние скалы. Неделю тому назад они вернулись с охоты по чернотропу, привезли тугие связки голубых беличьих шкурок, а теперь отправились за копытным зверем.

Они остановились на берегу самого маленького озера, где на трех могучих лапах стоял сутулый кедр. Пять человек, взявшись за руки, не смогли бы обнять это тысячелетнее дерево. Под лапами его было просторное убежище, напоминавшее земляной стан. Братья Токушевы, расседлав лошадей, кинули туда перметные сумы, развели костер. Байрым спустился к быстрому роднику, зачерпнул воду котлом. Борлай смотрел за ним. Повернувшись, Байрым встретил укоризненный взгляд старшего брата, поспешно выплеснув воду и, присев на корточки, стал наливать в котел пригоршнями. Он тоже не хотел, чтобы счастье уплыло от него. Он не хотел возвращаться домой с пустыми руками.

— Надо ялома делать: горного духа толканом кормить, — сказал он, возвращаясь к огню. — Не покорим — дух осердится: всех лосей от нас спрячет, всех таутэке угонит...

Борлай захохотал.

— Мы его сколько лет кормили? Наверно жирным стал. Убить бы его...

— Что ты говоришь?! Или ум у тебя ветром повыдуло? Живым не спуститься отсюда.

Борлай, прикинувшись испуганным, простер вперед настороженные руки, открыл рот, глаза его были готовы выкатиться из орбит. Но он не мог удержаться, прыснул смехом, а потом помотал головой и похлопал себя по макушке:

— Голова ты, голова!.. Какие смешные слова в тебя старики клали.

Поужинав, они улеглись под кедром. Ночью плотно прижимались друг к другу, но холод все же выгнал их к костру. Борлай грелся, откинув полы шубы, смот-

рел то на уснувшую тайгу, то на спокойное небо, хранящее неразгаданную тайну. Неведомыми путями шли звезды, чтобы через какое-то время снова появиться на том же месте. Пути их казались ему не менее сложными, чем путь воды с земли на воздух и обратно. Он думал о тысячелетиях. Лес проснулся, возмужал. Все чаще и чаще одряхлевшие кедры ложились на сырую землю. Шли бурные древовалы, не преодолимые пожары. Сопки стали черными, как уголь. Обгорелые пни, словно иглы... И вот опять на сопках появилась буйная пена зелени. Все выше и выше росли травы, и этот мощный зеленый покров распарывался острыми шпиллями хвойных деревьев, которые тянулись к солнцу. И снова встал седеющий лес. Реки меняли русла, рушились камни, горы принимали иной облик. И жизнь людей медленно изменялась, текла каким-то своим путем, пока люди с мозолистыми руками не поднялись, как подымается буря. Они повернули русло жизни, столетия уложили в годы...

— Хороший день идет, ясный.

Байрым кивнул головой на восток.

— А? — Борлай вздрогнул. — Что ты сказал? Хороший день? Пойдем искать тау-тэке...

— Завтра, кажется, праздник.

Байрым посмотрел на брата. Борлай пригибал пальцы.

— Мы выехали четвертого... Да, так и есть. Праздник. Революция.

— В праздник охотиться не будем. У бедняков мало праздников. Эти праздники дорогие.

— В деревнях с красными флагами ходят, песни поют...

— А мы что будем делать? Пойдем наверх.

Байрым показал глазами на хребет, потом взглянул на ружья.

Старший брат понял его и сказал:

— Пусть Алтайские горы услышат, что на земле праздник всех рабочих, праздник всех бедных.

Они взяли винтовки и пошли на гору. Шагали широко, ломая на голубом снегу сложный узор серых теней. Молчали. Нельзя в лесу, когда идешь на промы-

сел, разговаривать со спутником. Нарушишь тишину тайги — угонишь счастье. В лесу охотник мысленно беседует с самим собою.

«Знаешь, сегодня в городах идут по улицам тысячи людей, будто реки льются, — думал Борлай. — Впереди новое племя — партийцы... В книжках написано об этом, да и Суртаев говорил...».

«Когда-нибудь я с'езжу в самый большой, в самый умный город на земле — в Москву, — думал Байрым. — Всю зиму буду белку промышлять, соболя убью, много пушнины сдам Госторгу, много денег получу и с'езжу. Я увижу старших в партии товарищей, самого большого богатыря, самого первого мудреца — Ленина».

Холоднее воздух, острее ветер, реже лес. Алтайские высоты падали к ногам.

«Наше товарищество перекочует в Каракол, построит избы... Прямая улица по берегу реки... Алтайцы идут, как лес колышется... Впереди — красные знамена... Скоро будет так...».

«А после того самые высокие руководители из самого умного города Москвы приедут к нам, и у нас будет праздник, неслыханное торжество...».

Хрустел снег. Рвались под ногами волосы гор — прутики полярной березки. Торчали каменные клыки.

«...Наша партийная ячейка будет самой сильной в аймаке... не пять человек, а двадцать пять, тридцать, пятьдесят...».

«...Они научат нас, многому научат... Привезут частицу мозга великого вождя...».

Рваные скалы, каменные гребни, тропы козерогов... Солнце лило огненные потоки. Горы с вечными снегами — серебристое пламя, конца им нет.

«...Горит старый мир...».

«...Растет новое, как растет голубой цветок, пробивающий снежную корку...».

Вершина горы. Впереди обрыв. Там, под каменной стеной в два километра высотою, ревела река.

Братья молчали. Взглянув друг на друга, они враз вскинули ружья. Шапки их были сдвинуты на макушки, от волос шел пар. Глаза устремлены в голубую



безбрежность. Туда прогрохотали выстрелы. Дрогнул звонкий воздух.

Слева, за камнем испуганно вскрикнул человек, справа, внизу взревел тау-тэке. Братья бросились в разные стороны.

За камнем догорал костер. Рядом стояла березка, привезенная из долины, на сучьях — белые ленточки. С горы, не оглядываясь, убегал алтаец. Он поднялся сюда перед началом промысла, чтобы задобрить духов охоты, сварил жидкий толкан на воде, укрепил березку, повесил ленточки. Думая об удаче, — о дымчатых соболях, о лобастых лосях, о чернобурых лисах, — он ложкой зачерпнул толкан и разбрзнул на все четыре стороны. И вдруг, вместо счастья, грозное предостережение: гром среди зимы.

Борлай, провожая охотника глазами, захохотал.

— Сейчас поймаю тебя... Медведя пошлю навстречу...

Года два тому назад старший Токушев перед началом каждой охоты вот так же делал ялома — разводил костры, ставил березки, варили толкан... Теперь ему казалось, что с тех пор прошли десятилетия. Он стал другим человеком. Другим? А почему, отправляясь сюда, не лег спать с женой.

«Это по привычке... Все так делали, чтобы... счастье на охоте найти...».

Лицо его пламенело. Было стыдно перед самим собой.

Вернувшись на то место, где они стреляли, Борлай подождал брата.

Байрым, приближаясь к нему, жестами и глазами сообщал:

— Стадо тау-тэке убежало к обрыву...

— Большое? — так же безмолвно спросил старший брат.

— Штук двадцать! Завтра пойдем туда на охоту, — знаками передал Байрым.

— Да, конечно, завтра, если погода будет хорошая. Сегодня праздник.

Губы Борлая оставались неподвижными. Он смотрел в глаза брата и не нашел в них сожаления, будто спуг-

— Своих людей выберем...

— Ух, и горячие дни настанут. Борьба будет. За власть борьба. У некоторых загривки затрещат...

Неподалеку, у громадной колодины мигнул огненный глаз. В тот же миг что-то отрывисто щелкнуло. Так иногда пощелкивает лед в морозы.

Старший Токушев упал на землю, сдергивая винтовку:

— Стреляй, — крикнул брату.

В лесу — шорох, треск сучьев, какие-то шлепки. Было ясно, что стрелявший убегал под гору, к реке. Борлай кинулся туда, но глухой, похожий на скрип, стон настиг его.

Байрым стоял, прислонившись к коню, левое плечо закрыл рукой, лицо его было изломано морщинами, нос стал еще шире.

Борлай вернулся, видя, что у брата враз покраснели ногти, под пальцами пузырилась кровь. На ходу снимал с себя опояску, распоряжался:

— Скидывай шубу...

4

Тропа называлась «воровской дорогой». Старики рассказывали, что в незапамятные времена казаки, кочевавшие по ту сторону гор, воровали лошадей в Каракольской долине и по этой тропе уводили во-свойси. Через сугенические хребты, тесные долины, через бурные реки, непролазные леса тянулась она, мимо ледяных скал, чистых, как изумруды, озер, мимо родников с водой горячее чая... Слава о живительных ключах летела далеко за пределы Алтая. Шли по горам рассказы:

«Давно-давно отправился в горы один заядлый охотник, подстрелил старого марала, целый день бежал за ним по следу, — на снегу красная дорога. К вечеру вышел на ту высокую гору, на которой облака спят, и увидел в долине озеро краше неба, а на берегу озера — столбы пара, будто там костры горели, жотлы кипели. На его глазах марал скатился в долину

и бухнулся в то место, откуда шел пар. Не успел охотник добежать, как зверь выскочил, мокрый весь, и побежал так прытко, как никогда не бегал. Здоровенек! Пощупал охотник воду в тех родниках — горячая, только-что не кипит. Узнал народ об этом, — и все больные и немощные потянулись туда...»

Миликей Никандрович Охлупнев не раз был в тех местах. От ревматизма лечился. Дорога известная. Каждая вершина знакома.

— Живым манером под горку скатимся, речку перебредем и в ельничке заночуем: тепло там, уютно, как в горенке, — напевно говорил он.

— А река-то всем рекам река или ручеек такой, что кулику негде ног замочить? — осведомилась Макрида Ивановна, впаявшая в седло свое грузное тело.

— Ты неужто не помнишь? — удивился он, повернулся к свояченице огненнобородое лицо, всегдавшее спокойствие, и махнул короткой рукой. — Да ты и не могла запомнить: тащили тебя на волокушах, таку сырь деревину, маяты сколько было...

— А я, Миликей Никандрович, в долгую не останусь. Жизнь, говорят, прожить — не тарелку каши с'есть, — густым, задумчивым голосом перебила она.

— Знаю, что так. Коли о друге не позаботишься, то и о тебе потом никто не позаботится, — в тон ей молвил Охлупнев и, понукнув лошадь, сказал спокойно:

— Река не так велика, но лята... быстра больно.

Тропа круто повернула на пологий склон. Снизу доносился гулкий рокот с безумолчным подыванием.

— А моя жизнь такая незадачливая — вечная майта, горе рекой лилось, — с глубоким сожалением продолжала женщина.

— Ровно бы не в твоем характере такие речи говорить, — сурово укорил ее Миликей Никандрович и, правой рукой роясь в бороде, сказал поучающее. — Теперича, сама знаешь, жизнь свою повернуть можно. Ты из старых оглобель выпряглась, ушла от терзанья. Обглядывайся, да заново обосновывайся с кем-нибудь.

У женщины вырвался тяжкий вздох. Спокойная ночь, задумчивые кедрачи расположили к задушевному раз-

говору и пробудили уверенность, что она найдет отзывчивость в чуткой душе этого человека с розовым лицом, заросшим густой бородой. Она знала его соучастливым и никогда не видела в светлых глазах его вожделения. Ощутив родственную близость, она начала смело о самом сокровенном:

— Ребенчишка мне, Миликей Никандрович,шибко надо было. Грудь мою ломило от этого. Сам знаешь, с австрияком тогда, во время войны потому и связалась я, что о ребеночке нерожденном тоской исходила. Целый год ждала. Повесне, на третьей неделе великого поста затяжелела. Сколь у меня в те поры радостей было. А тут чорт Оську домой пихнул, — и осталась я без ребенка и об одном глазе.

— Не горюй, ты еще не отарела, — неловко утешил Охлупнев, отворачиваясь от нее.

— Может в вольную жизнь потому я и ударилась, что ребенка у меня не было и не видела я ни от мужа, ни от кого другого, кроме австрияка, никакой ласки, никакой утехи...

Миликей ежился, будто ему за воротник плеснули ковш холодной воды, тихо повторял:

— Не горюй, ясны горы, все увидишь...

Он обрадовался, когда справа развернулось озеро, одетое тонкой пленкой полированного льда, а тропу пересекла река, мчащаяся с неистовым ревом среди каменей. Неподалеку она с грохотом проваливалась в мрак, в пропасть. Гладко обточенные и постоянно обливаемые водой, валуны светились блеклыми зеркалами. Человек, впервые очутившийся в ту лунную ночь на берегу дикой реки, имя которой — Голубоватая вода, принял бы ее за фантастический огненный поток.

Макрида Ивановна еще что-то говорила, но голос ее был слабосилен, чтобы спорить с шумом реки. Охлупнев понукнул упирающегося коня, крикнув:

— Трогаем благословясь...

— Мыслимо ли ночью в этакое пекло лезти, — прокричала Макрида Ивановна, переезжавшая обычно без внутренней дрожи самые бурные реки. — В муку измелет, изотрет...

Но конь Миликея, погрузившись по самое седло, уже боролся со стремительным течением, с трудом отвоевывая каждый сантиметр. У широкой груди его вода бурлила, будто у носа речного парохода.

Конь Макриды Ивановны рьяно врезался в реку, расшибая пенистые клубки. Женщина смотрела на воду. Голова ее не кружилась. Она согнула ноги, чтобы не намочить пимы. Вдруг вода ей показалась черной, а река бездонной, лошадь не идет по каменистому дну, а плывет. Вот ее сталоносить все дальше и дальше от того места, где выехал на берег Миликея. Он кричал спутнице, надрывая голосовые связки, но разве можно было что-нибудь услышать в этом оглушающем потоке шума.

Приближаясь к главной струе, Макрида Ивановна вдруг заметила, что руки ее трясутся.

«Что же это такое со мной? Никогда так не бывало. Это от болезни?» — спросила сама себя.

Лоб ее взмок. Она, обуянная страхом, не стала больше доверять коню и бесполково дернула поводья. Конь запрокинул голову с разинутым ртом, дрожал, потеряв направление. Самая середина реки. Не выплыть, не выбраться... Неужели только затем жил человек, чтобы так глупо захлебнуться в реке? Никакого следа не останется на земле. Ни могилки, ничего...

— На могилку некому прийти, некому помянуть меня. Я — пустоцвет, — прошептала побелевшими губами.

Женщина чувствовала, что конь все еще переставлял обессилевшие ноги, но широкая волна, ударявшая прямо в грудь, отталкивала его. Вот он закусил удила и, раздирая свои губы, со всей силой мотнул головой, вырвал поводья, но было уже поздно: последний раз скрипнули копыта, скользнув по крутой подводной скале, всплыла грива.

— За камень цепляйся. За камень, — кричал Охлупнев, бежавший по берегу, чтобы поравняться с Макридой Ивановной.

Она метнула ищущий взгляд. Цепкая волна легко подхватила ее покорное тело...

В первую секунду ею овладело отчаяние. Ясно, что

ей не выбраться из этого грохочущего потока вод, мощные струи разорвут ее на части. Да и стоит ли жалеть: жизнь была такой безотрадной, а впереди ничего утешающего... Но уже в следующее мгновение она, не отдавая себе отчета, который берег ближе и где находится Миликей, вскинула руку, загребая воду под себя. Она гребла часто, задыхаясь, но сильная волна мчала ее туда, где шумел водопад.

5

Грозен бесконечный рев горной реки в ночную пору! Даже самые бесстрашные лошади упрямо топчутся на берегу, не решаясь ступить в воду, трусливо шевелят ушами. Ни один отчаянный голос не выплынет из шума беснующихся вод.

Братья Токушевы бродили выше того места, где пересекал реку Миликей. Там дно каменистое, но шире русло и нет опасной глубины.

Приближаясь к берегу, Борлай увидел человека, спешившего к нему, сдернул винтовку. Бойким стрижем мелькнула мысль о том, что перед ним тот, кто стрелял в брата. Уж теперь-то ему не сдобровать. Токушев не последний стрелок, он надеется на свое ружье, у него меткий глаз и рука, не знающая дрожи, и он влепит пулю прямо в лоб. Но что это такое?.. Человек махал правой рукой, в которой он сжимал шапку. Вот он взбежал на гранитную скалу над рекой. Лунный свет теперь падал прямо на него. Было видно, что он кричал изо всех сил, вызывая о помощи. Волосатое лицо его было перекошено от испуга. Борлаю показалось, что под светлыми глазами кричавшего сверкнули слезы. Он узнал в нем Миликея Охлупнева, поспешно надел ружье за спину и обнадеживающе махнул рукой.

Брат ехал следом, опершись одной рукой о переднюю луку седла, голова его была низко опущена, зубы крепко спаяны, на щеках мускулы затвердели, точно желваки.

— Несчастье, гром его расшиби, приключилось. Помогите, ребятушки. Сделайте милость, — выпалил Ох-

лупнев, показывая руками вниз по реке. — Не в первый и не в последний раз видимся... Помогите.

По его дрожавшему голосу старший Токушев понял, что произошло нечто особенное, трудно поправимое, если русский человек обратился к алтайцам за помощью. Он молча повернулся к Пегуху, нахлестывая поводом.

Миликей бежал рядом. Голос его слабо прорывался сквозь шум:

— Можно сказать, у смерти из лап отобрал женщину, на горячие ключи на волокушах уволок, вылечил, а тут, старый дурак, в воду вверзил. Там она, на камне... Успеть бы только...

Дикая струя, которая подхватила Макриду Ивановну, разбивалась о каменный гребень, похожий на остатки естественной плотины, и распадалась на мелкие струйки. Река мягко кинула тяжелое тело на обмерзший камень, окатила брызгами. Женщина уцепилась за острые выступы, закашлялась, отлеваясь и отрыгиваясь. Медленно повела единственным глазом, испуганно ощупывая взволнованную поверхность воды, камни, берега, соображая далеко ли унесло ее. Она с трудом выползла на самый длинный камень, угрожающие махнула рукой и, как бы веря, что слова ее будут поняты взбаламошными водами, намеренно крикнула торжествующе-насмешливым тоном:

— Подавилась?! Не хватай, что тебе не по-горлу. Мне умирать покамест срок не вышел.

И добавила самоутешающе, твердо:

— Я живучая, как кошка. Сколько меня не долбят, сколько не клюют, а я все дышу...

Но сомнение уже завладело ею, горло сжималось, прерывая учащенное дыхание. Она собирала последние силы, чтобы прогнать навязчивые думы о близкой смерти.

Охлупнев растерянно прыгал по берегу, хлопая руками. По его отчаянию она поняла, что надежд на спасение мало. Кругом нее всплески воды взлетали на полсажени вверх. Это означало, что дно завалено огромными камнями, богато провалами. Нечего и думать о том, чтобы Миликей мог под'ехать на коне.

Побелевшее лицо ее напоминало скомканную бумагу, Макриде Ивановне хотелось плакать, но не было слез. Оттого возрастала боль. Она не замечала, что ноги ее— в клокочущей ледяной воде. Взгляд прилип к берегу, на котором беспокойно топтался Миликей. И вдруг Охлупнев исчез. Это повергло ее в отчаяние. Она царапала грудь, обнаженную голову, и в руках ее обмерзшие волосы хрустели, широко открыла искривленный рот и рявкнула сколь было силы:

— Все одно подавиешься! Подавиешься, говорю...

Женщина плонула в сторону берега, зло прохрипев:

— Бросил... Пропадай, дескать... Все мужики такие мерзкие... Только о себе думают...

Шуба на ней стала твердой и тяжелой, точно железная, — нельзя шевельнуться. Волосы превратились в ледяные сосульки, в обмерзшую солому.

Вдруг на берегу появилось два человека. Вон тот, низкорослый и кряжистый — Миликей, а кто второй, высокий и крутоплечий.

«Уж не Оська ли?» — подумала она. Ее брезгливо передернуло. — Ежели он, то я головой вон туда, в кружало... в миг все косточки изломает.

По реке скользнула тень, словно проползла змея.

— Что это такое? Мне чудится?

Неподалеку от каменного гребня упало что-то черное и в миг исчезло. Вскоре повторилось то же самое только теперь петля, мелькнув в воздухе, скрылась под водой.

— Аркан?! Тащить меня хотят?

Слабая искра надежды согрела бледное лицо женщины.

Когда петля упала на простертые руки, Макрида Ивановна готова была расщеловать волосяной аркан, захлебываясь радостью, два раза обмотнула его вокруг себя.

Чем дольше она сидела на камне, тем слабее казался шум. Ухо ее ловило непонятные обрывки слов, долетавшие с берега. Вот, наконец, приятный стук топоров рассек угрожающий рев реки. Время шло медленно... Люди на берегу, по мнению пострадавшей, шевелились лениво. Казалось, прошла половина ночи, пока

двою мужчин рубили мягкое дерево. Но вот, наконец, старая пихта упала вершиной в реку. Вдруг замолкла вода. В сонной долине было до жути глухо. Женщина встала грудью против стремительной струи, над которой водяная пыль взлетала туманом. Началась жестокая борьба человека с водной стихией. Если бы не аркан, которым двое мужчин поддерживали женщину, река сразу расхохоталась бы от своей победы. Прошла страшная минута, пока женщина смогла ухватиться за пихтовый сук...

Ступив на берег, Макрида Ивановна в миг потеряла силу и больным гусенком сунулась на мерзлую землю. Дрожь пронизала все ее тело. Ныли кости. Руки не двигались. Ноги казались ей огромными бревнами, покрытыми льдом. На лице ее стыли слезы. Только теперь она почувствовала, насколько холодна была вода, и как щипал ее тело обмерзший гранит, на котором она сидела минуту тому назад.

Борлай рубил сушины. Торопливые слова Миликея щепками взлетали вокруг него, вились над головой:

— Теперь ты мне пособил, а после может я тебе в каком деле помогу окажу... Болыш — помогу, говорю. Всяк человек и соседу своему, и дальнему трудящему должен другом быть.

Он попытался то же самое сказать по-алтайски.

Отсекая сучья, Токушев думал:

«Правду говорит. Хорошее сердце о всех заботится, плохое только о себе. О всех, кроме классовых врагов», — поправился он.

Они разводили костры. Сухие бревна пылали весело. Острье языки пламени лизали мягкие лапы пихт.

Женщина сидела между двух костров. Озnob все еще немилосердно бил ее. Борлай, вспомнив о встрече в ущелье и о том, что она когда-то так гостеприимно пригласила его в свой дом и посадила за стол вместе со своим братом, Суртаевым, заботливо прикрыл ее своей длиннополой шубой с густой шерстью, а ее обледеневшую шубу повесил на палки недалеко от огня. Макрида Ивановна взглянула на него, умильно улыбнувшись. Лицо ее все еще было в слезах.

«Кто бы мог подумать... Опять этот алтайец».

Она хотела кого-то уколоть, когда молвила, еле сдерживая дрожавшие губы:

— Честное слово, у них сердце мягче, чем у русских мужиков...

Заметив засохшую кровь на груди Байрыма, который сидел рядом с Макридой, Охлупнев дернул за руку Борлай, все еще хлопотавшего у костров, и шепотом осведомился:

— Это что такое с ним? Я думал, ему просто занедужилось...

Торопливо рассказывая то по-русски, то по-алтайски, обжигаясь словами, Борлай вздрагивал, резко двигал бровями. Лицо его выражало непоколебимую смелость, упорство.

— Какой-то бай стрелял... Скоро перевыборы... Не хотят в совет пустить... Боятся...

— Я им шеи поломаю... — проскрипел Байрым, пальцы здоровой руки сжал в кулак.

— Сиди... Тебе нельзя так... — прикрикнул на него старший брат.

Миликей мял пламя своей бороды, потом хлопнул руками по бедрам и закричал на Борлая:

— Что ж ты, гром тебя расшиби, мне раньше не сказал?! Что ты молчал, спрашиваю?.. Искать надо бежать....

— Такой лес, ночь лежит... Где найдешь? День пройдет, много пройдет — худой человек нос покажет, тогда... Ух!..

Скрюченные, как орлиные когти, бронзовые пальцы сжал в кулак и рванул к себе, будто встряхивая что-то тяжелое, противное.

Обругав себя за забывчивость, Миликей бросился к сумам, извлек оттуда берестяный туяск со льдом и пучок темных водорослей.

— Я домой приедет, брата в больницу повезет... — продолжал Борлай.

— До больницы дальний путь. Дай-ко я водичкой из горячих ключей помочу, да травки тамошней приложу... Враз затянет рану. Пользительная водичка. Сейчас разогреем, ясны горы. Эй, дружок! — осторож-

но потряс Байрыма за здоровое плечо. — Лечить будем...

Борлай помогал брату снимать шубу.

— У нас тоже богатеи злобствуют, — продолжал огненнобородый. — Голосу их полишили всех... Жаль, что в партизанское время мы их не придушили... теперь на нас же рычат.

— Борьба — огонь горит... Перевыбор скоро...

Борлай осторожно оттирал опояску, присохшую к плечу брата. Хрустела кровяная короста. Раненый, закрыв лицо рукой, едва сдерживал стон. Кадык его резко двигался, а в горле что-то булькало, как выплескиваемая из бутылки вода.

— Живым манером зарастет все... А руку ему вот так привяжем, — хлопотал Миликей.

Сделав перевязку, они уселись у огня. Борлай перекидывал взгляд с бледного лба Макриды Ивановны на потное лицо Миликея, пока тот не понял его и не заговорил:

— Лечить возил. На горячие ключи.

Он старательно, не спеша выкладывал перед Токушевым слова, чтобы все было ясно:

— Муж избил ее. Все лето баба хворала. Грудь ей истоптал, проклятый...

— Грудь? Пошто так делал? Худой человек. Бабу бить нельзя...

Женщина устало подняла веко, погладила алтайца теплым взглядом и спокойно закрыла глаз, что-то шепча. Недавний разговор с Миликеем встал перед ней укором и она не могла при огне взглянуть на мужа своей сестры.

«Лишнее выболтала, дура», — осуждала себя.

Ей хотелось остановить его, запретить рассказывать о ее изломанной жизни, но у нее не было силы, чтобы открыть рот, пошевелить веками...

Дрожь постепенно покидала ее. По лицу текли последние капли слез. На душе стало легче, спокойнее. Вскоре приятное забытье овладело ею, она прилегла на еловые ветки и заснула.

Собеседники, неустанно добавляя дров в костры, продолжали разговор:

— Видишь ли, к ней пришел один сусед в гости, ну, неспроста пришел, а муж, Оська, вернулся на ту пору, рассердился и...

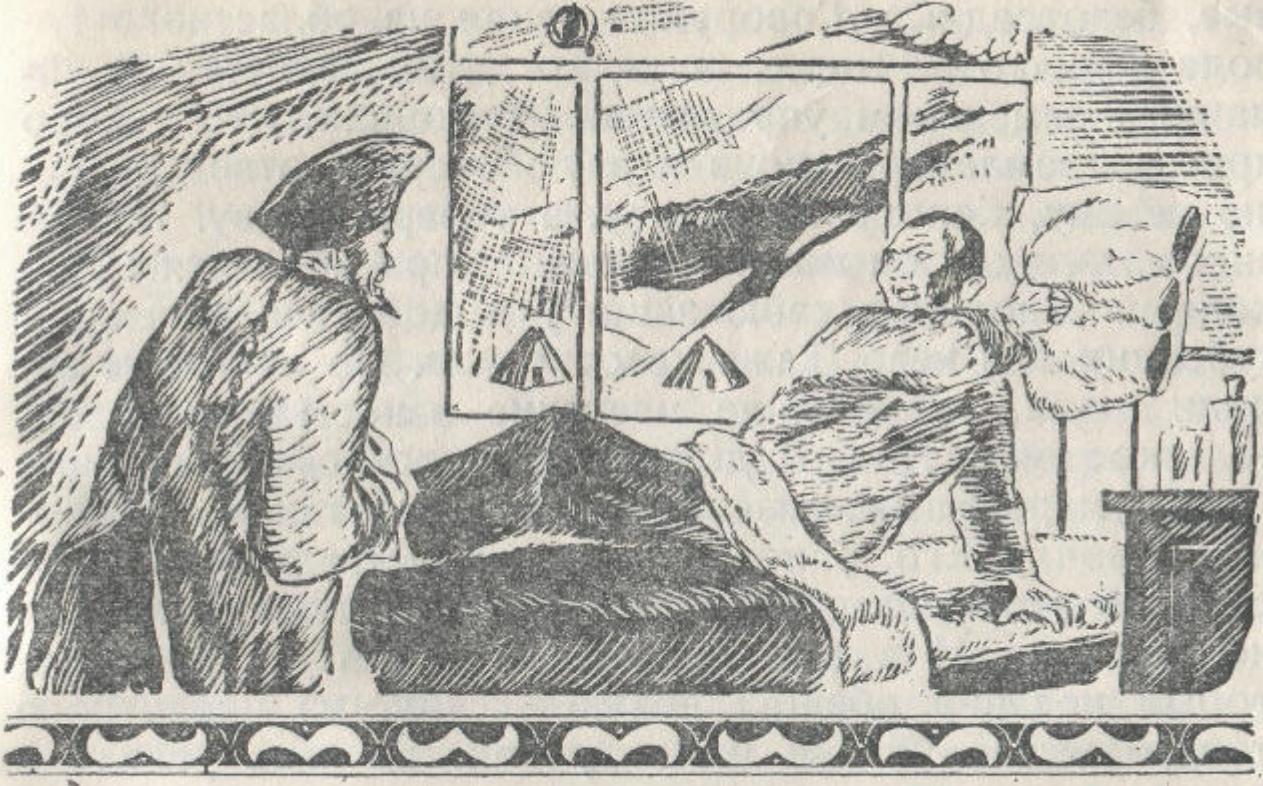
— Пошто русска сусед нельзя в гости приходить? — возмущался Борлай.

— Суседа на-смерть захлестнул, а бабу свою истоптал всю... Дурной мужичонко, гром его расшиби...

Костры пылали все сильнее и сильнее. Люди отодвигались от них.

Огонь прыгнул на высохшие ветки толстой пихты, с треском рванулся ввысь, осыпая людей пылью искр. Огненная свеча уперлась в сумрачное небо.





ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

На белом поле ни днем, ни ночью не появлялись тени: тяжелое, цвета древесной золы, лохматое покрывало сначала затянуло весь небосклон, потом опустилось в долину. Не видно ни гор, ни лесов. Скрыты дали.

Так же мрачно было на душе Сапога Тыдыкова. Что ни утро, то новая весть летела к нему. Все вести чер-

ные, безотрадные. Говорухин уехал из областного города и никто не мог сказать, когда он вернется. В аймачном земельном управлении говорили, что скоро приедут землемеры, но в первую очередь отведут землю не ему, Сапогу Тыдыкову, а товариществу. Из военкомата, куда он послал письмо с просьбой взять его конный завод под свою защиту и добиться денежной субсидии для него, даже не ответили. По кочевьям ездили люди, собиравшие членские взносы в потребительское общество. В долине появился свой кооператив. Чумара Камзаева выбрали председателем, построили лавочку. Его, Сапога Тыдыкова, не только не спросили об этом, но даже за членскими взносами к нему не приехали. И в довершение всего Пашку Гурина, который недавно обещал новую ссуду, из кредитного товарищества убрали и на другой же день увезли в город, в тюрьму.

На исходе дня, когда Сапог сидел у своего очага и курил так жадно, что жены не успевали трубки набивать, в юрту провинившейся собакой вполз Ногон, и, тряся бороденкой, прошамкал:

— Байрыма привезли с пробитым плечом.

— Знаю, — нетерпеливо обрезал хозяин, лицо его оставалось тревожно-важным, как гранитное изваяние богов. — Что говорят об этом в аилах?

Голос старого прислужника стал еще шепелявее, мутные глаза, в красной, вывернутой оболочке пустых век, расплывались, слезоточили, будто льдинки над огнем.

— Говорят, что стрелял не вор...

— Испугались или нет, спрашиваю?

— Нынче их, Большой Человек, ничем не испугаешь.

— О собаках этих, о Токушевых, что говорят?

— Больше жалеют их, мудрый человек. Говорят: «Добрые мужики, заботливые о народе и такое им несчастье», — бормотал стариk и позади себя одной рукой предусмотрительно подымал толстую кошму, которой был закрыт выход.

Каменное лицо Сапога вдруг вспыхнуло, нижняя челюсть отвалилась, а потом с ревом захлопнулась:

— Уходи к шайтану, дурак!

Медная с нефритовым чубуком трубка ударила о кошму, которая опустилась позади старого прислужника, успевшего выскользнуть во двор. Грудь Сапога распиралась одышкой. Он почувствовал, что в голове словно кто-то ожесточенно ворочал кресалом и бил до острой боли в висках, искрами сыпались слова:

— Теленок паршивый... Целый год руку на стрельбе набивал... Дурак косоглазый... В голову попасть не мог... Старая жаба... Я, говорит, охотник... Сурок душной, а не охотник... Понадеялся на него, истратился... Гриб он гнилой... С другими бы дело сделал... Девку ему, первую красавицу, взял...

При мысли о Яманай лице его, будто охваченное свежим ветром бодрости, быстро посветлело, расплылось в масляной улыбке, заблестели длинные и тонкие, как у хорька зубы. Но вскоре глаза его снова заволоклись грозовыми тучами.

— Своенравная баба и злая, как рысь, — проворчал Сапог, покусывая разгоревшиеся губы. — Опять начнет лупить меня головешками. Даже дорогие подарки на нее не действуют...

Гневный взгляд кинул на небоподобный свод юрты, будто укорял кого-то:

«Была ли где-нибудь такая гнусная вольность, такая распущенность, чтобы старшего в сеоке головешками лупить? Не стало в народе страха. Растворилось повинение, как снег в раннюю и дружную весну. Оглянуться не успел, а оно уже растворилось. Все это оттого, что из города людышек разных понаползло сюда, как муравшей».

А минуту спустя он, уверенно тряся бородой и ехидно посмеиваясь, утешал себя:

— Нет, не растворилось. Вот увидишь как перед тобой ползать будут, у ног твоих землю языками вылизут... Это на них нашел дурной сон. Скоро проснутся в испуге. Очухаются. Я знаю.

Он выгодно продал Госторгу маральи панты: на кровати в перине появились новые мешки с серебром. Три мешка! Пудовики! Но и это мало радовало его.

Он без конца курил, беспокойно пощипывая пышную кисть на шапке, властно рычал на жен:

— Разжигайте трубы.

В таком настроении застал его Копшолай. По желтому шубному лицу гостя, по тревожно округлившимся глазам Сапог понял, что сосед привез нерадостную новость.

— Слышал, Большой Человек, что с нами делают? — спросил тот почтительно, оставаясь на ногах.

— Нет? А что опять удумали проклятые тонконогие?¹ — раздраженно осведомился, зная, что только разящая новость могла поднять этого тучного лежебока из его берлоги. — Садись.

— Голос у нас отобрали.

— Как можно у живого человека голос отобрать?

Хотел недоверчиво улыбнуться, подчеркивая неосвещенность и трусивость гостя, но попытка была тщетной, — застывшие губы не повиновались.

— Все будут выбирать новый сельсовет, а нас с тобой не пустят на собрание.

— Ты что-то путаешь.

— Сам был в совете, сказали: «У тебя голоса нет».

Короткие ноги Копшолая подогнулись и он нерешительно сел.

— Я тоже думал, что шутят, и крикнул: «Вот какой у меня голос». А они все свое и строго так: «Ты не имеешь права говорить, а если вздумаешь на собрание прийти — в тюрьму отвезем».

Соседи перекинулись взглядами, спрашивая друг друга: «Что же это такое?»

Когда стало ясно, что Копшолай не врет и не путает, Сапог зарычал на него:

— Ты виноват. Я один им шеи ломал, а вы отсиживались за моей спиной.

— Почему не сказал, мудрый человек? Ты — наш отец родной, старший, в тебе кровь самого Мундуса...

— Не сказал, не сказал... Потому что вы дураки, пни гнилые...

Подергивая плечами, Сапог вскочил, смешно выкинулся вперед онемевшие ноги, крутился, разыскивая опо-

¹ Тонконогими называли русских

яску, дышал так шумно, будто на крутую гору во весь дух взбежал.

— У меня голос не отберут. Нет... Я в Новосибирск поеду, в Москву... Я с военным ведомством связь установлю...

Эти слова звучали больше хвастовством, чем самоутешением. Крепко веря в свою изворотливость, в могущество денег, в силу слова, сказанного во время и в нужном месте, Тыдыков все же не чувствовал надежды на быстрый успех. Горькое сомнение точило его, как червь трухлявое дерево. Лишение голоса — это еще одно звено цепи, в которую хотят заковать его и всех богатых. Ветер постепенно меняется, дует с северо-запада, насквозь прокалывает.

— Но все-таки я сумею повернуть жизнь куда мне надо. Еще никто не видал всей моей силы... Размахнусь, леса затрещат, — кричал он, на губах его сохла слюна.

Одевшись, крикнул Хоже, старой жене, чтобы подала большой тажаур с серебряными оленями на стенках, наполненный водкой, — секретарь сельсовета, краснобосый, похожий на гуся, Тихон Гаврюшкин — старый писарь и выпить не дурак. Сапог отлично знал его по тем дням, когда носил зайсанскую бляху. Гаврюшкин в те времена, обычно, сидел рядом с ним и, нацелившись одним глазом в бумагу, а другим в небо, рассыпал крутые завитушки, похожие на рога архара. Косоглазый писарь, на голове которого мыльной пеной собиралась седина, с молодых лет служил в этих краях и владел алтайским языком не хуже, чем русским, и потому крепко засел в сельсоветской канцелярии.

Провожая Сапога, Копшолай пищал:

— Скоро собранья начнут делать. Утишку они что ли выбирать будут?

— Если Утишку, то хорошо, — внушительно отозвался тот, гася недавнюю обиду на дерзкого Бакчибаева, откочевавшего с Борлаем. — С ним можно и не плохие песни петь. У него жадность бурундучья: день и ночь будет за обеими щеками добро в свой аил таскать...

Недалеко от тракта в то время стояли два древних

домика, в одном жил ямщик, а во втором помещался сельский совет. У суковатых столбов дремали заседанные лошади. Обшитая рогожей ямщицкая кошева катилась в сторону села. Надоедливо звенели колокольцы.

«Какой-то начальник был здесь и в аймак поехал,— отметил Сапог, приближаясь к избушкам. — Тем лучше. Наедине Гаврюшкина скорее сковорю на все. Да, зря волновался... Никто меня в цепи не закует и язык мне не обрежет: силы такой нет. А что товарищество разогнали — это не велика беда. Оно мне нужно, как зайцу лошадиный хвост. Мне кажется, что тут Николай Валентинович хитрил. Я и без товарищества с военным ведомством помаленьку свяжуся...»

В избушке некуда было ногу поставить, — по всему полу, плечом к плечу, сидели алтайцы, над ними — туши дыма. Раскаленная железная печка, на которой сушился листовой табак, по всей комнате рассеивала чад, заглушавший кислый запах пота. За столом, половина которого была истрогана на растопку печки, сидел молодой алтаец, обложившийся бумагами. Он низко наклонился, словно писал острым носом, тяжко сопел, неумело выводил крупные буквы. Труд этот для него был нелегок.

— Где секретарь? — небрежно бросил Сапог, опираясь правой рукой о стол.

— Я — секретарь, — бойко ответил алтаец, подымая голову.

Переполненной комнатой завладела странная тишина, не имевшая ничего общего с былой почтительностью. Сапог почувствовал, что цепкие взгляды одних прилипли к нему и следили за всеми движениями и гневные взоры других были устремлены на него, как смертоносные стрелы, готовые оторваться от упругой тетивы. И было многими отмечено, как он дрогнул, выпрямившись, дернул одним плечом, удивленно повел бровями и, брезгливо скривив тонкие губы, со злостью выплюнул свистящие слова:

— Ты — мой пастух, а не секретарь. Мне надо самого Гаврюшкина.

Царапнул острым взглядом по светлому лбу Аргачи,

по сросшимся бровям, смелым морщинкам возле висков и, встретившись с энергичным взором умных глаз, пренебрежительно повел головой в сторону.

— Гаврюшина умчали с колокольцами, с ружьями... больше не вернется байский прихвостень, — сказал секретарь, быстро перерыл бумаги и, выхватив какой-то клочок, сунул Сапогу. — Получи. Распишись.

— Что получил? — высокомерно осведомился тот, глядя поверх головы вчерашнего пастуха.

— Извещение о лишении голоса.

Тыдыков выхватил бумажку, пробежал по ней глазами и, скомкав, кинул в лицо секретаря. Повернулся, медные подковы каблуков вырвали щепки из нестроенных половиц.

— Голос отбирать?! Врешь, галченок тонконогий, не отберешь. Я с тобой и разговаривать не стану.

— Замолчи. Уходи отсюда, — дребезжащим голосом крикнул парень.

— Щенок ты. Сопляк. Сдох бы без меня, — пролаял Сапог.

— Уходи, говорю!

Аргачи повелительно повел бровями, кинув взгляд к порогу.

— Дохлый ты, щенок!..

Сапог захлебнулся. Кто-то схватил его за шубу, сжал плечи, точно клещами, и повернул к выходу. Алтайцы раздвинулись давая дорогу, предусмотрительно распахнули дверь.

За спиной — хлесткий, многоголосый хохот, скрип дверных петель, а потом — убийственная тишина. Никто не выглянул, никто не сказал ни слова.

А давно ли с общих собраний его провожали с почестями: каждый алтаец считал своим долгом подвести ему коня, подтянуть подпруги или помочь подняться в седло. А теперь у коновязей не было никого, кроме слуг, дряхлых стариков. Вот и его дремлющий конь В тороках — блестящий тажаур. Сапог оторвал его и хлопнул о землю. Топтал осторвлено. Водка текла ручьями.

Впереди — застывшие горы, как волчьи клыки, запорошенная снегом долина. С северо-запада по долине

мчались снежные вихри, чисто мели, безуемно крутились и в серую бездну уносили какую-то чашу, подрубленные морозом дудки, травяную труху.

2

Нахлестывая коня плетью-двухвосткой, Сапог мчался в Агаш. Снежные вихри обгоняли его, застилая даль. Быстрее них летели тревожные мысли.

— С голыми руками приеду, толку не будет...

Отмахав больше половины пути, он вдруг повернул коня, направляясь домой, шептал одобряюще:

— Так лучше. По-иному взглянут на меня, как на своего человека. И не будут приплетать к дурацкому делу...

Во дворе он без помощи слуг спрыгнул с лошади, крикнул, чтобы ему принесли тажаур водки и вышел за ворота. Сделав грозное лицо, вломился в аил Анытпаса, все уголки обшарил уничтожающим взглядом, отметил, что пыль подметена, вокруг огня постелены телячьи шкуры, посуда составлена рядком, кровать — в порядке, стало уютнее, теплее.

«Поумнела. Правду русские говорят: «Бабу не бить, так она тебя не будет любить».

Брезгливо оборвав думы о покорном примирении Яманай с Анытпасом, он жестким, как хруст листового железа, голосом осведомился:

— Где твой кривоглазый?

— Не знаю. С тех пор не возвращался... Шестой день пошел, — равнодушно молвила женщина и отодвинулась к кровати, заметив, что глаза Сапога заискрились мужской жадностью.

— Почему не плачешь? Не ищешь? Может он человека убил.

Он липким взглядом ощупал слегка порозовевшее лицо женщины, недовольно двигавшиеся брови, ершисто приподнятые плечи, выдающиеся холмы грудей, едва скрываемые старой шубенкой, сшитой из обрывков, заглянул в круглые глаза, горевшие презрением, и отметил, что она снова наливалась красотой, как толь-

ко-что распустившийся лесной лион, но в ней уже поселилась неприсущая алтайкам дерзкая смелость.

— А где, у лесного цветка, чегедек, который я подарил? — тянул заискивающе, по-гусиному склонив голову. — Первой красавице Голубых долин стыдноходить в такой шубе.

— Мерзким дымом улетел.

Брызнув гневным взглядом, Яманай решительно опустила голову, дышала учащенно, а правой рукой нащупывала что-то под кроватью.

— Так разговаривать со старшим нельзя. Стыдно,— строго сказал Тыдыков и, пригнувшись, двинулся к ней, готовый упасть камнем, смять ее; потрясал пузатым та-жауром, напоминавшим паука. — А я тебе подарок принес. Стыдно тебе так, красавица...

— А тебе, псу, не стыдно лезти.

Яманай юркнула за занавеску. В руках ее блеснуло стальное острее.

— Что сказала? — упавшим голосом прошипел он.
— Ты у меня скоро перестанешь пикать...

Губы его побелели от слюны, бороденка долбила воздух, точно пешня лед.

Возле аила чуть поскрипывал снег, как бы тайком взыхал. Кто-то приближался, крадучись. Сапога обдало ледяной пылью, проникающей до костей. Вспомнив рокочущий хохот в избушке сельсовета, представил себе каменного великана, перед которым он, Сапог Тыдыков, зйсан, глава сеока, выглядел мошкой. Таким великанином мог быть выскользнувший из повиновения народ. Вот народ пришел за его голосом и угрожает за те обиды, которые видел от зйсанов.

— Я был самым хорошим, самым заботливым зйсаном, как родной отец...

Опустившись на шкуру, словно брошенный откуда-то сверху мешок половы, Тыдыков следил за входом. Медленно отдираемая от притолоки дверь протяжно скрипнула. Воровски просунулась чья-то обледеневшая нога, потом рука, и лицо с куржаком на хилых волосках, изломанное еще непотухшим ужасом и самообви-
нением. Человек осторожно впихнул в аил свое разби-

тое тело и, увидев гостя, попятился, приподымя дверь спиной.

— Ты куда? Сапог остановил его гневным окриком, будто за грудь схватил. Ощущая острую злобу на самого себя и палящий стыд перед женщиной, которая теперь назовет его трусом, он готов был истоптать пастуха:

— Где пропадал? Винтовка где?

Анытпас покачивался, как подрубленное дерево, опускал взгляд на свою грудь. Три дня он провел в лесу, бросаясь от одной горы к другой, везде самые старые лиственницы грозили ему своими вершинами, сучьями указывали на него, точно пальцами, и похоронными голосами шумели:

— Мы знаем... Все расскажем... Всем, всем...

Он сделал усилие поднять руки и заткнуть уши, чтобы не слышать таких же слов из уст хозяина, чтобы не знать укоров жены, которая отвернулась от него, но руки не сгибались в локтях, плечи онемели, словно навалили на него десятипудовые мешки — ни дыхнуть, ни шагнуть.

— П-п-потерял винтовку, — выдохнул Анытпас и вдруг всем телом ощутил, что если не рассказать всего мудрому человеку, который всему сеоку Мундус — отец родной, то в эту же ночь задавит удушье.—Там... Волю Эрлика выполнял...

— Какую волю Эрлика? — нарочито визгливо крикнул Сапог.

С трепетных губ пастуха упал едва уловимый шепот:

— Борлай бил...

— Борлай здоров. Он сегодня был у меня в гостях. Байрыма, щенок, бил?

Ноги Анытпаса подогнулись, словно они были восковыми. Тело шеборша шубой о дверь, скатилось на землю. Глаза остеклянели, рот остался открытым:

«Неужели я не сделал обещанного Эрлику? Среднего брата на мушки поймал?» — подумал он.

— Разбойник ты, — кричал Сапог, вскочив на ноги, тыкал кулаком в его сторону. — Я думал мой пастух табуны пасет. Подарок принес. Вот.

Пнул тажаур, кожаная стенка лопнула, водка полилась в огонь, и в аиле заиграло голубое пламя.

— А он людей бьет. Я не потерплю. Разбойников в тюрьме гноят.

Он подбежал к двери, толкнул пастуха коленом, ворчал:

— Байрым нашего сеока Мундус, брат по крови, а ты стрелять в него вздумал. Плохо я тебя кормил? Мало платил? Чего тебе недоставало?

Вывалившись из аила, старик отчаянным криком сывал народ.

Яманай дрожала от презрения к мужу. Она не могла на него смотреть. Ей всегда были противны мужчины, вызывавшие жалость, она ставила их ниже слепых старух, падающих от легкого ветра. Смелое воображение переносило ее то в долину Голубых Ветров, то в незнакомое село, где учится Ярманка. Она как бы видела новые аилы и убеждала себя, что в них живут братья Токушевы. Боль становилась все острее и острее. Яманай родную мать так не пожалела бы, как теперь жалела Байрыма.

Анытпас шумно сопел, будто приятный сон одолел его. Жена больше не думала о нем и ей казалось, что она одна в аиле. Одиночество было радостным. В эту минуту она верила, что к ней приедет тот, кого она ждет давно.

Удивленные голоса за тонкой стенкой разбудили ее от увлекательного раздумья. Сипло приказывал Сапог:

— Вяжите его арканами...

3

Щетинистое, давно небригое лицо начальника милиции было наполовину закрыто белым платком с синими горошинами. У него третий день болели зубы. Но он, ввиду важности дела, протокол дознания писал сам. Перья были слабые и острые, втыкались в лохматую бумагу, а чернила густые и тягучие, вроде клея. Буквы выходили корявые, точно болотные кусты. Начальник часто менял перья, швырял испробованные под стол,

небрежно вытирая их о розовую пропускную бумагу и со скрипом крякал, когда боль в зубах становилась невыносимой.

— Больные зубы покою не дают. Но вы их не выдергивайте, а поезжайте в город там заплатки положат, — сочувствующе повторял Сапог, стоявший у стола. — Золотые коронки могут сделать, как у агронома Николая Валентиновича.

— Жаль рвать... ы-ым... два зуба сразу, — ронял начальник, не отрывая глаз от бумаги. — А золотые дорого...

— Нет, не дорого. Пять рублей за зуб. У всех больших начальников зубы золотые, — продолжал Сапог, потом осторожно добавил — Золото здесь достать можно... Алтай, говорят, золотое дно... На Алтае много добрых людей, сочувствующих...

— Ы-ым.. ровно буравчиком вертит... ы-ым, — стонал начальник.

Воспользовавшись короткой паузой, Сапог настаивал:

— Вы, товарищ начальник, непременно укажите во всех бумагах, что я убийцу к вам доставил, и перепишите всех свидетелей.

Он показал бородой на своих работников и пастухов, которые сидели на полу.

— При них он сознался.

Начальник поднял на него круглый глаз цвета медной пуговицы, что-то хотел спросить, но громче обыкновенного крякнул.

— Зубы заболят — замают человека. Надо лечить ехать, — пел Сапог и, показывая носом на бумагу, продолжал:

— Из-за ревности он в него стрелял. Анытпаско у них девку, невесту ихнюю, украл, а они, наверно, хотели ее назад увезти, ездить стали к ней, ну у парня терпенье порвалось...

Уходя он обнадежил начальника:

— Золото я для вас поспрашиваю у алтайцев... У всех больших начальников золотые зубы...

В коридоре увидел пастуха, — его вели в камеру, — плюнул на пол и полным голосом проворчал:

— Что ты наделал, дурак? Сам себя решил. Разве можно из-за ревности людей стрелять, да еще таких активистов, как Байрым Токушев.

Не спеша проехал по всему селу, направляясь к самому большому дому на окраине, который был окружен березовой рощей. Над парадной дверью — вывеска: «Больница».

В угловой палате с высокими потолками и двуми окнами лежал Байрым. Лицо его вытянулось, щеки ввалились, сухие глаза смотрели из глубоких нор. Он не мог свободно дышать и принимал только жидкую молочную пищу. Иногда на жестком лице его появлялась легкая улыбка умиления и благодарности за все заботы о нем. Он медленно вел взгляд по беленым стенам, по потолку, ему даже казалось, что это не потолок, а чистое зимнее небо. Шершавыми пальцами мял байковое одеяло, шуршавшую простыню, отмечая, что она более пушистого снега. Раза два он подзывал глазами сиделку, спрашивая:

— Шуба мой... куда носил?

— Не беспокойтесь, шуба ваша не пропадет...

На соседних койках лежали русские. У одного из них, коногона, отмололо ногу конным колесом молотилки. Они часами смотрели друг на друга, выражая глазами сочувствие и под конец улыбались. Тогда Байрым подумал:

«Во-время болезни — все друзья, братья».

Долго припоминал русские слова и вот однажды спросил:

— Я спит, однако?

— Нет. Почему так подумал? — спросил сосед, улыбаясь.

— Так не видел... не был так, — сказал Байрым и снова обвел палату удивленным взглядом.

Сиделка, просунув голову в дверь, сообщила:

— К тебе, алтай, отец приехал.

Байрым недоуменно повел глазами, не успел сказать, что Токуш слишком стар и не может один в зимнее время перевалить через хребет, как в палате появился шустрый старик в белом халате, с узкими алтайскими глазами, сивым копьем бороды, со льстивой улыбкой

на губах. Он широким шагом двинулся к больному, будто не впервые перешагнул больничный порог. Так он ходил по просторному своему двору, покрикивая на работников. Голос у него был лебезящий, липкий, как пихтовая сера.

— Сильно болезнь мучит тебя, мудрый человек? У меня сердце болит о своих людях, приехал навестить. У какого зверя могла подняться рука на такого умного человека, как ты, младший брат мой?

Намеренно обласкивавший голос окончательно убедил Байрыма, что перед ним Сапог. Раненый замахал рукой и отвернулся, брезгливо зажмутившись.

Дежурная фельдширица прикрикнула на него:

— Вам нельзя двигаться.

— К перевыборам выzdоравливай. Я пришлю тебе много баrанины, масла, меду, — растягивая слова, продолжал Сапог, словно не заметил, что больной отвернулся. — Молока пришлю...

Байрым неожиданно сел, точно отпрянула сильная пружина, которую все считали сломанной. В Сапога полетело одеяло, простыня. Из болезненно-дергавшегося рта сыпались острые слова:

— Подавись собака. Подавись. Пусть семьдесят семь громов упадут на тебя. Пусть клыки твои выкрошатся...

Полная фельдширица с белым, словно мукой посыпаным, лицом охала, то выталкивая Сапога в коридор, то покрикивая на сиделок, чтобы уложили раненого.

В ту ночь Байрым лежал с повышенной температурой, что-то бормотал на родном языке, скрипел зубами, взмахивал кулаком и звенел:

— Лисья морда, а зубы волчьи...

4

Из больницы Сапог поехал в аймачный исполком. Занятия уже кончились. Но он застал там председателя, высокого татарина с черным продолговатым лицом, умными глазами, с золотым зубом, сгребавшего бумаги со стола в рыжий портфель.

— Мне нужно с вами поговорить по важному делу.

— Пожалуйста, — приветливо отозвался председатель, сел и, облокотившись, приготовился слушать; глазами указал на стул.

Сапог сел к столу и заговорил таким тоном, словно он мог оказать неотложную помощь:

— Слышал я, мудрейший человек, дорогой товарищ председатель, что скоро новые советы выбирать.

— Да, приближаются перевыборы.

— А кого в наш, в Каракольский совет посадите?

— Кого народ выберет, — сказал председатель, дернув плечом, и насторожился. — Честных людей, советских, партийцев и беспартийных, батраков, бедняков, середняков...

— Грамотных?

— Это не обязательно.

— Почему так? Из неграмотного какой начальник. Плохой.

— Ничего, лишь бы он не был байским подголоском.

— А весь народ будет выбирать? — спросил Сапог изменившимся голосом.

— Да, все, кроме лишенных права голоса.

— А зачем голоса лишал, мудрый человек и дорогой товарищ председатель?

— Не я лишил, а избирательные комиссии.

Председатель строго взглянул в бегавшие глазки посетителя.

— Ты что же, голоса лишен?

— Я царскую власть не любил. Советская власть — родная власть. Я коневодческое товарищество организовал...

— Как фамилия? — спросил председатель, вставая и застегивая портфель.

Сапог назвался.

— Лишен голоса. И правильно. Уходи. Мне некогда с баями разговаривать.

Председатель пошел из кабинета, побрякивая ключом.

— Как же мне сейчас голос вернуть?

— А никак. С бывшими зайсанами, князьями, у советской власти разговор короткий.

— Я жаловаться буду, — повысил голос Сапог, — в Новосибирск поеду.

— Так или иначе, а жалобу вашу пришлют в сельсовет.

Председатель закрыл кабинет, пошел по коридору, бросая через плечо:

— Жалобы на лишение голоса надо подавать в сельскую избирательную комиссию.

— Там сидит парнишко — Аргачи. У меня в пастухах жил, табуны пасти не умел, а теперь его народом управлять посадили.

— Вот ему и подавай. Он тебя хорошо знает, — отрывисто бросил председатель, давая понять, что разговор окончен.

— Это что же на вора жаловаться самому вору?

Председатель молча удалялся...

5

Одна лампа лениво мигала на столе, вторая — под потолком, обвитая мягкими шарфами дыма. Из угла в угол тихо плыли дымовые ужи. Показывалась чья-то голова, точно вершина горы из облаков, и снова скрывалась. Голоса внизу — говор долинных вод.

Навстречу Копогову, только-что перешагнувшему порог, поднялся председатель аймачного комитета взаимопомощи, тонкий, как тычка, человек с вытянутым вниз лицом, острой головой проколол дымовую завесу.

— Я тебя сегодня искал: надо было спросить об одном деле, — тихо шепелявил он и часто моргал, словно табачный дым не давал ему покоя.

— Искал? Я целый день был в айкоме, — полным голосом ответил секретарь, бросая на столуввесистый портфель. — Ну, что у тебя, сердешный?

— Дело такое: комитету взаимопомощи тридцать баранов пожертвовали, так я думал принимать или не принимать, — говорил председатель приглушенно, будто боялся, что его услышат.

— Кто мог пожертвовать столько?

- Сапог. Самых лучших...
- Возвратить. Немедленно возвратить.
- А я за ними человека послал, — едва слышно мямлил тот. — Нельзя ли купить за половинную цену?
- Никакой половинной цены.

Председатель комитета с дрожью подумал о заметке, которую он только-что послал в редакцию областной газеты. Там была такая строчка: «Бай, наконец, начинают понимать большое значение комитетов взаимопомощи».

Голос секретаря был необычно строгим:

— Нельзя, товарищ, быть таким близоруким. На все надо смотреть глубже и с классовой точки. Бай — хитрый, он хочет на этом себе создать политический капиталец, вернуть былой авторитет.

«Напишу в редакцию, чтобы заметку не пропускали в печать», — решил председатель комитета.

— Ты знаешь, каких нам трудностей стоило поколебать авторитет бая, — продолжал секретарь. — Пойми, что выстрел в Токушева — это не случайность. Тут байская рука действовала очень хитро, замаскированно...

В комнату влетел рослый татарин, блеснув золотым зубом.

— Ну, поднакурили!

Он открыл форточку и с шумом втиснул свое тело в тесное деревянное кресло.

— Начнем заседание...

6

— Я заеду в сельсовет, а вы поезжайте прямо ко мне и выбирайте самых лучших баранов, — говорил Сапог своему спутнику, представителю комитета взаимопомощи. — Ногон, поезжай с ним... Я хочу, чтобы у советской власти были хорошие бараны...

Из сельсовета вышел невысокий хромец и направился к заседланному коню, но, заметив приближающегося всадника, остановился.

Стоял он крепко, точно врос в запорошенную снегом землю. На нем были меховые — белые с черными

крапинками — кисы, поэтому ноги казались обернутыми берестой. Лисья шапка была сдвинута на затылок, лоб открыт, черные волосы начинались высоко. Два передние зуба почернели. Сапог вспомнил, что эти два зуба долго шатались после того удара, когда он сломал о них золотое кольцо на среднем пальце, — и голос его стал шелковистым.

— Здравствуй умнейший человек голубых долин,— начал он, молодцевато вывалившись из седла и низко кланяясь. — Я приехал за тобой...

— Что? — спросил Аргачи и покосился на него, прищутив глаза.

— Отец твой часто гостил у меня, араку ~~пил~~, — продолжал Тыдыков, заискивающе поблескивая прищуренными глазками.

— Не гостил, а батрачил. Ты все здоровье из него вымотал, как из барана кишку...

— Нам с тобой ссориться нельзя.

Не спеша расправился, осторожно улыбнувшись, отечески потрепал секретаря по плечу, обдавая горячим шопотом:

— Мы с тобой — братья, в наших жилах гуляет одна кровь. Она не позволит нам ссориться.

Аргачи, спаяв зубы, собрав морщинки на переносье, презрительно наблюдал за Сапогом. Ему казалось, что с сивой бороды муравьями падали слова и бежали на него, Аргачи Чоманова, ноги, залезали под рубашку и больно жалили спину и грудь.

— На рысистой лошади покатаешься... Марального мяса попробуешь...

Парень остановил его:

— Каким ты добрым стал. А не знаешь ли, почему у меня зубы черные?

Секретарь ощерился, обнажая синие десна. Ему было сладостно, когда он кидал в лицо этого человека слова, брызгавшие ненавистью.

— А не знаешь ли ты, почему я стал хромым? Не помнишь, как мне ногу переломил?

— Зачем назад смотреть. Надо вперед, вместе... Тогда я погорячился, а если на горячий камень плюнуть, то и камень зашипит.

— А-а, вот что!..

Аргачи задыхался, еле сдерживая себя, — все в этом человеке было ему невыносимо противно, мерзко.

— Самого быстроногого коня тебе отдам: хочешь — бери арабской крови, хочешь — английской...

Аргачи встряхнулся, словно вырываясь из каких-то цепких пут, дыша часто и коротко, повернул старика за плечи и толкнул в спину:

— Уходи... а то зубы выбью...

Лисья шапка свалилась, и ветер шевелил жесткие волосы Аргачи, поднимая их, точно щетину. Парень крикнул, повторяя слова Суртаева:

— Чтобы больше ни ногой... Слышишь, ни ногой...

Сапог долго не мог нащупать стремяни... Обнадеживая себя, уронил:

— Не вечно будет светить эта луна, родится и другая.

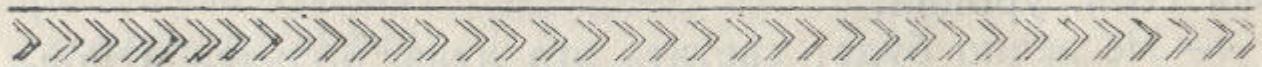
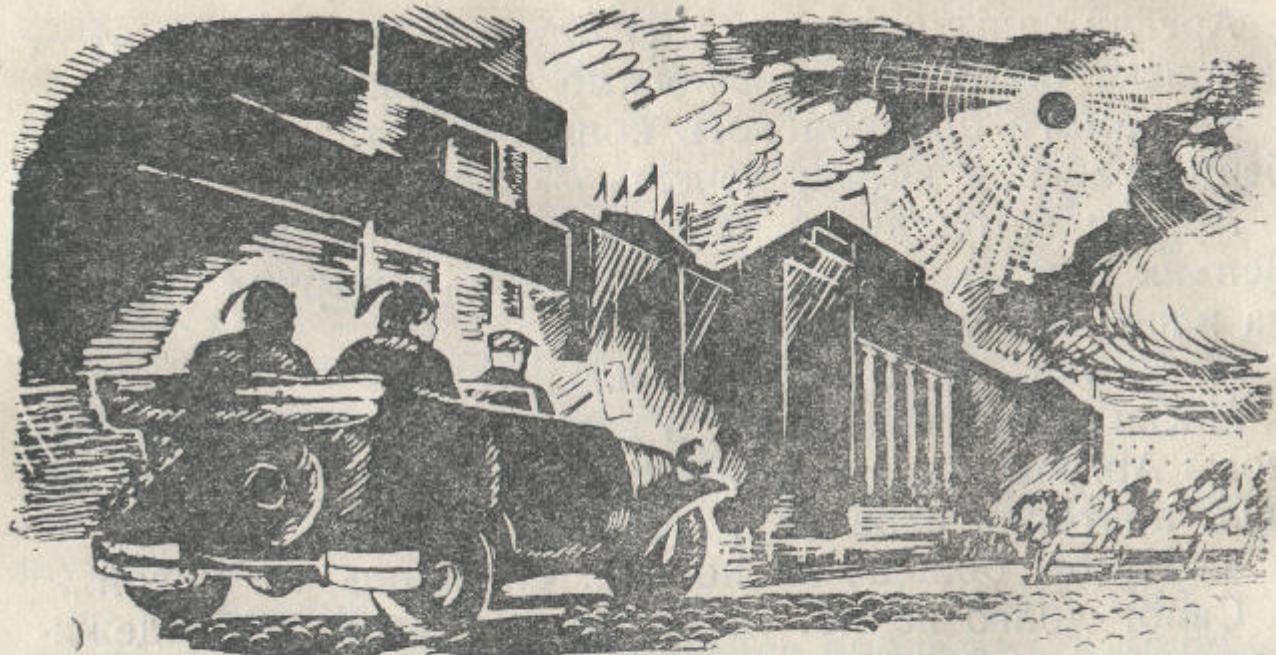
Стрельнул в парня уничтожающим взглядом и проворчал:

— Найдутся и на тебя добрые руки. У больших начальников головы умные.

Потом, удаляясь, с достоинством бросил через плечо:

— А все-таки ты приезжай. Нам не из-за чего ссориться. И я не сержусь. Всякий человек зря погорячиться может.





ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Было уже темно, когда в аил вошел человек среднего роста, в черном пальто до колен, волоча за собой переметные сумы. Из-под лисьей шапки выбивался непокорный чуб черных волос, смахивавших на лошадиную чолку. Чаных не узнала мужа. Только голос его поднял ее, точно вихрь рыхлую копну сена кинул на встречу. Она дышала порывисто, захлебываясь. Все

морщины на лице ее сразу наполнились слезами, словно лога водой в половодье. Суетясь возле костра, собирая ужин, она нечаянно подпалила свою шубу, спрашивала намеренно ласково:

— Больше не поедет туда, богатырь мой?

Неприятно было слышать эти слова, они вызывали чувство брезгливости к жене, виски которой хвачены инеем, но Ярманка, пересиливая это чувство, ответил натянуто:

— Нет, я приехал только на пять дней. На перевалы. — И, не удержавшись, выпалил:

— Не зови меня так. У меня есть имя.

Она подняла на него глаза, — на щеках ее дрожали капли, — видя его непоколебимость, покорно опустила голову.

Все окружающее показалось Ярманке чужим, неприятным, но пока неизбежным. Укоризненный голос отца не растрогал, а обидел. Старик ворчал:

— Я тебя кормил, ростил... А меня кто кормить будет? С голоду околею...

Парень ответил равнодушно:

— У тебя еще два сына: прокормят.

— У них столько же заботы обо мне, сколько у тебя...

Не ответив отцу, упал в постель. Неутолимая жадность буйствовала в нем. Хотел в своем неистовстве утопить последние воспоминания о той, молодой, красивой, но изменчивой, как думал он. Вспомнилась песня:

Не буду я ходить по земле,
Растоптанной в грязь,
Не нужна мне женщина,
Принадлежавшая Анытпасу.

Эту песню сложил он сам, чтобы поскорее изгнать из своей памяти Яманай.

Теперь он торопливо ждал, когда храп отца будет сильнее треска дров в костре...

Ночью под шубу залез холод, стыли ноги. Ярманка проснулся, вскочил с кровати с ощущением горечи, либо его перекосилось, будто он по ошибке вместо сладкого кандыка с'ел корень, вызывающий рвоту. Он плю-

нул к постели, над которой стоял кислый запах, метался по аилу, чтобы размять застывшие ноги, перешагивал через яму, где спали дети, обходил отца, подставившего огню черную грудь, похожую на обожженную колодину. Потом парень сел к огню, тяжело покачав головой. Там, в общежитии школы, он уже привык спать на топчанах, вытянувшись, а вот теперь должен согнуться у огня. Собачья жизнь! Он, Ярманка Токушев, и одну зиму не согласился бы зимовать в аиле. Он сам себе не враг.

Белые пауки осторожно, словно на ниточках, спускались в дымовое отверстие и незаметно таяли.

Дождавшись рассвета и вспомнив утренний распорядок в школе, Ярманка почувствовал возвращающуюся бодрость. Он хотел умыться, но не нашел воды. Взял аркан, переметные сумы, сходил за лошадью и отправился на реку. Пушистый снег накрыл землю толстой кошмой, ноги увязали по колено, идти было тяжело, как по песку. Ярманка разгреб снег, нарубил льду — мелкие куски ссыпал в сумы, а крупные приторочил и двинулся обратно. Дома он натаял воды, достал обмылок и начал умываться у костра, пофыркивая от удовольствия.

Отец испуганно наблюдал за ним, наконец, не выдержал и вскочил.

— Брось воду... Ишь ты, умываться выдумал.

— Хорошо умываться! Глаза яснее видят, тело легкость чувствует!

Слова сына казались дерзкими. Старику хотелось ударить наглеца, но он понимал, что ушли те годы, когда сыновья беспрекословно повиновались ему. Они затеяли что-то непонятное. Им может быть и хорошо будет, но каково ему, старику, переносить все это. Чувствуя свое бессилие, он отвернулся, простонав:

— Счастье из аила уйдет, скота не будет...

— Разве только тот счастлив, у кого скот?

— А как же? Ты с голоду пропадешь, если скота не будет.

— Я думаю, что счастье — это когда всем, кто на чужой шее не сидит, будет хорошая жизнь, — сказал сын внушительно.

— Жрать что будешь?

— Моя дорога — служба. Скот начнут держать сообща, — все будут сыты, и я буду сыт.

— Разевай рот, — искренне засмеялся старик, но хот его напоминал прискорбный скрип коростеля. — Какой дурак отдаст скот в общее стадо?

— А вот увидишь.

Встала Чаных, потягиваясь и щурясь, как кошка на солнечном пригреве. Токуш спугнул ее сладостное чувство, сказав:

— Совсем хочет убежать от нас, к русским...

Лицо женщины вытянулось, глаза были готовы вылететь из орбит, уголки губ затрепетали.

Ярманке неприятно было доказывать, что он привык к теплой комнате с большими окнами, чистым воздухом, что ему теперь даже нравилась пресная кухня. Он видел, как дрожала угрожающе поднятая рука отца, похожая на надломленный ветром полусгнивший сук. Токушу хотелось показать сыну, что он, старик, знает не меньше его.

— Я понимаю русскую хитрость, — сказал он предстерегающе. — Они заманят тебя, а потом кожу сдерут...

Сын расхохотался. А старик, утешая себя, молвил:

— Сколько муравей ни прыгает, а в муравейник придет.

Напившись чаю, Ярманка уходил из своего жилья и возвращался только в полночь. Сначала он шел в аил, когда-то брошенный Таланкеленгом, где сейчас жили люди, приехавшие проводить перевыборы сельсовета.

— Когда охотники с промыслом вернутся? — нетерпеливо спрашивали его.

— Их давно ждут.

— Этот снег задержит. По такому уброду и пяти километров в день не сделаешь.

— Как-нибудь выцарапаются. Борлай знает о перевыборах, поторопит...

Он помогал Яраскиной, низкорослой и темнолицей алтайке с жгучими глазами и стриженными волосами, проводить женские собрания. Бесконечно повторяя, что все алтайки долины Голубых Ветров должны прийти

на перевыборы и голосовать, они усердно угощали их папиросами, чтобы создать впечатление внутренней близости, завязать дружбу. Потом Ярманка созывал подростков, которые промышляли неподалеку от кочевья и уже успели вернуться домой, говорил с ними об охоте, советовал куда выгоднее сдавать пушину, где до стать припасы, рассказывал какой порох лучше, подолгу расспрашивал о звериных повадках и сообщал о своих интересных случаях на охоте, а после этого, добившись расположения к себе, разговаривал о комсомоле, о советской власти, о перевыборах. Почти всегда беседа заканчивалась просьбами:

— Запиши меня в эту ячейку.

— И меня, коли будут учить книги читать...

Вечера Ярманка проводил у соседей или у Байрыма, который недавно вернулся из больницы и почти не отходил от очага. Брат часто покашливал, и лицо его болезненно искривлялось. Рука все еще покоялась на опояске.

— Что уполномоченные говорят? — всякий раз осведомлялся он.

— Рассказывают, что в Елинской долине Сапог попробовал сунуться на перевыборное собрание, — задорно сообщал младший брат. — Ему сказали: «Уходи». А он свое: «Я говорить не буду, потому что у меня голоса нет, я только послушаю, меня не лишили слуха». Тут ему приказали выйти. Говорят там крепко стукнули по баям. Надо и нам подсобрать силы.

— У нас здесь баев нет, — успокаивал Байрым.

— Байские хвосты есть, защитники...

Все отмечали, что Ярманка стал еще подвижнее, смелее, лицо его посветлело, взгляд был проникновенным, а голос густым. Хотя у него и заострился нос, опали щеки, и скулы возвышались, точно холмы в степи, но все знакомые сходились на одном, что он выглядел красивым, здоровым, умным. Одна Чаных мысленно спрашивала:

«Когда же у него ум созреет?» — И с дрожью шептала навязчивые слова:

— Там, у русских он с голода умрет. Ишь как похудел.

Возвращаясь в полночь, он садился у огня, доставал газету или книгу и долго читал, шевеля сухими губами. Чаных перевертывалась на кровати с боку на бок и огорченно вздыхала, упрашивая:

— Ложись скорее, холодно...

Укладываясь спать, он повергался к ней спиной, ворчал:

— Когда ты, наконец, чегедек свой снимешь. Уляпала его в грязи, продымила, ребятишки обгадили... Воняет, как от падали.

Чаных выла тонким голоском, упрямясь:

— Никогда не сниму.

И про себя повторяла крепко запавшую в голову фразу:

«Это, чтобы надо мной все смеялись, чтобы мужики лезли ко мне, будто к безмужней женщине. Нет».

Однажды Ярманка склонился над ямой, улыбнулся румянной мордочке ребенка, закутанного в овчины, и мотнул головой:

— Бойко растешь ты, парень! Скоро запросишь шубу? — И, прищурив глаза, задумался:

«Мой он или нет? Наверно, мой. Брови такие же гнутые, нос...»

Чаных, входя в аил, обрадованно улыбнулась.

«Кровь отцовская заговорила. И ко мне сердце повернется».

Украдкой спрятала под шапку седые пряди волос.

2

Никогда еще Байрым не был настолько подвижным и жизнерадостным, как в это утро, когда розовое солнце встало над уснувшей долиной, зажгло снега. Он носился из аила в аил, точно ребенок. То он торопил Утишку: «Десять чашек чаю выпил, хватит, ехать надо», то помогал старшему брату утешать Карамчи: «Мы вернемся дня через три, Борлай поводится с девчонкой».

— Как же я аил брошу? Кто мужу чай вскипятит? Кто огонь в очаге будет поддерживать!

Она грязным кулаком елозила по щекам, размазывая слезы. Говорила о том, что выпали глубокие снега и отрезали дорогу через перевал.

Борлаю было неприятно, что Карамчи уезжает. Он не против того, чтобы женщины были в сельсовете, но почему же обязательно надо было избирать его жену. Он стыдился этих мыслей, но никак не мог освободиться от них. С женой старался быть ласковым и даже утешал ее:

— Поезжай. Через хребет нельзя, так вы кругом, по реке. Хорошая тропа!

Он умолчал о том, что дорога вокруг хребта, установившаяся только в середине зимы, в три раза длиннее тропы через перевал, что путникам придется ночевать в ельнике.

— Вот тебе табак на дорогу. Сено для Пегухи я приторочил. Поезжай спокойно. Когда ты вернешься, я на аймачный с'езд отправлюсь...

Что-то непонятное творилось вокруг.

Дико слышать Карамчи такие речи из уст мужа. Наверное не мила ему стала, если из аила выпроваживает с радостью. Впереди что-то страшное. Деревья там—десять человек не обхватят одного ствола, горы высокие — в небо дыра и люди непомерного роста. Вот и трубка в руках Карамчи — не трубка, а бревно, упадет — придавит.

— Куда я поеду? Что я знаю и что скажу?

Чаных, прибежавшая поплакать, подывала:

— Слыхано ли, чтобы птица стала зверем, а баба начальником.

— Довольно реветь, — твердо оборвал Борлайвой женщин и твердо добавил:

— Привыкай. Потому тебя и выбрали, что я строгий и в аиле все могу делать сам. И с ребенком водиться умею.

Он не мог в эту минуту говорить искренне и оттого морщился.

— Другие не поехали бы, а ты поедешь. Я тебе не позволю пропускать заседания. Все женщины за тебя голосовали.

Суетясь вокруг лошади, одной рукой поддерживая

седло к гриве, Байрым думал о будущем. Вот он сидит в сельсовете, за столом. Вдруг на пороге вырастает фигура Сапога... Он, Токушев, которого послало все кочевые долины Голубых Ветров, не только не пустит бая в сельсоветскую избу, но не позволит ему ни одного слова изрыгнуть. Он уверен, что не слепая ревность толкала Анытпаса стрелять в него. Что-то другое, сложное, глубокое. Еще в прошлом году говорили, что не зря Сапог женил пастуха, не зря устраивал невиданное пиршество. И после этого хитрый бай осыпал пастуха милостями. Всегда при мыслях об Анытпasse, на которого Байрым не чувствовал злобы, а наоборот обнаруживал к нему легкое сожаление, из-за спины этого парня подымалась морда Сапога Тыдыкова, поблескивая бойкими огоньками лисьих глаз. И Байрым, не имея прямых доказательств соучастия старого лисовища в покушении, с болью в груди спрашивал:

«Почему Адар не придавил эту гадину?»

Конь топал ногами, прижимал стройные уши и, вытягивая шею по-змеиному, скалил зубы, — хотел ущипнуть за плечо. Байрым, косясь на него, строго прикрикнул и выронил подпругу.

Утишка подскочил к нему.

— Я помогу заседлать. Тебе одной рукой трудно.

Все кочевые провожало их. Сыпались возгласы:

— Свои начальники, надежные!

— Вот это власть, так власть — даже алтаек начальниками ставит!

— Какой из бабы начальник — смех один.

— Мужчина и с пустой головой лучше женщины с золотой головой.

— Это — старые слова и глупые. Наша новая власть родная говорит, что теперь мужикам и бабам — одна цена.

— Именно родная власть! Сами выбирали. Да и кровью за нее заплачено. Адар голову сложил...

— Один ли Адар... Власть бедных...

— Людей, которые товары делают, там, далеко, в городе, — вставил Борлай свое слово.

— Просите, чтобы скорее Каракольскую долину нашему товариществу отдали.

Крепко запала в голову Утишки фраза о власти бедных. Она показалась ему оскорбительной. Он не мог спокойно слышать о бедности, в голове его в ту же секунду вспыхивали думы: «Каждый бедный может стать богатым, бедный — значит лентяй». Садясь на коня, он почувствовал непреодолимое желание уверенно, веско молвить такое слово, которое затмило бы неприятную фразу.

— Кочевые будут жить счастливо: в каждый аил войдет богатство, ежели...

— А разве счастье только в богатстве? — перебил Борлай, собравшийся провожать их до большой реки.

— А то в чем же? — удивился Утишка.

«Он только о богатстве и говорит», — подумал старший Токушев, понукнув жеребенка, чтобы поравняться с женой.

— «Зря я не выступил против, когда предложили избрать его в сельсовет. Хорошо, если вреда от него не будет, а уж пользы никакой ждать не приходится».

— Дочку чаще корми, — просила жена, ужимая губы и щурясь.

— Ладно, — безразличным тоном ответил он, потом повернулся к Утишке, говоря:

— У птиц есть вожаки. Знаешь? Они заботятся о своей стае. В сельсовете будут вожаки. Их дело заботится о стаях. Станет народ жить стаями — всем будет хорошо.

— Поезжай назад. Чечек проснеться, испугается. Одна в аиле... — умоляла Карамчи.

— Ты меня не учи. Сам знаю.

Борлай повернул коня, про себя сказал:

«Трудно дома без нее. Хозяйка — аилу голова. Раз с'ездит и ладно...»

Он пожалел Карамчи за то, что минуту тому назад зря обидел ее грубым окриком, ведь она — верная жена, заботливая мать, хлопотливая хозяйка.

— В Каракольскую долину перекочуем — сельсовет будет рядом. Тогда пусть ездит на каждое заседание. Хорошо будет!

Он мчался к аилам, одетым в снежные шубы.

Члены сельсовета скрылись за выступом горы.

Байрым ехал молча. Косматые брови его спаялись над переносьем, застывшие глаза смотрели в крошечные щелочки не на вершины гор, которые сияли под веселым солнцем, а на уши лошади, покрывшиеся потом. Губы его мяли что-то невидимое. Он думал о том, что скажет на первом заседании сельсовета. Ему хотелось говорить так же длинно, гладко и умно, как говорил Суртаев. Хотелось говорить так, чтобы все слушали его, затаив дыхание, и сердца их наполнялись такой же палящей ненавистью к баю, как его сердце.

3

Косая дверь сельсоветской избушки была открыта. В прокуренном помещении было так тесно и душно, что, казалось, от неосторожного вздоха развалятся стены, взлетит потолок. Суртаев сидел на крыльце, беседуя со старыми приятелями, слушателями первых советско-партийных курсов. Увидев Байрыма и его спутников, он поспешил встал:

— Теперь все собрались? Можно начинать? Придется здесь располагаться, на улице.

К только-что приехавшим членам сельсовета то-и-дело подходили друзья, здоровались и расспрашивали Токушева о ранении, о больнице.

Аргачи, пристроившись с боку крыльца, разложил бумажные обрывки, лизнул карандаш. Суртаев, открывая заседание, поймал на себе упрашающий взгляд Байрыма и сразу же оборвал свою речь:

— Говорить хочешь? Пожалуйста.

Тот смущенно закашлял. Слова его полились неожиданно, будто воды, прорвавшие плотину. Он повторил все, что говорил старший брат о стаях и вожаках. От коновязей крикнули:

— Громче.

— Власть зайсана была байской властью. Зайсан заботился только о себе да о крупных баях, а бедняков плетями драл, — продолжал он, повышая голос. Речь его была полна гнева.

— Председатель — наш вожак. Его дело — искрен-

но заботиться о трудящемся народе. На это место нам нужен человек с чистым и крепким сердцем...

Тишина. Первую речь Байрыма выслушали с небывалым вниманием, больше — с жадностью.

— Хороший мужик Байрым — скала гранитная: никто и ничто его не пошатнет, — уверенно начал Суртаев. — Я думаю, что мы его и выберем в председатели.

— Ярап. Ярап.

— Правильно.

Вместе с одобряющими криками взметнулись руки. Растерянно оглядываясь то на одного, то на другого, Байрым бормотал:

— Что? что? Куда меня? Да разве я смогу...

Голос его тонул в волне криков:

— Яра-ар! Яра-ар!

4

Сильны безумолчные воды гор! Непримиримо тянут они свою бесконечную грозную песнь, камни величиной с дом ворочают, точно пушинки.

Многоводная Катунь дерзко развинула каменные громады, хребты разрубила, вырываясь на степной простор. Но беспощадна сибирская зима, даже горные реки заковывает в ледяную броню, лишь кое-где на самых стремительных быстринах остаются прорехи полыней, в которые виднеется темнозеленая с белым узором пены водяная грудь. Над такими местами виснет туман, будто дышит река, покрывая прибрежные камни лебяжьим пухом инея. Зимняя дорога прыгает со льда на береговой приступочек. В речную щель спускается ветер и день и ночь важно прогуливается от степей до границ Монголии, волоча белый хвост поземки.

Сани ныряли в ухабы, точно лодка в бурю, оглобли в завертках скрипели, будто уключины, уныло пели полозья, и седокам казалось, что позади бурлила вода. Ямщик стоял на задке, в правой руке его — вожжи, в левой — длинный кнут. На ухабах он наклонял-

ся, как лыжник, на раскатах предусмотрительно валился на противоположный бок, но ни разу не упал. Борлай, лежа в передке, с улыбкой посматривал на него.

— Хорошо на санях ехать? — спросил председатель аймакисполкома, высвободив лицо из седого воротника козьей дохи. — Давай закурим...

— Ага! — зычно отозвался алтайец. — В седле пойдешь — сюда ветер лезет, сюда, лицо царапает, плюется. Плохо зимой ездить верхом. А тут, как в аиле: спать можно.

Он поднял волчий воротник и прикурнул.

— А почему вы сани не заводили?

Борлай кинул удивленный взгляд: «Как это можно не знать, что бедняку было не до саней, коли голодала семья», сказал:

— Силы не было. Всю силу бай брал себе. Народ был темным...

— Сейчас у вас товарищество, пусть оно купит сани.

— Ага. Сани надо.

— Запрягать умеешь?

— Видел. Мало-мало научился.

— Учись хорошенько. Ямщик тебе покажет. — Сказав это, председатель неожиданно сорвался на митинговую речь. — До сих пор алтайец кочевал из лога в лог, можно было обходиться верховой лошадью, седлом, выюком. Сейчас алтайец кочует к социализму...

— Ие, ие! Социализм будет — хорошо.

— Большая кочевка. Дорога длинная. Надо алтайцу на сани садиться, на телегу, а после того и на машину. Видал машины?

— Видел. Паровоз видел. Нам давай машину землю пахать.

— Плуг?

— Ие, плуг! В Каракол перекочуем, — хлеб сеять начнем...

Председатель усумнился — не есть ли это только мотив для получения лучшей земли.

— Это ты так говоришь, шутя, не посеете вы ни зерна.

Борлай порывисто встал на коленки, обиженно скри-

вил губы и повел широкими бровями. Лицо его дерзко засветилось, видно было, что он готов идти напролом, расшибая лбом какую угодно чащу, толстыми, как пихтовые кряжи, ногами подминая гнилой валежник.

— Почему так сказал? — спросил председателя и уколол его взглядом. — Русский может сеять, татарин может, а алтаец не может? Наврали это тебе. Бай наврали. А я никогда не обманывал. Солнце пойдет вон в ту сторону, если я неправду скажу.

— Да я не подозревал...

— Алтайцы любят чай, — продолжал Борлай. — Чай не будешь пить — голова заболит. Бабы без чаяшибко хворают. Чай надо. Алтайцы с толканом чай пьют. А где ячмень взять? К богатому идет, кланяется, просит ячменя. Богатый дает пригоршни, а работы просит гору.

С каждым словом пламенело желание поскорее доказать, что он, Борлай Токушев, целый год глаз не сомкнет, а сделает все, о чем говорил.

— У одного силы мало. У товарищества силы много: ячмень сеять начнем.

— Сейте больше. Я обещаю вам всяческую помощь. Семян отпустим, плуги, бороны...

Темнозеленые зубья скал, похожих на гигантские пилы, стиснули реку. Немного ниже она налетала на острый каменный гребень, который разрезал ее на две половины. По обе стороны гребня дымились длинные полыни. Дорога круто метнулась на берег и юркнула в узкую щель. Вскоре ямщик глянул поверх лошадей и махнул рукавицей, крича:

— Эй, вы там... не задерживайте.

Борлай посмотрел вперед. Сплошной лавиной двигались настигнутые ими овцы. Позади ехал всадник в новой шубе с лисьим воротником и широкой плисовой оторочкой. Узнав его, Токушев сообщил председателю:

— Сапоговы бараны. Опять что-то удумала хитрая лиса. — И крикнул Таланкеленгу:

— Куда погнал?

— В город, — неохотно ответил тот.

— А где сам лисовин?

Алтаец промолчал. Борлай повторил вопрос. Тогда долетел вымученный ответ:

— Впереди едет.

— В новую шубу тебя нарядил, чтобы в городе удивились: «Какой Сапог добрый, как он заботится о пастухах!» А домой приедешь — шубу с тебя сдерут, опять будешь обносками шеборшить.

Таланкеленг шершавой ладонью недовольно провел по губам, подумал:

«Как он знает? Не мог же он слышать, что говорил мне хозяин?» — Но решил промолчать.

Спустившись на реку, они обогнали отару. Всадники, ехавшие впереди, посторонились, пропуская сани. На вороном коне ехал сам Сапог Тыдыков в почерневшей от времени, видавшей множество дождей и костров, кургузой шубенке, в овчинной шапке без кисти и опушки. Борлай улыбнулся про себя и выпрыгнул из саней, жалуясь на замерзшие ноги. Сапог вывалился из седла и пошел рядом, начал разговор:

— Околел. Поразмяться немного.

Поднял такие добрые глаза и заискивающе спросил:

— Далеко поехал, мудрый человек?

— В город. Народ на съезд меня послал.

— Хорошее дело! Позабочься о всех своих братьях по сеоку, сделай жизнь их радостной. — И вдруг перешел на деловой тон:

— Слышал я, что вы собираетесь назад кочевать в Каракольскую долину?

— Нам и там не плохо.

Борлай посмотрел на спутника.

— Здесь места кормнее. Кочуйте. Меня к себе в товарищество принимайте. Я вам три табуна отдаю: пусть будут общими. Это на бедноту.

— Закрой свою медвежью пасть! — не удержался Токушев. — Ишь каким ты добрым стал, когда тебе лапу прижали.

— Зачем кричишь так, мудрый человек, — спокойно тянул Сапог. — У нас с тобой в сердцах одна кровь: я — Мундус, ты — Мундус. Мы...

— Был Мундусом, а теперь просто алтаец, — оборвал Борлай, ноздри его раздувались, изо рта валил пар клубами. — Я в новом племени и кровь другая...

— Кровь другая, говоришь? Вот шутник.

Сапог захихикал, но тотчас же предусмотрительно погасил усмешку и заговорил певуче:

— Я старое правительство не любил. Советская власть моему сердцу близка...

— Но ты советской власти — враг.

— Куда овец погнал? — спросил председатель аймакисполкома.

— В город. Прошлый раз говорили мне, что у областного исполнительного комитета мяса мало, а теперь там с'езд, народ чем-то кормить надо. Вот и погнал. Пусть едят.

Борлай, брезгливо плюясь, упал в сани. Ямщик взмахнул кнутом. Протяжно завыли полозья, скользя по ровной дороге.

5

Сапог Тыдыков второй раз в эту зиму ехал в город по одному и тому же делу. Одной неделей раньше он был там, заглянул в облисполком, где в это время шло заседание президиума. В кабинет председателя его не пустили. Часа два он сидел у дверей, пока служащие не засобирались уходить. Тогда он вышел на улицу и отправился прямо на квартиру председателя. В ограде по-хозяйски развязочил вороных лошадей и, взвалив на себя мешок с кругами масла, вошел в дом.

Несколько минут спустя он сидел в большой комнате, возле стола, заваленного бумагами и газетами. По правую сторону была сложена стопочкой «Советская Сибирь». Статьи о перевыборах обведены синим карандашом, отдельные строчки подчеркнуты чернилами. Сапог взял газету, развернул, она хрустнула в его руках, как береста, пальцы дрожали, глаза впились в отмеченные строчки.

«Перевыборы советов ставят во всей остроте такие важнейшие политические задачи, которые непосредст-

венно связаны с вопросом расслоения. Необходимо уделить внимание вопросам расслоения. Ни одного середняцкого голоса за кулаков».

Он отбросил газету, точно головню, которая обожгла ему руку. Взял вторую. Подчеркнутые строки кричали:

«Кулакам и баям ходу не давать».

«Надо оградить перевыборные собрания от кулацкого нашествия».

Застегнул пиджак на все пуговицы и посмотрел на окна: не открыл ли острый зимний ветер форточку. Схватил новую газету. Взгляд упал на строчки:

«Силы неприятеля тают. В этом году лишено избирательных прав в 10 раз больше, чем во время прошлых перевыборов».

Стул под ним заскрипел.

— Расслоение, расслоение... — прошептал Сапог. — Погодите, дорасслояйте. Это то же самое, что жертву живьем раздирать... Лошадь разорвут, она умрет,— и деревня, и урочище также... Но лошадь может обрвать арканы и вырваться...

Он бросил газету на угол стола и потянулся к другой стопке. Про себя говорил:

— Я краевым не верю... «Правду» почитаю... В Москве есть умные люди.

Но ему опять попала та же краевая газета. Он прочитал:

«В Сосновке кулаки врывались в избы членов сельизбиркома, требовали возвращения избирательных прав, угрожали всему составу сельизбиркома:

— «Обождите, мы приготовим вам сосновые доски... на гроба».

Пальцы Сапога, как раскаленные железные прутья, смяли газету и поспешно дернули к глазам следующую:

«В ночь на 26, в с. Н.-Калманке четырьмя выстрелами убит возвращавшийся с общего собрания председатель сельсовета, тов. Назаров. Пуля попала в грудь. Голова тов. Назарова изрублена. В последнее время он вел с кулаками решительную борьбу: лишено избирательных прав 56 человек, вместо 10 прошлогодних».

Сапог расстегнул пиджак, погладил грудь. Ему показалось, что в доме затопили сразу все печи.

В областной газете он увидел:

«В урочище Кудюр неизвестными убит председатель сельизбиркома, ярый враг баев, Анчи Изымов. Он возвращался с собрания бедноты... Ему топором разрубили голову пополам...»

— Смелых людей в нашем крае много. Они нагонят на народ страх, как на зайцев... — прошептал Тыдыков. — Сила и смелость у богатых, у нас, а не у тех, кому жрать нечего.

Хлопнули двери. Сапогу показалось, что в комнату вошло сразу несколько человек. Они принесли смелость. Сейчас подойдут и пожмут его руку.

— Вижу, вы газетами интересуетесь, — сказала хозяйка. — Вот самая свежая... Сейчас принесли...

Тыдыков поблагодарил и развернул краевую газету. В середине страницы — большой портрет крупнолицего человека с толстыми губами и жесткими волосами, зачесанными назад. Крупным шрифтом набраны строчки:

«Мы должны держать курс в деревне на то, чтобы деревня поднималась».

— Сразу видно умную голову! — не удержался Сапог, читал: — «Накопляй в добный час, если ты будешь производить это накопление силами своего хозяйства»... Правильно говорит! Я накопляю силами своего хозяйства... Еще до советской власти торговлю бросил. И кооперацию я тоже приветствую.

Тщательно набивая трубку табаком, подумал:

«Надо написать ему, как здешние коммунисты безобразничают...».

В передней раздевался немолодой алтайец среднего роста, с тощими черными усиками и бритым квадратным подбородком, глубоко посаженными горячими угольками глаз. Жена сообщила ему:

— К тебе гость приехал: родственником назвался.

— Кто такой?

— Какой-то старик. Баранины привез, масла. Бывалый алтайец, культурный.

— Зачем пустила.

— Говорит, что ты его знаешь, бывал у него... Вот этот старик с ним.

Указала на Ногона, который сидел на полу, возле печки.

Неприятно было председателю облисполкома видеть у себе в квартире Сапога. Ему хотелось отворить дверь и показать баю дорогу, но он сдержал себя, подумав: «Узнать тактику врага необходимо в интересах наших побед».

Сапог встал и, сунув газету на стол, протянул руку, будто старому другу или близкому родственнику... Ползли липкие и противные слова, как мокрицы:

— Большому человеку — крепкое и долгое здоровье! Извините, что без вас заехал. Думаю: наш человек — алтайец, одной крови, родственник, можно сказать...

— Вы мне не родственник, — оборвал председатель, бросая на стол раздувшийся портфель.

— Ваша мать была из нашего села Мундус.

— Это совсем не означает, что вы можете считать меня своим родственником и врываться в мою квартиру.

— Я поговорить хотел с большим человеком.

— Говорите, говорите.

Председатель сел спиной к столу, теребил длинные кисти белой скатерти.

— Насчет земли... Слышал я, что к нам землемеры приедут. Правда это?

— Да, в Каракольской долине весной начнется землеустройство.

— Хорошо делает советская власть! Я много раз говорил, что раньше неправильно было: один много лугов захватил, а другому ничего не осталось, кроме камней. Я считаю, что надо землю делить.

Прищурившись, Сапог смотрел на председателя, предложил папироску.

— Почему не курите? Алтайцы все курят.

И опять торопливо спросил:

— А кому лучшую землю отдадут — простым алтайцам, передовым культурникам или товариществам?

— Конечно, животноводческим товариществам.

— Ага! Значит советская власть за товарищества. Так, так, Правильно делает советская власть, она одевает шубу шерстью вниз, а в аймаках ту же самую шубу вывертывают шерстью вверх. Говорят, что не надо никаких товариществ, пусть живут алтайцы, как раньше жили. Это никуда не годится! Почему допускаете?

— Что вы этим хотите сказать? кто и что «вывертывает»? — спросил председатель, посмотрел на него, задерживая взгляд на мелких морщинках возле прищуренных глаз.

— Все аймачное начальство. Сам председатель аймачного исполкома плюет на законы. Вот я приехал сюда к самому большому и самому мудрому человеку в горах и разговариваю, как со своим братом. А к аймачному председателю я обратился с жалобой на то, что наше товарищество нарушили, так он меня на порог не пустил, из кабинета выгнал: у тебя, говорит, голоса нет.

Сапог сделал попытку улыбнуться, но, видя, настороженность хозяина, крепко сжал губы.

— Правильно сделал. Так и надо, — сказал председатель, будто со всего плеча ударил. — Байские товарищества мы ликвидируем. Почему? Да потому, что вы, бай, хотите, во-первых, бедноту попрежнему эксплоатировать, а, во-вторых, потесней сплотиться, чтобы советскую власть ущипнуть. Мы отлично понимаем вашу политику!

— Ну, нет, нет. Что вы говорите? Я не Копшолай Ойтогов. Я всегда помогал советской власти.

— А Копшолай что делает?

«Скажу, что Ойтогов ружья собирает — вся земля его мне достанется», — подумал Сапог, но, вспомнив о землеустройстве и о том, что землю будут нарезать не по числу скота, а по числу душ, он нехотя молвил:

— Копшолай ворчит, что советская власть хорошая, но шибко длинная. А я, мудрейший человек, всем говорю, что при советской власти дышется легко, никаких притеснений, не то что при царском режиме. Председатель у нас — алтаец, человек свой, хороший, мудрее самой мудрости.

Заискивающе посмотрел на него и сделал голос шелковистым:

— Я к тебе, самый большой человек, с жалобой привез.

Председатель молча протянул руку. Взглянув на заявление, возвратил с жестом, давшим понять, что говорить с ним бесполезно, жестко отрезал:

— Голос мы вам не вернем.

— Почему?

— Потому, что мы с классовым врагом больше церемониться не намерены.

— Я вам не враг, я алтайец, одной с вами крови, брат ваш...

— Замолчи о крови. Я кровь свою отдаю за рабочее дело, а ты сосешь ее из трудового народа.

— Совсем разорить хочешь крестьян, кочевников?

— Каких крестьян? Середняк — наш союзник... А кулак и бай — наши враги.

— Я больше других пользы для государства приношу... Я одного налога уплатил тысяча семьсот...

— Спорно, чего больше, пользы или вреда, — перебил председатель.

— Знаешь сколько я народа кормлю? — спросил Сапог, задыхаясь. — Четыреста коров беднякам на поддержание роздал. Назад возьму — тысяча человек сразу подожнет... Я одного, Таланкеленга, уволил, так он чуть от голода не умер. Пришлось мне его обратно в пастухи взять. Я народ жалею. Забочусь о своем народе, о бедняках...

— Спасибо, что о коровах сказал. Назад ты их не получишь...

Сапог вскочил.

— Я в Москву поеду жаловаться...

— Поезжай. Жалобу все-одно нам пришлют, а мы ее — в сельсовет.

На пороге гость остановился.

— А если я, мудрый человек, всех пастухов уволю и от коров, отданных на поддержание, откажусь, вы мне голос вернете?

— Нет.

— Почему у вас сердце ледяное?

— А вы нас дураками не считайте... Шкуру вы можете переменить, но сердце у вас байским останется.

Прошла неделя. Однажды председатель облисполко-ма, взглянув в окно своего кабинета, увидел белую отару, вливавшуюся в просторный двор. Через минуту к нему вошел завхоз с сообщением:

— Сапог пригнал баанов: «Жертвую, — говорит, — исполному»...

Недослушав, председатель мотнул головой.

— Гоните его ко всем чертям.

В тот день он задержался в своем кабинете до пяти часов, на сумеречную улицу вышел усталый и отягощенный думами о предстоящем с'езде советов. Очнулся лишь недалеко от ворот своей квартиры, когда услышал неприятный голос, ползший с глухим шипением:

— Добрый день, большой человек! Я опять за голо-сом приехал. Ты сам алтаец, поймешь...

— Голос вам не вернем.

Председатель ускорил шаг. Сапог бежал рядом с ним, пытаясь заглянуть в лицо, привязчиво спрашивал:

— А если я сто лошадей отдам бедняцкому товари-ществу... бесплатно отдам, тогда запишете меня в се-редняки?

— Нет. И вообще уходите.

— А если все табуны отдам?

— Я вам сказал, уходите, иначе вас уведут...

Председатель захлопнул ворота перед самым носом Сапога.

До полуночи Тыдыков бесцельно бродил по улицам, прислушиваясь к свисту ветра, к дребежжанию полуото-рванных вывесок.

— Неужто в самом деле начался поворот всей политики? Встретить бы теперь Николая Валентиновича, он бы все рассказал и на дорогу направил.

Не дожидаясь рассвета, он отправился домой.

седина, помнят, как на этом месте, возле линии железной дороги появились первые домики, окруженные густым бором. По ту сторону бора — поля, увалы. Город стоит у дороги, связывающей Великий океан с Балтикой, и у него всегда много работы. Он отправляет вниз по реке пароходы с пушниной, лесом, сырьем, к Полярному морю, ко льдам, откуда водный путь ведет в далекие западные страны. Городу, стоящему на перекрестке путей, предопределено большое будущее. Он рос богатырски. Пронеслись военные годы. Буйно текла юность. Город размахнулся, смел леса. Город разбросил стаи домов на поля, на увалы. Неустанные руки его возводили каменные дома, серые, будто алтайский гранит, одевали улицы камнем, прокладывали водные артерии. Только песок да пыль не повиновались ему. Пыль била в глаза, тучами оседала на ближних увалах, в полях. Стальной тетивой богатырского лука легла главная улица от реки до полей...

По улице текли людские потоки. Человек в лисьей шапке и козьих кисах обращал на себя внимание прохожих. Он шел медленно. В центре города каждый квартал показывал ему что-нибудь новое. Он долго стоял против Дома Ленина.

— Повторенный мавзолей! — проговорил он. Ему хотелось, чтобы хозяин мавзолея встал наверху гигантской бронзовой фигурой.

— Гигант мысли и действия достоин гигантских памятников!

Он прошел на площадь, где два года тому назад был стадион, остановился перед красивой каменной грядой.

— Вот это дворец!.. Лет через десяток и у нас на Алтае вырастут дворцы, колхозные...

Целые кварталы были окружены заборами, там — прочная паутина лесов. Пахло сосновой, елью, кедром. Слышался неугомонный переклик топоров, настойчивый разговор молотков, лязг железа, песни паровозов, каменный грохот... Где-то напряженно дышал локомотив. Над городом шел ветер. Провода шептались.

Приезжему человеку казалось, что он положил чуткий палец на одну из главных артерий: он чувствовал

пульс страны. Это был пульс здорового человека, стойко перенесшего тяжелые недуги и готовившегося к марафонскому бегу. Приезжему человеку хотелось немедленно рассказать друзьям о своем впечатлении, но близких друзей в этом городе у него не было. Он прошел в «Центральную гостиницу», быстро разделся и сел к столу. Он подробно написал о городе и о том, что передумал, бродя по улицам.

«Здесь я очень остро почувствовал окрепшее дыхание страны, убыстренный шаг. Выступление председателя крайисполкома на нашем деревенском совещании было особенно знаменательным. Он говорил, что мы за довоенную черту шагнули, сельское хозяйство подняли, теперь нам надо перестраивать его. Простейшие об'единения растут быстро. Коммуны доверие крестьян завоевали. Я сидел и думал, когда в Каракольской долине коммуна вырастет. А она будет, скоро будет, Борлай Токушевич, в этом нет никакого сомнения. Ты сам знаешь, что она зародилась, она растет. Может быть ты этого еще не увидел с достаточной ясностью, но это так.

«Хотелось бы поскорее снова встретить всех вас, мои друзья. Но меня, видимо, пошлют секретарем айкома партии в Улаган. Как-то вы готовитесь к перекочевке? Мой вам совет: ранней весной трогайтесь. Вам следовало бы в этом же году большую поскотину загородить, скотный двор построить...

«Жене твоей кланяюсь. Чегедек она еще не сбросила? А пора бы! Как-то дико видеть жен коммунистов в чегедеках...

«Брату своему передай мой пламенный привет. Пусть он покрепче завертывает все винты. Классовому врагу никаких уступок не давать, наступать и наступать до полной победы! Такая установка нашими вождями дана».

Запечатав конверт, он вышел в гулкий коридор. У противоположной двери гремел ключом высокий человек с золотыми зубами и смятой эспаньолкой. Суртаев слегка поклонился ему.

— Здравствуйте! Какими судьбами? На агрономический с'езд?

Говорухин недовольно поднял усталые глаза, глухо буркнул:

— Да, на с'езд... — И, пошатываясь, двинулся по коридору.

На углу улицы Говорухин остановился и через плечо посмотрел назад. Суртаев, опустив письмо, вернулся в гостиницу. Говорухин подошел к тому же почтовому ящику и сунул тщательно заклеенный пакет...

...За четыре часа перед этим он вышел из краевого земельного управления в сопровождении черноусого агронома. Разговаривая о только-что закрывшемся с'езде агрономических работников края, они дошли до проспекта.

— А я, Евгений Васильевич, надеялся, что наш с'езд будет отмечен достойным банкетом... с соответствующим количеством красненького и беленького, — обиженно сказал Говорухин.

— Мы предлагали, но ничего не вышло. Начальство у нас, сам знаешь, дубовое. Завтра что-то предполагается на кооперативных началах.

Агроном улыбнулся в пушистые усы.

— Геннадий Петрович будет? — спросил Говорухин о старшем агрономе.

— Непременно. Да, он хочет еще кое с кем из старых и надежных агрономов поговорить наедине. Во время последней поездки в Москву у него были интересные встречи с нашими агрономическими светилами.

— Это прёкрасно! — воскликнул Говорухин и взял спутника под руку. — Куда бы нам завернуть на часок? Где-то здесь, я помню, была шашлычная?

— Э-э, дружище! Вы отстали от жизни. — Теперь и дома того нет. Вон леса...

— В прошлом году я со своими коллегами знатно кутнул в ресторане «Медведь». Начали с мартовского пива, а закончили, кажется, коньяком. Нынче в первый же день — туда, а там...

— Да, на месте ресторана «Медведь» строят банк.

Агроном вдруг повернул к спутнику опаленное морозом лицо.

— Э-э, так и быть, пожертвуя одним вечером... Пойдем ко мне, Николай Валентинович. У меня найдется...

Возвращаясь от приятеля, Говорухин зашел в гастро-номический магазин. В портфеле загремели бутылки. В гостинице он раскупорил сразу и херес, и коньяк. Вспомнив о Сапоге, налил две рюмки.

— За твоё здоровье Тыдыкович! — Поднял рюмки с коньяком и хересом, стукнул ими и одну за другой выпил в рот.

— А Сапог Тыдыкович наверно обижается на меня. Пообещал я ему написать сразу после приезда в эту самую Улалу и не написал.—Говорухин рыгнул.—Так нельзя, Николай... Смелых людей нужно держать около себя...

Он достал большой блок-нот в малиновом переплете, на плотных листах было оттиснуто:

„Участковый агроном Агаашского аймака“

Громко сопя, написал несколько строк. Поморщившись, изорвал листок, резко оттолкнул блок-нот и начал писать на большом листе бумаги.

— Так лучше. Предосторожностью никогда не нужно пренебрегать.

Графит хрустел и рассыпался. Николай Валентинович ругался, плевал, строгал карандаш бритвой и снова писал:

«Выставки не будет. Не жди. Ты не понимаешь в чем дело? Я тоже не понимал до последнего совещания. Здесь говорили в докладах, что сельское хозяйство в Сибири достигло довоенного уровня и что дальше строить его по-старому нельзя. Нужна, видите ли, реконструкция. Колхозы то-есть. Заведующий краевым земельным управлением так и сказал: «Мы уже имеем в деревне зерна социализма — колхозы. Число этих зерен за прошлый год увеличилось в 5·6 раз». Зерна! Они уже готовятся урожай собирать! А зерна-то могут оказаться невсхожими! Гнилые зерна!

«Выставку все же, не посчитавшись с протестами агрономов, отложили. Они, видишь ли, хотят, чтобы выступили колхозы.

«Дураки!

«Повороты в политике будут крутые. Ты должен учесть это.

«Глупые идеи приходят в головы глупцам, которые

стоят у власти. Решено строить электрическую станцию на Днепре. Двести миллиончиков золотых рублей на это дело собираются ухлопать! Станцию может быть и построят, если обратятся, наконец, к помощи иностранного капитала, но не найдут потребителя энергии. Страна наша земледельческая и пока-что крестьянская! Станция будет вроде рождественской игрушки. Но... игрушка есть, а елки нет. Наши агрономические светила говорят, что лучше на эти двести миллионов купить за границей искусственного удобрения и бесплатно раздать сельским хозяевам. Эффект получится больший и затраты возместятся в один год! Это мнение твердое! Ему обеспечена поддержка со стороны влиятельных лиц в правительстве!

«Тебя наверно лишили избирательных прав? Не унывай, дружище. Это не надолго, как я тебе и говорил. Все, что делают они, нам на пользу. Пусть лишают избирательных прав, пусть хамствуют — скорее все повернется в то русло, в которое нужно нам, о котором говорят наши агрономические светила».

Он налил рюмку коньяка и выплеснул в рот. Сбоку листа приписал:

«Теперь у них весна... Но весна, сам знаешь, скоротечная. Будет осень, скоро будет! А осенью гусей берут за головы и подвертывают мокрые клювы под крылья... И так гуси замерзают. Надеюсь, ты меня понял. Покупай ружья. К охотничьему сезону я приеду!

Твой друг».

Последнюю фразу он дважды подчеркнул. Откинулся на спинку стула и обеими руками погладил грудь. Ему казалось, что он высказал свои взгляды приятелю, который как бы сидел по другую сторону стола, и приятель одобрил все, что намечено «агрономическими светилами».

Вернувшись с улицы в номер, Говорухин, не раздеваясь, упал на кровать. Земля покачнулась. Песчаная дорожка проложена по зеленому лугу Каракольской долины, разграфлена на четыре полоски. Высоко закинув головы, скачут лошади...

— А жокей в полосатом... белое с голубым... С голубым, — прошептал агроном, засыпая.

Письмо Суртаева не застало Борлай дома. В это время он выехал в Новосибирск на краевой съезд советов. На вокзале делегатов ждали автомобили. Борлаю хотелось обойти вокруг машины, ощупать ее, но он сдержался, зная, что этим обратит на себя внимание. Он степенно поднялся в кузов.

Машина летела навстречу ветру. Появлялись и сразу исчезали прямые улицы, кружились кварталы. Токушев думал о Чуйском тракте — древней тропе торгашей. Там второй год взрывали скалы, осушали топкие места и одевали камнем. Скоро широкая и ровная, как эта улица, дорога будет пробита сквозь горы до самой границы. По новому тракту пойдут такие же блестящие и быстроходные машины.

Делегатов разместили в одной из казарм военного городка. Вечером к ним пришли красноармейцы. Долго разговаривали о работе колхозов, об учебе в Красной армии. Борлай попросили рассказать о жизни товарищества. Потом гармонист нажал на лады и лихо растянул розовые меха двухрядки. Младший командир кружился, притопывая, и бил в ладости. Борлай смотрел на гармониста, склонившего голову на бок и щекой касавшегося гармошки, и ему самому хотелось вот так же растянуть упругие меха.

Утром их повели в конюшни. Артиллеристы чистили сытых лошадей. Гнедая шерсть блестела. Борлай взял бирку, вплетенную в хвост коня.

— «Орел», — прочитал командир. — Все лошади в армии имеют имена.

Токушев погладил «Орла».

— Хорошо! — отметил он, посмотрел на красноармейцев, а потом круто повернулся к командиру. — Красной армия только русска человек? Почему так делат? Плохо! Алтай человек тоже хочет свой государство... как сказать...

— Охранять, — подсказал командир.

— Вот, правильно сказал, товарищ. Государство свой караулить. Алтай человек брать надо.

— В нашей батарее есть украинцы, белоруссы, тата-

ры, — сказал командир. — Видимо, скоро будут призывать и алтайцев. Правительство хотело, чтобы вы быстрее восстановили хозяйство, научились грамоте, потому и предоставило вам льготу.

Вечером председатель Ойротского облисполкома приехал в военный городок, созвал алтайскую делегацию.

— Поедем в гости... — Председатель назвал фамилию товарища, который когда-то приезжал в долину Голубых Ветров. — Он теперь здесь работает, в крайкоме. Зовет всю делегацию к себе...

Теперь из того же автомобиля Борлай поиному взглянул на город. Столица края показалась ему знакомой, приятной, будто он прожил здесь несколько недель. В этом огромном городе оказался товарищ, занимающий большой пост, к которому он, Борлай Токушев, едет в гости, как к своему близкому другу.

Машина остановилась у двухэтажного каменного дома. Хозяин встретил гостей у порога, поздоровался по алтайски, а потом всем жал руку, приглашая в просторную комнату, средину которой занимал длинный стол, заставленный тарелками, вазами, стаканами. Хозяин был одет в черную бархатную рубаху со складками, когда он быстро повертывался — широкий подол раздувался колоколом. Глаза у него, казалось, потемнели, а в пепельных волосах появились серебряные нити. Он усадил гостей за стол, сам хлопнулся в деревянное кресло, облокотился.

— Ну, расскажите, товарищи, как вы живете, как работаете. — И с легкой грустью добавил. — Люблю я край ваш... цветистые горы, зеленые озера!..

Тряхнул головой, волосы колыхнулись.

— Летом приеду отдохнуть.

— К нам, — сказал Борлай, подвигаясь к столу.

— Может быть и к вам. А ты сначала расскажи как вы живете.

— О чем рассказывать — не знаем.

— Страх перед Сапогом изжили? Собрания бедноты теперь проводите не в лесу?

— Нет в аилах, — усмехнулся Борлай, рассказал по-

дробно о перевыборах советов, о суровой борьбе с баями, о росте колхоза.

— Хорошо! хорошо! — повторял хозяин, большими глотками пил чай. — Значит товарищество ваше окрепло? Вы должны рассматривать это как одну из ступеней развития колхозов. Перекочуете в Каракольскую долину — подумайте не пора ли вам перейти к более сложной форме колхоза.

Он попросил налить всем по второму стакану чая.

— Извините, что толкана у меня нет, — сказал он, улыбнувшись, и все захотели, почувствовав, что находятся в кругу давнишних приятелей.

Хозяин внимательно выслушивал рассказы о жизни кочевий, о новых веяниях, о классовой борьбе, изредка вставлял два-три слова. Борлай отметил, что эти слова всегда безошибочно указывали пути, по которым нужно двигаться вперед, подумал:

«Как будто он отсюда видит всю нашу жизнь».

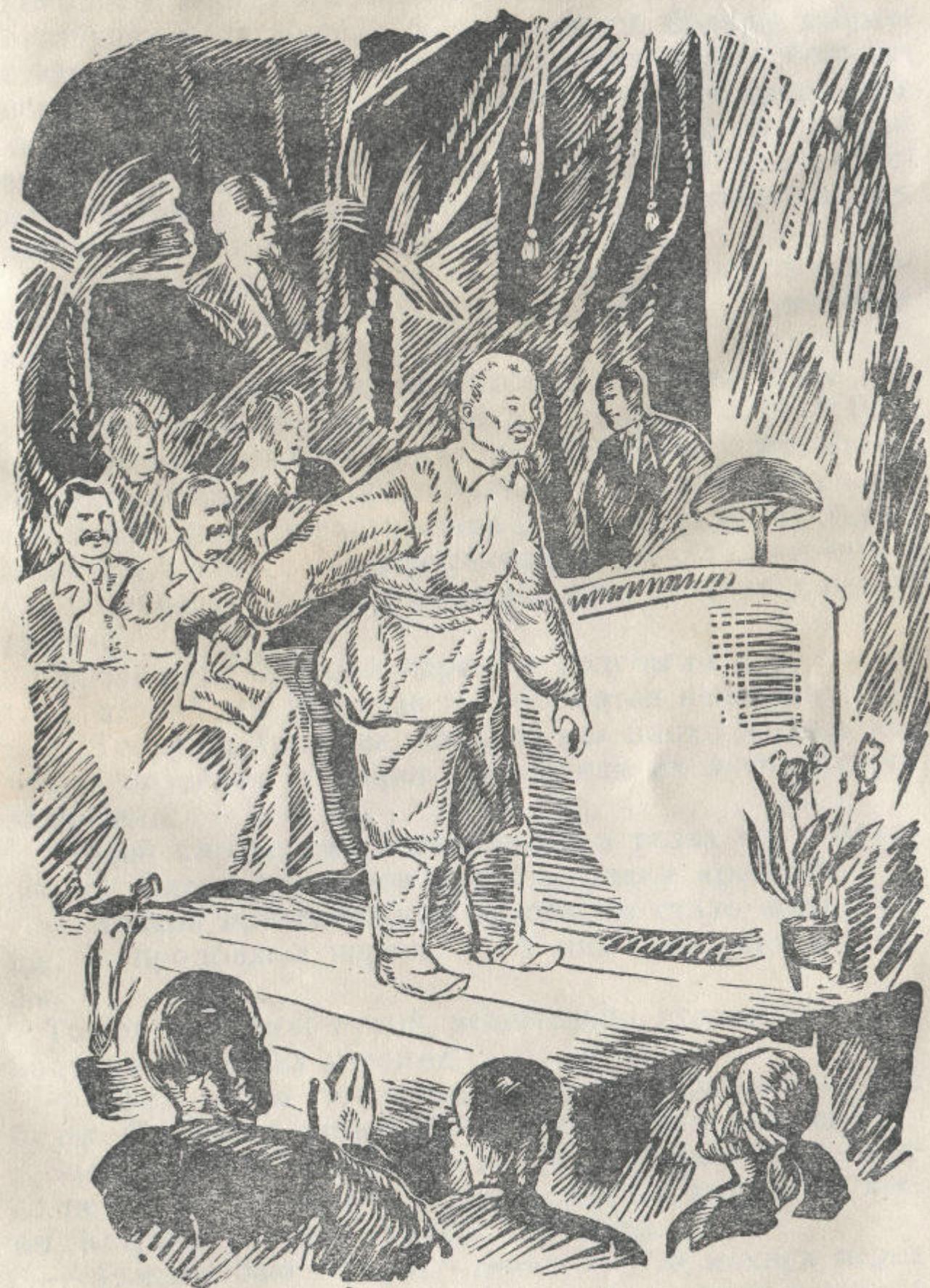
Хозяин повернулся к нему:

— Токушев, ты почему чай не пьешь? Без толкана не нравится? Ладно, к следующему твоему приезду толкан достану, — пообещал он, рассмеялся, пальцем ткнул в сторону Борлая. — А тебе следовало бы на съезде выступить с речью и рассказать хотя бы то же самое, что ты здесь говорил.

С той минуты Борлай не мог найти себе места. Ему казалось, что кровь кипела во всем теле. Мысли разлетались, как птицы — не соберешь, осталась одна — о речи. Тысяча человек будут слушать его! Люди, приехавшие из Москвы, каждое слово запишут в книжки и после будут смотреть выполняют ли алтайцы Каракольской долины то, о чем говорил Борлай Токушев. Много раз он выступал перед алтайцами и никогда не думал, что скажет лишнее слово, а теперь он не доверял себе и старательно подбирал фразу за фразой.

8.

Городской театр переполнен. Зал залит огнями. На длинных, как журавлиные ноги, железных стержнях — огромные ведра, обращенные к сцене, в каждом ведре пылают солнечные осколки, взглянешь на них — гла-



за режет, на ресницы выкатываются слезинки. К высокому столику подходят люди, засыпают зал словами. Говорят о посеве и семенах, о скоте и скотных дворах, о табунах и пастбищах. У этих людей больше заботы о посеве, чем у рядового крестьянина, даже больше, чем у товарищества. Борлаю приятно сидеть среди этих людей большой заботы и больших дел. Когда назвали его фамилию, он с легкостью босого мальчишки взбежал на сцену, торопливо повернулся к народу, доставая из кармана исписанную бумажку.

— Как говорить будем — не знаем. По-русски плохо умеем, — проговорил он, разглаживая бумажный клочок.

— Говорите на родном языке. Есть переводчик.

Токушев начал с перекочевки в долину Голубых Ветров, рассказал о первых днях товарищества, тревожных, но полных каменной настойчивости, о жестоких схватках с байством. Воспоминания о рацких победах окрыляли его, голос с каждой секундой звучал увереннее. Он, вскидывая голову, говорил все увлекательней и громче.

Переводчик, безусый парень с голубыми капельками глаз, дернул его за рукав и забормотал невнятно:

— Товарищ Токушев говорит, как плохо жилось кочевым алтайцам в старое время, как их эксплуатировали бай...

Борлай смотрел на переводчика и глаза его округлялись, наливаясь недовольством, щеки краснели.

— Теперь при советской власти им стало жить лучше, — продолжал парень. — У них появились колхозы.

Токушев правой рукой решительно отодвинул переводчика, подошел к рампе.

— Сами хотим по-русски говорить. Однако, лучше будет. Он много слов себе проглотил, вам не сказал.

Задорные рукоплескания и добродушный смех долго не давали говорить. Борлай смеялся вместе со всеми. Когда вернулась тишина, он начал:

— Раньше был — темно-темно. — Он махнул перед собою руками, точно слепой, нащупывавший какие-то стены. — Русские ходили так, алтай-человек ходили

так и лбами друг дружку — стук. Много стукал. Купец — много купец, бай — много бай было — под ногами вертелись, как злой собачонки, рвали с русска бедняк, с алтай бедный человек рвали. Теперь светает, шибко скоро светает. Русский стал брат алтай бедный человек, алтай — русска брат.

Аплодисменты прервали речь. Шипели юпитеры. Щелкали фотографические аппараты. Борлай отворачивался от них, закрывал глаза.

— Весной и осенью алтай-человек кочевал. Скоро алтай колхоз скажет кончал кочевать...

Он взмахнул рукой.

— Теперь алтай бедный человек последний раз кочует. От единоличник аил в колхоз кочует.

Новый взрыв рукоплесканий на минуту остановил его. Потом он рассказал, что партийная ячейка у них выросла до четырнадцати человек, что жены партийцев начинают снимать чегедеки и посещают собрания, пожаловался на недостаток учебников на родном языке.

На следующий день, как всегда, он нашел на своем стуле газету, развернул ее. На третьей странице был напечатан большой портрет. Он узнал себя. Попросил председателя облисполкома прочитать запись речи, а потом бережно свернул газету и сунул в карман.

«Увезу домой, — решил он. — Пусть все алтайцы посмотрят и убедятся, что теперь печатают в газетах не баев, а бедняков».





ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Следствие затянулось. Поведение подследственного казалось подозрительным: он многое упрямо недоговаривал и, казалось, трепетал оттого, что кто-то близкий и сильный стоял за его плечами, скажешь лишнее слово, и внезапная смерть поразит тебя. Следователь, рыжеволосый человек лет двадцати пяти, похожий на молодой подосиновик, не верил, что только ревность

толкнула этого робкого парня на преступление, и терпеливо искал скрытые пружины всего дела, строгий тон менял на дружеский, даже на родственный, увещевал, покрикивал, но все было тщетно. Анытпас твердил одно и то же:

— Борлай к бабе моей бегал, баба — бегала к нему.

Лицо его скисало, морщилось, рот вытягивался, коробясь, губы становились тоньше, а из глаз обильно сыпались тяжелые, как дробь, слезы.

— Хотел в Борлая стрелять, ошибку сделал, выстрелил в Байрыма, — говорил он.

Следователь вызвал Ярманку, долго допрашивал, а потом распорядился, чтобы в комнату ввели Анытпаса и строго спросил его:

— К нему баба твоя бегала, а не к Борлаю?..

— Нет, к Борлаю, — упрямо, осипшим голосом повторил обвиняемый.

Задержавшись в кабинете следователя, Ярманка грудью давил стол, взволнованно шепча:

— Лисий хвост все замел... Без Сапога тут не обошлось.

— Думается, что именно так, а доказательств — никаких, хотя бы самых отдаленных, — сказал следователь и огорченно развел руками.

— Он — старый лисовин. У таких всегда из одной норы по три отнорка, по которому-нибудь да выскочит. Везде караулить надо, смотреть днем и ночью.

— Давайте доказательства. Нам бы только уцепиться за ниточку...

Однажды Анытпас проговорился:

— Больной человек ум теряет: я хворал — ум терял.

Но сразу же стиснул зубы, спрятал взгляд, а уши его вспухли и налились кровью.

— Вы хворали за год до той ночи?

На это Анытпас сказал обиженно:

— Много хворал. Шибко хворал, грудь болит.

Вызвали Яманай. Сапог сам привез ее, дорогой льстивым голосом утешал:

— Мое слово сильное: на суде замолвлю за него — сразу выпустят.

Неприятно было слышать такие слова из уст стари-

чонка, который опутал народ страхом, как хмель опутывает дерево, — ни дыхнуть вольготно, ни шагу шагнуть в облюбованную сторону.

«Как жить, если Анытпаса увезут в каменный аил? Эта старая собака заграбастает меня в свои лапы», — думала Яманай, косясь на Сапога. — «Тогда лучше на осину...»

У следователя она окончательно растерялась, а когда он заговорил о Тогушевых, потупила голову, зардевшись.

— Из какого ружья стрелял Анытпас? — спросил он под конец.

— Из своего.

— Зачем обманываешь? Он сознался, что ружье дал ему Сапог, — хитрил следователь.

— Нет, — упрямко бросила она, подумав:

«Начальник поговорит да уедет, а Сапог здесь останется: зачем растравлять злую собаку себе на несчастье».

— Тыдыков часто к вам приходил?

— Нет, — тем же тоном отвечала алтайка.

Не добившись ничего, следователь снова вызвал Тыдыкова и, предложив папиросу, заговорил добродушно:

— Нам все стало известно. Я вам советую чистосердечно сознаться. Это облегчит приговор.

— Что известно? Невинного человека никогда не обвинить...

— Сам обвиняемый на допросе показал, что он стрелял в Токушева по вашему поручению.

Посмотрев в глаза следователю, Сапог мужественно выдержал его сверлящий взгляд и твердо ответил:

— Он не мог этого сказать. По нашим алтайским обычаям, Токушев — мне сын родной... их три брата. Все они очень хорошие люди. Активисты. Я их люблю.

— Анытпас Чичанов показал, что стрелял из вашей винтовки, — второй раз следователь пробовал «взять старика испугом».

— Этого он тоже не мог сказать.

Ни один мускул на лице Сапога не дрогнул, и голос не изменился.

Он говорил спокойно:

— Все знают, что у меня винтовок не было. Я в войну все ружья партизанам сдал. Зачем мне ружья? Я не охотник.

Несколько дней спустя следователь разговаривал с прокурором:

— Придется дело рассматривать, как просто уголовное... Ревность. Статья сто тридцать шестая...

— Этого не может быть. Несомненно, что батрак стал оружием в руках бая.

— Я сам это чувствую...

— Если чувствуешь, так вскрой все... Найди подстрекателя.

— Невозможно. Фактически ни малейшего намека нет. Видимо, все было обставлено чрезвычайно хитро.

— На то ты и следователь, чтобы вскрыть байскую хитрость...

Три недели дополнительного следствия оказались безрезультатными.

2

Суд состоялся в городе. Перешагнув порог народного дома, где треск бабьих голосов был тароват и неумолкаем, Анытпас как бы почувствовал, что ноги его оторвались по самую поясницу и остались на улице, а туловище волочили люди с остроконечными ружьями.

Его посадили на переднюю скамью. За спиной встали люди в сером, тихо стукнув винтовками о пол. Буйное весеннее солнце лезло в окна. Казалось сверкали стены. На возвышении стоял длинный стол, одетый застывшим пламенем. Анытпас, напоминавший желторотого галчонка, только-что покинувшего темное гнездо, пораженного весенным солнцем, придавленного светом и уже успевшего лишиться хвоста. Он молод и робок, боится рот открыть, прочирикай раз — ветка под ногами обломится, а крылья могут изменить.

«Как на седьмом небе, где живет Ульгенъ», — подумал Анытпас, нерешительно ощупывая глазами все окружающее.

Взглянув налево, он заметил Сапога, сидевшего возле стены, от сердца сразу отлегло:

«Хозяин не даст утонуть, вытащит. Тогда рассердился и уволок в милицию, а теперь назад возьмет. У него сердце доброе, как у матери, да и табуны надо кому-то пасти. Этот человек, которого все звали могучим зайсаном, скажет одно слово, как топором все узлы разрубит: уйдут люди с ружьями, убегут стрекочущие бабы, и Анытпас поедет домой вместе с женой. Она почему-то не подымает головы. Уж не захворала ли?»

На вопросы суда отвечал подавленным голосом, не уверенно, чуточку косил глаза влево, на дверь, за которой теперь находился Сапог, как впервые напрокавивший ребенок на вспыльчивого, но сердобольного отца, мысленно спрашивал:

«Скоро ли вы войдете сюда и замолвите за меня, Большой Человек?»

Он верил, что слово главы сеока — сама правда, грозная сила.

— Где винтовка, из которой вы стреляли? — второй раз спросил судья.

— Потерял, — отвечал Анытпас, очнувшись.

— Кто вам дал ее?

— Сам взял.

— Суд спрашивает: кому принадлежала винтовка?

— От отца осталась...

Уши подсудимого покраснели.

Долго еще расспрашивали Анытпаса, но о чем — он никак не мог запомнить, отвечал словно сквозь сон, только-что произнесенные слова проваливались в небытие, не оставляя следа.

В соседней комнате сидели свидетели. Яманай облизывала сохнущие губы, мелкая дрожь прокатывалась по всему телу, когда она украдкой от старших Токушевых и Сапога подымала взгляд на Ярманку, который сидел напротив ее. Он, краснея, отворачивался, смотрел в окно.

«Теперь я не нужна ему», — подумала она и решила не говорить на суде о всем том, что было до шумного тоя. — «Не поймут меня, засмеются... Скажут: какая трусливая, не убежала к Ярманке».

Дверь в зал открылась. Позвали Сапога. Он вошел смело, уверенно. Нацелившись бородой в судью, начал показания твердым голосом, не вызывавшим никаких подозрений в неискренности и обнадеживавшим подсудимого.

В первую минуту, не разобравшись в словах Сапога, Анытпас почувствовал как приятно захолонуло сердце. Он подумал, что настал конец его мучению, вытянув шею, слушал, но вскоре радостная надежда на лице его сменилась сначала недоумением, потом испугом, обреченностью, шея ослабела и отказалась поддерживать голову, нижняя губа отвисла.

То жалостливо разводя руками, то горько морща лоб, Сапог продолжал с искусственным возмущением:

—...Как могла подняться рука стрелять в такого умного, в такого ценного человека, в активиста... Засудить его надо, товарищи судьи...

— Отвечайте на вопрос, гражданин Тыдыков, — строго напомнил судья.

Тогда Анытпас понял, что судья не благоволит к Сапогу и может быть поймет его, пастуха, несчастного человека. Теперь бы рассказать ему всю свою жизнь — сердце дрогнуло бы. Но он со щемящей болью в груди осознал, что не вымолвить ему ни одного слова. Ему казалось, что огромная лапа филина простерлась от Сапога к нему, вонзила когти в его голову и с дьявольской силой вдавливает все туловище в скамью, трещит пол, падают стены, и голос судьи таёт вдали, как гром промчавшейся грозы, повергшей тысячелетние деревья, айлы, скалы...

3.

Яманай подтвердила, что она действительно шла рядом с Борлаем, когда подымалась в лес за канышком. Она отвечала на вопросы судьи обычно одним словом, смотрела себе под ноги, чувствуя, что сотни глаз уставились на нее.

— Как относился к вам Сапог? — спросил судья.

— Хорошо — отвечала с заминкой. (Позднее она много раз ругала себя за то, что не сказала всего о Сапоге, но в то время стыдливость сковала ее язык).

— Так же, как и к женам других пастухов, или лучше? Может быть он вам мясо чаще давал? — допытывался судья.

— Так же...

Братья Токушевы тоже не сказали о связи Ярманки с Яманай: они считали это не существенным и не хотели, чтобы над ними алтайцы смеялись. Они все внимание сосредоточили на Сапоге.

— Это бай проклятый все сделал, — гремел Байрым. Гнев накалил его лицо. Он готов был броситься на старика и разорвать его на части.

— Так, так... — произнес судья и всем телом подался вперед. — Давайте, давайте... говорите...

Выслушав среднего Токушева, судья разочарованно навалился на спину стула.

— Это одни слова. Суду нужны доказательства.

— Плохо смотрел, товарищ... Плохо искал... Надо лучше...

Дрогнувшая рука судьи потянулась к колокольчику.

— Отвечайте только на вопросы...

— Искать надо следы байских ног... — не унимался Байрым.

Вернувшись в комнату свидетелей, Яманай решила сказать Ярманке, что она виновата перед ним лишь в том, что перед тоем и в первые дни после пиршества потеряла смелость и не убежала в долину Голубых Ветров, но в это время парня позвали в зал. Возвратившись оттуда, он сразу юркнул в двери, перебежал улицу и пошел в центр города. Больше он в здании суда не показывался.

«Все еще не прошла у него обида на меня, — подумала Яманай. — Он теперь учится, грамотный, а я что... Пустая былинка, которую несет ветер».

Прошло три часа.

В зале — оживление, топот, будто промчался табун. Яманай поспешила туда. Судья и заседатели стояли за столом. Твердый бас рубил:

— ...приговорил: к пяти годам лишения свободы, но, принимая во внимание... сократить до трех лет...

4

Развязав кожаные мешки, Яманай перетрясала скучные пожитки, — весна была сырья, надо все пересушить на солнце, — но руки ее отказывались двигаться, пальцы не гнулись, лицо ее одрябло, глаза поблекли, будто слезы смыли былой блеск, повыпадывали ресницы, шея стала тонкой, костистой. Даже слабый ветерок пошатывал бедную женщину.

«Хоть бы скорее вернулся: никудышный да муж. Такая наша доля!» — думала она.

Вместе с девичьей опояской выдернула крошечный мешочек, похожий на узелок, положила на ладонь и, рассматривая то с сожалением, то с горькой усмешкой, покачала головой. Тут зашат ее пупок. Семнадцать лет сердобольная мать носила его у своего бедра, а на восемнадцатом сердце матери окаменело, толкнула она свою дочь за Анытпаса, отрезала кожаный мешочек с пупком и, будто в насмешку, сунула ей в руку, сказав выспренно:

— Это принесет тебе счастье на всю жизнь.

— Счастье! На огне сгорело бы оно.

Яманай тяжело вздохнула, углы рта ее поползли вниз, губы обидчиво вспухли. Ей хотелось сейчас пойти к матери, бросить мешочек в ее колени и выплакать горе свое, говоря:

— Лучше смерть, чем такое счастье.

В памяти ее встали Ярманка, Анытпас и, наконец, Сапог, который своей противной рожей заслонил все, как туча солнце. Ноги женщины подломились, она хлопнулась на кровать, уцепившись за занавеску. Ощущала полотно обреченным взглядом. Когда-то оно было белое, как снег, и чистое, точно небо. Теперь почернело, стало липким, напитавшись дымом, пылью, пеплом и запахами этих горьких дней.

— И я стала вот такой же, — шептала она. — За-

пачкали... Измучили... Потому Яманка и отвернулся от меня...

Вдруг противный голос вломился в аил раньше человека:

— Дома ли, моя красавица, глаза которой светлее солнца?

Яманай уткнулась лицом в подушку.

— А-а, отдыхаешь. Вижу, вижу, — скрипел Сапог, перешагивая порог. — Я с новостью к тебе пришел. Слышишь? — властно потряс за плечо. — Анытпасу в ходатайстве отказано...

Она обеими руками оттолкнулась от кровати. Убедившись, что старик не врет, взглянула на него с упреком, с ненавистью, облизала сухие губы.

— Иди сюда, глухарочка. Теперь ты будешь моей женой...

Вскинув руки к своему лицу, Яманай скрючила пальцы, готовая вцепиться в бороду.

— Будешь у меня вот такой, — продолжал Сапог, развел руками, обнимая воздух. — Нальешься, как ягодка.

Лицо женщины изломано гневом. От былого трепета перед Большим Человеком не осталось следа. Кинув в ненавистное лицо кипучие слова:

— Лучше медведю в пасть, чем в твои руки, — она щучкой проскользнула мимо него, стукнула дверью, — и по светлозеленому лугу, засыпанному золотистыми одуванчиками, замелькали ее ноги в тяжелых обутках.

Тыдыков, молодцевато выскочив за ней, ухмыльнулся:

— Сама придешь. Голод заставит покориться...

И, надувшись, как индюк, важно поплыл в ограду.

Мать, сидя возле своего аила, кроила кожу. Увидев дочь с заплаканным лицом, приготовилась к выслушиванию жалоб и упреков.

Яманай молча влетела в жилье и, оттого ли, что она споткнулась о порог или оттого, что силы покинули ее и подломились ноги, упала к очагу.

— Ты опять дуришь? — не утерпела мать, вошедшая следом за ней. — Отец увидит — он из тебя выбьет глупые думы.

Захлебываясь слезами, дочь чуть слышно вымолвила:

— Засудили моего. Увезли.

— Живи у Большого Человека. Жди, — обрубила мать плач дочери.

Яманай вскочила по-кошачьи быстро и, трясясь от злости на Сапога, на мать и на себя за то, что не ушла к Ярманке во-время, повторила навязчивые речи Сапога, а в ответ услышала неуверенный голос:

— Все идет к тому, что ты будешь жить счастливо. И у нас будет достаток. Ты пойми, что нельзя сопротивляться желаниям Большого Человека...

И Яманай все поняла: мать говорила не то, что думала. Холодным взглядом дочь окинула низкорослую старуху, задерживаясь на новой шапке с золотистой лентой поверх широкой опушки из выдры, на блестящей россыпи бус на груди и, забыв, что перед ней мать, спросилазывающее:

— Это он тебе подарил?

Не дожидаясь ответа, выхватила из-за пазухи кожаный мешочек и бросила к ногам матери, крикнув с отчаянием:

— Горе он принес мне, а не счастье.

Мать, побагровев, сделала вид, что не слышала наглого вопроса дочери, заохала:

— Что ты? Что ты? Злой дух тебя задушит без этого...

Яманай почувствовала, что все окружающее чуждо ей, не только люди, но и предметы старались уколоть ее, ущипнуть, острым углом пырнуть в бок. Она озлобленно бросила матери, будто чужой и ненавистной старухе:

— Кто может быть злее Сапога? Сама злость добре его. — И, пошатываясь, пошла в лес.

— Яманай, вернись! Вернись! — озабоченно крикнула мать.

Дочь не оглянулась. Она последний раз перешагнула порог родительского аила. Подымаясь в лес, обжигала губы упрямыми словами:

— Лучше не жить, чем так...

Устало бродила по лесу, тихо разговаривала сама с собою:

— Не в том счастье, чтобы брюхо было набито, как у жирной сурчихи...

Тусклый взгляд ее скользил по местам, знакомым с детства. Вот здесь несколько лет было стойбище отца, потому и трава не растет. Тут лежал Яманка в лунные вечера, играл на комысе. А вон и лиственница, под которой они сидели последний раз. Он говорил тогда так мягко и задушевно, что его нельзя было подозревать во лжи.

Она прошла выше, в горы, поднялась на сопку, похожую на шапку с кистью, куда женщинам издавна было запрещено подниматься. Прошлое глянуло на нее мертвенным оскалом лошадей, принесенных в жертву злым и добрым духам.

— Добрый?.. Нет добрых, есть только злые, — кощунственно пробормотала она. — Здесь жирная земля полита лошадиной кровью. Здесь обиталище смерти.

С дрожью думая об этом, Яманай опустилась у первых берез. Сидела долго, неподвижно, уверяя себя, что путь к миру, к людям уже отрезан, — она ступила на землю, где все пахнет смертью, откуда женщине нет возврата. Она чувствовала, что силы быстро покидали ее, каменели ноги.

Распахнув шубу, она разорвала на себе платье на ленточки, а потом начала плести из них что-то похожее на длинную косу. Ей казалось, что спустился ледяной туман, скрыл горы, леса, перед ней стояла единственная береза, откинувшая в сторону сук, как птица усталое крыло. Веки женщины смыкались. Она плела ощущью. Вскоре утратила ощущение времени и не могла определить как давно она здесь. То ей казалось, что уже отбоянили многие зимы, а она все сидит и плетет без конца, то думалось, что на один миг закрыла глаза, где-то рядом сопит Сапог и сейчас сомнет ее, противной слюной обмажет.

Но вот проснулся лес, наполняясь зычными голосами, звоном казанов, смелыми шорохами. Ржали лошади, взвизгивали жеребята, мычали коровы. Шум низ-

вергался, точно снежная лавина. Был он угрожающе смел, неотвратим, всесокрушающ.

— Кочуют обратно, — догадалась Яманай. Выронила веревочку, подвинулась, прячась за березу.

Впереди ехал Борлай на сером четырехлетке, непоколебимый взгляд его был устремлен в долину, как взгляд завоевателя. За ним шли табуны, стада, отары. Вился трубочный дым. Ехали мужчины, женщины, детишки. Стороной трусили собаки. Они иногда забегали вперед и лаяли, словно торопили. Звенели голоса людей, знающих свою силу. Чей то юный голос выводил:

Летел гусь вниз по Катуни,
Бессильно махая крылом.
Мы видели жизнь страдальческую, —
Из черных глаз наших лились слезы.

— Не Ярманка ли?

Яманай, обхватив березу, настороженно приподнялась, вслушиваясь.

Летит гусь вверх по Катуни,
Смело махая крылом.
Мы видим жизнь веселую, —
В черных глазах наших горит радость.

Мелькнули последние лошади, скрываясь за лесом.

— Нет его, — прошептала женщина, в бессилии опускаясь на землю.

Она долго глядела в долину, куда уехали кочевники, отыскала там дружную толпу аилов, видела, как туда подошли лошади, закопошились люди, из аилов потянулись синие струйки дыма, — и щемящая боль за ползала в ее сердце. У всех мужья, аилы с неугасающим очагом, семейные разговоры, а она одинока, некому слова сказать, да и никому она не нужна. Думая так, она снова уверила себя, что не спуститься ей с сопки, этот кровавый закат (там Эрлик пьет человеческую кровь), хмурый и зловеще тихий, последний в ее жизни. Попробовала петлю, засунув в нее ногу. Вы держит. Второй конец закинула на сук. Чувствовала, как стыло сердце, холодели жилы. Руки отказывались повиноваться.

— Береза! Белая кудрявая береза, — прошептали посиневшие губы. — Самое чистое и красивое дерево. Никто еще не опоганил тебя своей смертью...

В памяти всплыл голос Ярманки:

Золотым листом богато одетая
Не белая ли береза это?

Испуганно вскинув глаза вверх, будто над ней дрогнуло небо, Яманай схватила веревку, сбежала с сопки и погрузилась в мрачное густолесье, где пихты, осины и мелкие кустарники были переплетены цепкими мхами.

Кровавый закат неотступно шел за ней.

5

На седой скале, кряхтя от старости, от ветров, дремал коряжистый кедр, общищанный, обломанный. Яманай опутала нижний сук тряпичной веревкой, на ветках насторожила петлю. Слез у неё больше не было, лицо распухло, налившиеся кровью глаза округлились, замерзли пальцы, будто на них были не ногти, а льдинки. Она взобралась на второй сук, распростершийся прямо над первым. Придерживаясь за ветку, последний раз глянула в долину, забросанную сгустками запекшейся крови: раненое закатом небо обильно кровоточило. Закрыла глаза. Что-то хрустнуло, как переломленная живая кость. То ли сук подломился, то ли ноги сорвались, только упала она прямо в петлю, взмахнула руками, хватая воздух, словно над головой были протянуты голубые арканы. Громко вскрикнула, ощутив весь ужас непоправимого поступка. Ей казалось, что она с огромной высоты летит в пропасть. Она ясно видела свое похолодевшее тело, толпу людей, окруживших ее. Где-нибудь в этой толпе Ярманка... Второй раз со всей силой взмахнула руками, в это мгновение кто-то схватил ее под мышки, проворно сдавил и испуганно бросил, разжав об'ятья. Поплыли леса. Перевернулся мир. Обломки неба понеслись, как льдины в ледоход.

Тот же самый закат Борлаю Токушеву показался необычайно знаменательным, вселявшим непоколебимую веру в ту силу, которая на новом месте будет сопутствовать им.

«На небе гуляет огонь, и по земле пройдет пламя,— думал он. — Тот ветер, который предвещается сегодняшним закатом, прогонит по нашей долине пламенный вал, и от таких лиходеев, как Сапог, останется один пепел».

Он окинул пылким взглядом первое селеньице — аилы, двумя рядами осевшие по обе стороны вертлявой речки Тургень-су, через которую кто-то успел перекинуть пихтовый кряж. Посредине селения — пятистенный домик, в одной половине — лавка потребобщества, во второй — квартира продавца. Председатель правления Чумар Камзаев жил в десяти километрах и часто по утрам приезжал сюда верхом. По другую сторону площади — сруб для магазина Госторга. Тут же предполагалось построить дом для сельсовета. Все близко. Это нравилось Борлаю. Достаточно крикнуть раз и все обитатели селения соберутся на площадь. Один Утишка поселился на отшибе, возле леса, но это неудивительно — он всегда шел в разрез с общим мнением.

По одну сторону селения — байский загон для овец, а по другую — поскотины Сапога, за которыми чернели стога прошлогоднего сена, и розовела вода в тонких жилах оросительной сети. Борлай смотрел на новое селение и думал о смелой перекочевке и о грядущих днях. Скоро приедет землемер, отхватит самую лучшую землю у Сапога и отдаст товариществу. Незаметно подкрадется сенокос. Говорят, что надо косить траву, когда она цветет. Товарищество так и сделает. Все выйдут на луг в одно утро, вместе...

— Пора разводить огонь, — напомнила жена, показав глазами на ближние аилы, из которых уже валил дым.

Перешагивая порог, Борлай в тон ей ответил, напоминая об уговоре:

— Пора чегедек снимать...

Карамчи насупилась, отвернувшись от мужа, влажные глаза прикрыла тяжелыми веками и оборвала красные пуговицы с груди, как гроздья ягод. Ей было сладостно выполнить давнишнее желание мужа и горько нарушать обычай веков. Она готова была или облегченно разулыбаться или расплакаться, пойти к соседкам, чтобы уговорить их тоже сбросить чегедеки, или пожаловаться им, рассказать, как муж смеется над ней.

Борлай нарочито не смотрел на жену. Он высек искру и припал к земле, бормоча:

— Камень тебя родил, добрый огонь, сырое ты варишь, мерзлое растопляешь, нас бедных согреваешь...

Щепочками поддерживал угольки и прилежно дул. Огонь озлобленно вспыхивал и капризно угасал. Борлай шепотом уговаривал его:

Мягкая зола — постель тебе,
Белая пыль — тебе подушка.

Он придавал большое значение огню на этом стойбище, где они будут жить лето и зиму, пока не построят избы.

Одним глазом взглянул на жену и ему показалось, что она стала ниже ростом, полнее, а живот у нее большой, словно острые кочки. С радостной улыбкой подумал:

«Сына носит».

Она уронила чегедек к своим ногам, почувствовала себя как бы совершенно голой и, застыдившись подевичьи, упала за занавеску. Похвала мужа еще больше распалила ее. Во весь вечер она не встала с кровати, услышав голос Байрыма, сказалась больной.

— Почему долго не кочевали? — спросил средний Токушев старшего брата. — Землемеры второй день ждут, там ихние палатки. Видел?

— Нет, не видел, — сказал Борлай. — Утром поедем к ним.

— Сейчас поедем. Утром надо начинать землю резать, — настаивал Байрым.

Они вышли вместе, у самых дверей столкнулись с Содоновым.

— Утром зарежу барана. Приходите ко мне, — пригласил он.

— Некогда. С землемером поедем. Режь ночью, — дружески бросил Борлай, не останавливаясь.

Возле аила Сенюша уже топталось несколько человек. Быстро нарастила песня:

Если не вспашем чистое поле,
Где мы возьмем ячменя?
Если бы не было великого совета,
Где бы нам жить весело?

Вскоре песня разгорелась, раздался круг, только одна Карамчи не осмелилась выйти на лужайку.

7

На одной из ближних вершин одиноким перстом торчал столб, исхлестанный градом, исщепанный молнией и обмытый выюгами, стояли алтайцы в длинных шубах, подпоясанных опоясками и спущенных с плеч. Среди них сутился высокий человек в помятом черном пиджаке и темнозеленой фуражке с плюшевым околышем. Он устанавливал деревянный треножник прямо на снег и привертывал черную дудочку со стеклами.

— Вон куда хлеснет, — сказал Байрым тоном знатока. — Прямо к вашему товариществу.

— Да, от нас повернет к Елинскому, — отзвался Чумар.

— В Ело тоже товарищество? — осведомился Борлай.

— Там большое: тридцать девять семей.

— Где они сейчас живут?

— А вон за той сопкой.

Чумар, прищуривая глаза, смотрел в голубую даль, лицо его от ослепительно-белого снега светлело.

— Наше товарищество осядет вон там, отсюда видно.



Борлай пробежал глазами по долине.

— Окружили баев, как волков. Теперь гнать надо.

Чумар промолчал, глазами указал на внимательных слушателей и живо спросил:

— Много косить собираетесь?

— Всю поскотину...

— Мы думаем косить вместе: разделим сеном.

— Об этом надо подумать, — сказал Борлай. — Вместе работать — сена можно накосить горы.

— И думать нечего, — ввязлся Утишка. — Я например ни с кем не хочуссориться. Отмеряйте мне участок и все.

— Землю получает товарищество, — медленно проговорил Байрым, нажимая на последние слова.

— Поглядите, там человек, — крикнул Содонов, смотревший на соседнюю вершину, которая даже в середине лета не освобождалась от снежных оков и потому была отнесена, как все горы с вечными снегами, к числу священных.

Никогда не ступала человеческая нога на это белоснежное чело. Все обитатели Каракольской долины считали, что там отдыхают духи от дел своих,

— Где? Не может быть?

Алтайцы, сгрудившись, смотрели в том направлении, куда показывал Содонов..

— Это не человек.

Землемер вскинул бинокль, протер стекла платком, долго всматривался в черную точку на белом склоне.

— Сейчас многоглазый скажет. Он, однако, в земле видит все, — пошутил Борлай.

— Женщина... алтайка в рваной одежонке, — сообщил землемер. — С ней что-то случилось...

— Алтайка? Не может быть...

Бронзовые руки алтайцев тянулись к биноклю.

8.

Улыбающееся встало над миром солнце. Сияли розовые — в утреннем свете — снега на перевалах, горели острые ледяные шпили, в провалах гор голубели ледопады. Ядреный запах снега искусно перемешался с

ароматом молодой хвои, пробуждающихся трав. Далеко внизу пели реки свою вечную песнь. На вершины легло солнечное спокойствие. И на душе было спокойно.

Яманай уверяла себя, что она никогда не будет думать о недавнем, никогда не вспомнит о постылом мгновении. Прошлое оставило неприятный осадок, — так садится ржавчина на заброшенное железо. Но она уже ощущала в себе радующий перелом.

На рассвете она проснулась от холода, об'явшего все ее тело. Первое время не могла понять, где она, что с ней случилось и давно ли очутилась здесь. Чья-то влажная лапа, долго гладившая ее лоб, коснулась щек, еще и еще раз. Тогда Яманай вспомнила о суковатом дереве и поняла, что над ней колышутся ветки надломанных сучьев. Приятный ветерок заметал последние клочья легких облаков. То ли росой, то ли мелким дождичком покрылись лохмотья. Женщина оглядывала вокруг себя каждую былинку, каждую веточку. Над ней висела разорванная петля. Увидев обрывок веревки, она поморщилась и отвернулась, как отвертывают люди от вонючей падали, от неприятного прошлого. Потом она стала бездумно смотреть на темносинее небо, переходя от звезды к звезде, пока взгляд ее не остановился на млечном пути. Голова осветилась неожиданными мыслями:

«Вот дорога, которую проложили птицы, крыльями размели небесную голубизну».

Мысли ее текли спокойно и так же медленно, как поворачивались звезды вокруг «Золотого кола» — Полярной звезды.

«И у человека есть какая-то дорога. У каждого человека. Ее надо пройти».

Яманай впервые так остро ощутила жажду жизни. Думала только о том, как бы добраться до жилья. Она не рисовала себе ни мрачных, ни радужных картин, только бы жить, а как — это было для нее в ту минуту безразлично. Она поднялась легко, будто роса принесла ей силу. Глянула на скалу, где лежала. Помятый бадан расправлял свои мягкие, зеленые лапы. Он, как толстый войлок, одел всю скалу. Где-то неподалеку

трубили кураны, довольные жизнью, весной, утром. Яманай, не сгибаясь, шла в гору.

День встретила у снежных полей. Гора незнакомая. Наверно на ней не бывала нога алтайца. Говорят, на таких вершинах обитают горные духи? Но, странно, Яманай не чувствовала трепета. Наоборот, то, что она шла по священной вершине, уцелевшая, никем не тронутая, вселяло в нее смелость и сомнение в том, что здесь было обиталище духов. Ее путь лежал навстречу солнцу. Ослепительно сияли светлоголубые снега, окруженные кипучей зеленью и яркими цветами, как пламенем. Журчали веселые серебристые ручьи. Внизу лежали бесконечные цепи гор. Белые облака проходили по ним, как большие отары овец. Выше облаков стояли величественные аилы двух вершин Белухи. Яманай впервые отметила насколько красочен мир и приятен воздух.

Вот и перевал. Вечные снега. На востоке огромнейшая голубая падь. По ту сторону ее — золотое пламя. Яманай знает, что там не огонь, а горы, плавящиеся под вечерним солнцем. Дно пади закрыто прозрачным дымом: то ли озеро там, то ли степь.

Она стояла долго, всматриваясь в даль.

Солнце последний раз выглянуло из-за легкого облачка. Фиолетовая дымка колыхнулась и неожиданно исчезла из долины. Вдали золотились новые крыши. Яманай вскрикнула:

— Агаш! Там Ярманка учится! — И сразу же мысленно спросила:

«А может быть это какое-нибудь другое село?»

Яманай посмотрела на ближайшие вершины, — нет ли среди них знакомых. Испуганно покачнулась. Что это? На одной из вершин — люди.

— Они ищут меня...

Она вздрогнула, побежала к острому каменному гребню и возле него круто повернула вниз.

— Только бы не упасть... не сорваться...

Справа виднелся край снежного поля, за ним на маленькой лужайке цвели крупные синие водосборы. Прямо внизу — скалистый обрыв, голубая бездна долины,

Ноги Яманай скользнули по скрипучему снегу. Она упала на спину и покатилась к обрыву, сразу же попыталась вонзить растопыренные пальцы рук в жесткий снег. На снежных рубцах оставались красные полоски.

Далеко внизу, под обрывом, в голубом просторе бесшумно плыл черный беркут. Он смотрел на каменные оstryяки, среди которых на зеленых ступеньках росли хмурые кедры. Минувшим утром косуля там спрятала своего детеныша.

Ветер уносил из долины легкое покрывало вечерней тишины. Вдали глухо зашумел лес. На восточный хребет легло огромное малиновое облако, а с юго-запада опускалась в долину темносиняя грозовая туча.



КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

АЛТАЙСКИЕ СЛОВА, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ

Аил — конусообразная юрта из коры лиственницы.

Аймак — район.

Андазын — березовый сук, которым «пахали» землю. Примитивная соха с деревянным отвалом.

Арака — самогонка из квашеного молока.

Араковать — ездить в гости из аила в аил, пить араку.

Архар — самец дикого алтайского барана.

Архыт — большой кожаный мешок, в котором квасят молоко перед выгонкой араки.

★ **Белок** — вершина горы, покрытая вечным снегом или льдом.

Болыш — помощь.

Зайсан — родовой старшина, князек. Зайсаны властвовали на Алтае до прихода советской власти. В последние годы перед революцией они носили бляхи волостных старшин. Власть знатных зайсанов переходила по наследству. Каждому зайсану были подвластны несколько родов (сеоков).

Кам — шаман.

Камлание — моление, жертвоприношение. В жертву злому богу и духам гор приносили сивых лошадей. Под руководством шамана животных раздирали живьем.

Кам-Агач — камское, священное дерево, лиственница с очень густой кроной. Суеверные алтайцы принимали эту густую крону за обиталище горного духа.

★ **Кисы** — зимняя обувь, сшитая из меха ног косули.

Комыс — крошечный музыкальный инструмент. Его берут в рот. Пальцем ударяют по тонкому стальному язычку. Звук регулируется дыханием.

Курмежеки — деревянные куклы, обвешенные ситцевыми ленточками и ремешками. Вывешивались в аилах. Шаманисты считали, что курмежеки охраняют жилища от вторжения злых духов.

Курмес — один из мелких злых духов. Душа умершего превращается в курмеса и приносит людям зло. Слово стало ругательным.

Куран — самец косули.

Курут — сыр из творога, оставшегося после выгонки араки. Курут сушат над костром.

Корумник — россыпь крупного камня.

Оин — танец с песнями.

★ **Панты** — рога самца марала,—в то время когда они еще налиты кровью, т. е. в момент срезки (июнь).

Сеок — род.

★ **Сумина** — одна из переметных сум.

Тажаур — небольшой кожаный сосуд для хранения араки, кумыса и т. д.

Тау-Тэке — каменный козел, сибирский козерог. Обитает на высоких хребтах.

Терпек — лепешки из пресного теста, испеченные в золе.

Той — свадьба, пиршество.

Тойгот — сыт. Заменяет слово «благодарю», отсутствующее в алтайском лексиконе.

Толкан — мука из поджаренного ячменя. Ячмень растирают между двух каменных плиток. Толкан подсыпают в соленый чай.

Торбок — теленок «по второму году».

Топшур — музыкальный инструмент, вроде балалайки. Имеет две струны из конского волоса.

Ульгенъ — добный бог.

Чегедек — длинная, широкая, безрукавая одежда замужних алтаек. Чегедек одевали поверх шубы. Замужняя женщина не имела права снимать чегедек даже ночью.

Чегенъ — квашеное молоко, из которого делают араку.

Чечек — цветок.

Эрлик — злой бог.

Якши — хорошо.

Якши-якши-ба? — приветствие, означающее: «Все ли у вас хорошо?»

Якши-болзын — досвиданья.

Ялома — моление горным духам, чтобы они пропустили через перевал или помогли в охотничьем промысле. На высоких местах во время ялома привязывают к деревьям ленточки. Потом варят чай с толканом и разбрзгивают его во все стороны.

Сдано производство 2|Х-35 г.
Подписано к печати 20|Х-35 1*

*

Формат 82×110 1/32. Тир 10 000.
Бум. л. 5, 625. Печ. л 22,5. Уч.
авт. л. 17,8 Зн. в бум. л. 137.088.
Инд. Х-15 (сеп. проза.).
Изд. № 1395.

*

Новосибирск Тип. № 1 ЗСКИК
Заказ 3814. Уполномоченного
№ 4359 от 20|Х-35 г.

*

Цена книги 5 р. 35 к. Перепл. 1 р. 65 к.

ОТЗЫВЫ О КНИГЕ

шлите по адресу:

Новосибирск, Коммунистическая, 1. ЗАПСИБОГИЭ.